

84(2Рос=Рус)6
А 44

АКУНИН-ЧХАРТИШВИЛИ



СЧАСТЛИВАЯ
РОССИЯ



84(2)Рос.Р.5006

А44

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

АКУНИН—ЧХАРТИШВИЛИ

**СЧАСТЛИВАЯ
РОССИЯ**

192122 / 2

16+



**ЗАХАРОВ
МОСКВА**

Муниципальное объединен.
библиотек
620077 г. Екатеринбург
ул.Антоня Валека. 12

УДК 82-311.2
ББК 84(2)
А44

Текст печатается в авторской
редакции, орфографии и пунктуации

Акуни-Чхартшвили

А44 Счастливая Россия / Акунин-Чхартшвили. —
М. : «Захаров», 2017. — 336 с. : ил.
ISBN 978-5-8159-1430-8

© Akunin-Chkhartishvili, 2017
© «Захаров», 2017

(ИЗ ФОТОАЛЬБОМА)



1. *Мух* **РЕВОЛЮЦИОННАЯ КОТЯ:** *в ант. 2*
 Своего, пыльный глаз, Всполохи кляма.
 Последней, Беснуе, знаменитая рука.
 2-меч *в ант. 2* Его постигло царь.
 Его пронзала в сонгла
 Истранила стрела
 Молниеносного удари
3. *Пелени* **НАШ ЧАСОВОЙ-НАСТОРОЖИ**
 Знак, прот, штурющий, в вредительской нем:
 НАШ ЧАСОВОЙ-НАСТОРОЖИ

— Абввв... — ответил Патрон на вопрос о самочувствии, а глаза остались такие же нехорошие, один зрачок глядит правее Филиппа, другой левее. С угла рта свисла дрожащая нитка слюны.

Бляхин в растерянности оглянулся на профессора. Тот равнодушно сказал:

— Зря стараетесь. Он вас не слышит. Тяжелейший инсульт. Деятельность мозга парализована.

Профессор был настоящий, старорежимный. В журнале «Смехач» так рисуют спецов-вредителей: рожа надутая, рот брезгливый, на мясистом носу стеклышки-пенсне, а бритый череп — в палате было жарко натоплено — профессор вытирал кружевным платочком. Но Филипп заметил, что здесь, на Грановского, в больнице кремлевского Лечсанупра, врачи все такие — до революционного замеса. Молодых-партийных что-то не видать. Может, оно и правильно. Молодость и политграмотность, они хороши на субботнике и на стройках пятилетки, а лечение высших ответработников — работа деликатная. Раз держат здесь этого Кнопфера, раз допускают до здоровья больших людей, значит, заслужил.

— А когда он на поправку пойдет?

Профессор так же безразлично:

— Какая поправка, помилуйте? Третья степень. Корнеальные рефлексy нулевые, с болевыми раздражителями то же самое, глоточные рефлексy угнетены, сухожильные почти никакие, зрачки — сами видите. Конечно, больной поживет еще. Месяц или даже полгода, но в вегетативном состоянии.

— В каком? — всхлипнула за спиной Ева.

— Как овощ на грядке, — попросту объяснил Кнопфер.

Жена взрыднула. Бляхин раздраженно пихнул назад локтем: не мешай разговаривать.

— А что приносить? Что ему нужно-то?

Лысый поглядел на Филиппа через пенсне, будто на какое насекомое. Что-то мелькнуло в холодных, тусклых глазках. Искорка какая-то.

— Ручка есть? Записывайте.

Бляхин глянул по сторонам. Ручка у него была, но где взять листок?

— А на чем?

— Пойдемте в сестринскую, это рядом.

У двери Филипп оглянулся на койку. Голова на подушке лежала круглая, и вправду похожая на овощ. Кабачки такие на Украине бывают, круглые. Глаза — будто две дырки, вороной проклеванные.

Неужто всё с Патроном? Это же помыслить ужасно!

И не стал пока про это мыслить, просто пошел, и всё.

— Я с тобой! — пискнула жена. — Не останусь я тут.

В белой комнате, такой же, как палата, только вместо кровати — длинный стол, профессор кивнул на стопку афишек или, может, листовок.

— Берите, пишите внизу, где место есть. Мы хоть и кремлевские, а с писчей бумагой перебои. Но на это у них целлюлозы хватает.

Бляхин взял бумажку. Так и есть, листовка: молния карающих органов разит контрика. Листовка старая — тех времен, когда было еще не НКВД, а ГПУ, но сейчас их снова стали массово печатать, по причине обострения классовой борьбы и в знак преемственности с героической эпохой товарища Дзержинского.

— Коллеги презентовали. Говорят, вылитый я. Опять же вам по роду деятельности подходит.

Профессор, сволочь, действительно сильно похожий на контру с листовки, явно издевался. Нормальный человек, видя петлицы с малиновым кантом, делается шелковый, а этот наоборот. Наглые они тут, в Кремлевке.

Филипп думал писать на обороте, но тот для экономии тоже был с картинкой: советская ребятня благодарит

товарища Сталина за счастливое детство. Не по вождю же ручкой калякать? Лучше под констриктором.

— Приносить нужно мазь антипролежневую — в аптеке подскажут. Повязки марлевые. Пеленки детские...

— А пеленки зачем?

Еле поспевая скрипеть пером, Филипп поднял глаза.

— Затем же, зачем они детям. Непроизвольная дефекация.

Хотел Бляхин спросить про незнакомое слово, но сам догадался.

— Вот, собственно, и все теперешние потребности вашего начальника.

Ишь, рожа-то. Рад в глубине своей черной души, что такой человек, можно сказать, великий человек, будет у него тут доходить овощем в навозе.

Профессор махнул рукой и пошел себе, вражина. Оставил Филиппа наедине с супругой.

У ней из накрашенных глаз текли фиолетовые слезы. И так-то пухлые, а сейчас еще и распухшие губы тряслись.

— Что же это, Филенька?

Ткнулась носом в грудь, обхватила руками, завывала. Никогда раньше так хватко не обнимала, даже в постели. И «Филенькой» не называла, только «Филипп» или «Бляхин».

Осторожно глядя мягкое плечо и отворотив лицо (надушилась — хоть чихай), он с полминуты подождал.

— Ехать мне надо, Ева. На службу. А ты это... Побудь с ним. Боишься в палате — в коридорчике посиди. Но и заглядывай, конечно. Приноживайся. Если что... нянечку кличь.

Думал трепетное. Это ведь жуть что такое, а? Какой был великанище! Первые секретари, а то и наркомы на задних лапках ходили. Но лопнуло что-то в многоумном мозгу, и никому стал не нужен. Пеленку свою не принесешь — будет, как свинья, в грязи валяться.

Да ляд с ним, с Патроном. О себе надо было переживать.

Вот так берет и ломается жизнь. Вчера еще плыл себе на крепкой лодке куда скажет рулевой. Загробал веслами, видел впереди чистый горизонт, а по-над горизонтом — красивое небо с сияющим солнцем. Вдруг оглянулся — на руле никого нет, и самого руля нет. Кричишь. «Эй, а как же я? Куда мне теперь? Как?!» А в ответ из морской пучины только: абвввв.

И небо впереди уже не ясно-красивое, а всё в черных тучах. Жди бури. Сейчас лодку или волной перевернет, или о камни расхерачит. И не будет ниоткуда ни спасения, ни помощи.

Афишку Бляхин сложил, убрал в карман. Надевая фуражку, сказал себе: коли выплыву — сохраню на память о дне, когда перевернулась жизнь.

Из больницы ехал трамваем, пешком выпшло бы долго. Обидно, конечно, было толкаться килькой среди килек. Привык за столько-то лет разъезжать на мягких кожаных сиденьях, привольно. Но нынешнее задание личного транспорта не предполагало. Филипп утешался, что неудобство это временное, надо потерпеть. Явишь Патрону полезность — всё вернется и станет еще лучше, чем раньше. А оно вон чем повернулось... Может, скоро и езду на трамвае будешь вспоминать, как невозможное счастье.

Эх, Патрон, Патрон. Это он так велел называть себя только самым близким помощникам. Говорил, что он и есть патрон, стреляющий по врагам советской власти.

Был патрон, да отстрелялся. Осталась пустая гильза...

Задание у Филиппа было тонкое, важное, знак большого от Патрона доверия, ради чего можно и на трамвае поездить.

По компризыву был Бляхин переброшен из ЦК на работу в НКВД — в порядке укрепления партконтроля над органами. Да не просто в НКВД, оно большое, а в управление госбезопасности, в наиважнейший Четвертый отдел, секретно-политический, в самое его

ключевое отделение, номер два, которое чистит стальным чекистским скальпелем всю внутреннюю гниль.

Дали назначенцу должность скромную, всего лишь оперуполномоченного, даже не старшего, и только одну шпалу в петлицу. По-армейски это капитан, средний начсостав, а спецзвание звучит и того скромнее: лейтенант госбезопасности. Лейтенант, на сорок втором-то году жизни! Но Патрон приказал не обижаться, так для дела лучше. На более крупную должность ставить Филиппа нельзя. Не то Объект насторожится, заподозрит — не на его ли место метит новенький.

«Шванц — тот еще фрукт, — объяснил Патрон. — Не надо, чтоб он тебя опасался. Иначе подстроит какую-нибудь каверзу, и даже я тебя не спасу. В июне месяце с его заместителем Габунией знаешь что случилось? Габуния был борзой, подметки на ходу рвал, сам Ежов его отличал. И вот однажды на совещании, докладывая перед наркомом, Габуния вдруг начал заговариваться. Несет околесицу — ни бельмеса не поймешь. Зрачки расширенные, взгляд нефиксированный. Вызвали врача — опиумное опьянение. Габуния потом, когда очухался, и клялся, и божился, что в жизни к наркотикам не притрагивался, а только кому он такой в центральном аппарате нужен? Влепили строгача, понизили в звании, поехал начальником лагеря под Воркуту. Был борзой, да весь вышел. По моим данным, это Шванц его перед совещанием хитрым чайком напоил. Поэтому ты себя с ним веди тихо, наперед не лезь, изображай тупицу — у тебя это хорошо получается. — Засмеялся, потрепал Бляхина по плечу. — Просто гляди в оба и обо всем мне докладывай. Как дело сделается, вытребую тебя обратно в ЦК».

Дело было — сковырнуть Шванца, чтобы Патрон смог провести на важную должность начальника отделения своего человека. Кого именно, Филипп не спрашивал. Он должен был собрать и предоставить материал на Объекта. И точка.

Аховое досталось Бляжину задание. Опасное и, прямо сказать, поганое. Своей волей Филипп нипочем бы в органы не вернулся. Сейчас там стало еще хуже, чем было

в Гражданскую. Тогда хоть просто к стенке ставили, притом врагов — беляков, саботажников, всякую контру, а нынче перед расстрелом людей сначала мордуют — и своих людей, советских, таких же, как ты сам. Ну и волей-неволей прикидываешь: вдруг завтра тоже угодишь в «Кафельную», зубами на пол плевать.

Или поставят носом в паклевую подушку.

Бляхин пришел в Органы полтора месяца назад и уже на третий день загремел в особое дежурство: присутствовать при исполнении. Это железный нарком ввел такой порядок, недавно. Чтоб сотрудники следственных подразделений наглядно видели результат своей работы. Вот Бляхина и послали, на свежака. Ихних, которые из второго отделения, гоняли недалеко — не в Бутово и не на «Коммунарку», а на так называемую Ближнюю Стенку, со службы десять минут пешком. Там, в Кисельном переулке, под неприметным домом расстрельный подвал — для контингента из Внутренней тюрьмы. Место удобное, с полной звукоизоляцией, исполняют приговоры в любое время суток.

Сотрудников второго отделения посылали дежурить по очереди, выпадало примерно раз в месяц. Некоторые хвастались, будто не только смотрели, но и сами исполняли. Филипп в буфете такой разговор слышал, собственными ушами.

Конечно, во времена боевой революционной молодости он навидался, как людей в расход пускают. Но то было совсем другое. Потому что крутом война, разруха, голод, тиф, все от такой жизни ополоумели. А тут прошелся по августовской Москве, по самому центру, у решетки яслей-сада постоял, на малышей в песочнице поулыбался (с возрастом сделался чувствительный на детишек). Поглядел на часы — без пяти пять, пора. Дальше всё тоже обыкновенно: показываешь документ, расписываешься, получаешь наушники, тоже под расписку, спускаешься по лестнице. И вдруг попадаешь в глухую черную кишку, где в стенку светит прожектор. На стенке рогожная подушка, набитая паклей. «Пулеприемник» называется. Осужденного подводят, ставят на колени, комендант в затылок ба-бах! Грохота через наушники

почти не слышно, но мозги, кровь... Потом труп — за ноги, а подушку поворачивают чистой стороной. После каждого второго исполнения подушку меняют. В бляхинское дежурство стратили семь подушек — четырнадцать человек кончили.

Забуть бы к лешему, да разве забудешь.

Один все кричал: «Люся, Люся!» — жена, что ли, или кто. Другой так бился — с двух сторон за плечи держали. А еще один все пытался «Интернационал» запеть. Начнет «Вставай... Вставай...» — а дальше никак. Комендант ему: «Не вставай, а ложись» — и уложил. Смеялся потом. Спросил Филиппа: «Хочешь следующего завалить, товарищ?» «Нет, спасибо», — сказал Бляхин, думая: скорей бы оно кончилось, а то вывернет наизнанку — сраму не оберешься. Была и еще одна мысль, страшнее этой. Что угодно, как угодно, кем угодно, но только не попасть сюда, носом в пакаю. Никогда, ни за что!

На следующий месяц был уже умный, поменялся со старшим оперуполномоченным Лацисом — вместо Ближней Стенки ехать на уборку картофеля в подшефный совхоз «Красный дзержинец». Потом, под Октябрьские, можно будет сменяться на ночное праздничное дежурство по отделению — желающие найдутся. А если все-таки выпадет снова попасть на исполнение, Филипп уже знал, как себя вести. Наушников одних мало, под них еще нужно комки ваты напихать, прямо в дырки. Глядеть вверх, выше прожекторного луча. Еще важно дышать ртом. Там, в треклятом этом подвале, такой запах — волоски на шее дыбом, как вспомнишь.

Ну и, конечно, утешал себя соображением, что быстро выполнит задание и вернется в ЦК. Он же в Органах временно. Можно сказать, в краткосрочной командировке.

Еще думал: вон оно как, в третий раз судьба на те же рельсы ставит.

Первую службу, при старом режиме, лучше было даже самому себе не поминать. Про вторую, чекистскую, Филипп тоже помалкивал. В анкету вписывал, но без подробностей. И вот, на новом повороте немолодой уже жизни сызнава оказался при удостоверении, которое вынешь из кармана — и люди замирают. То ли это

у Бляхина планида, то ли страна такая. Кто желает наверх пробиться, мимо этого лаза не протиснешься.

Ладно, философия это всё, сказал себе Филипп, готовясь сходить. «Третий» уже повернул на улицу Дзержинского, бывшую Большую Лубянку.

Никакая это, выходит, не краткосрочная командировка, а бляхинская судьба. Сердце тоскливо съежилось, ладони вспотели.

Самое худшее — нет теперь ему защиты от капитана госбезопасности товарища Шванца Соломона Акимовича.

Весь четвертый отдел сидел в энзэ, новом здании, вход с Фуркасовского, а на этаже, где второе отделение, имелась еще и собственная дополнительная проходная. Пускали только по спецпропуску и обязательно записывали прибытие-убытие, с точностью до минуты.

Дежурный сказал:

— Товарищ Бляхин, товарищ начотделения велел, как прибудете — сразу к нему.

Шел Филипп — тер мокрую ладонь о брючину. Сейчас придется начальнику руку жать. Он и раньше заходил к Шванцу в кабинет, как к тигру в клетку. А сейчас и клетки не будет. Просто он, Бляхин, — и тигр. Случись что, не выскочишь, и никто не вызовет.

Проход по нескончаемому коридору был, как в плохом сне — долгий и бесшумный. Под ногами ковровая дорожка, двери по обе стороны кожаные, мягкие, и за ними опять-таки тишина. Это потому что в энзэ всюду тамбурная система, с двойными дверьми: арестованного завести в междверный закуток, передержать, а если крики, то не слышно. В допросных комнатах, правда, никого особенно не мордуют, на то есть «Кафельная», но, бывает, заистерит кто или следователь наорет, а тамбур гасит все звуки, никому никакого беспокойства. По-умному устроено.

За допросными, после поворота, начались двери с двузначными номерами, где работают оперуполномоченные. Младшие сидят по трое-четверо в комнате,

обычные вроде Бляхина по двое, старшим положен отдельный кабинет, маленький, но персональный.

Еще вчера Филипп не побежал бы к начальнику, как собачонка. Нарочно зашел бы сначала к себе, газетку б почитал или что. Так себя поставил — с достоинством. Но сейчас было не до гонору. Очень возможно, что Шванц приказал на проходной отзвонить, как только Бляхин вернется.

Поэтому заскочил в свой тринадцатый (плохое число, не к добру) на полминутки — снять шинель с фуражкой да причесаться.

Поглядел на себя — будто чужим глазом, со стороны.

Каков ты собою, Филипп Панкратович Бляхин, на переломе всей своей жизни?

А вот каков: военный человек при португее, обтянувшей умеренное пузечко, с белесым зачесом на левую сторону — прикрыть плешастое место. Глядит тревожно, растерянно.

Хорошо хоть соседа, лейтенанта Бабченки, не было. В командировку он уехал, в Среднюю Азию, раскрывать недобитых басмачей. Хоть бы они там его грохнули, басмачи. Скользкий тип этот Бабченко. Вечно по бляхинским ящикам шарил. Филипп для контроля там волоски приклеивал. Как ни вернешься, проверишь — рваные. Может, Бабченко сам инициативу проявлял, а может, Шванц ему поручил. При этом у самого Бабченки в ящиках всегда пусто (Бляхин тоже заглядывал, а как же). Даже если в сортир выходит, все папки и бумаги в свой сейф запирает. Короче, гнида.

На кого это я похож, спросил себя Бляхин, подтягивая ремень. На собаку, вот на кого. Которую охотник пустил в медвежью берлогу, она, дура послушная, сунулась, медведя подняла, он вылез, когтистый-косматый, собака обернулась, а охотника нету. Одна она. Выпутывайся как хочешь.

Когда Шванц пронюхает, что Патрон уже не поднимется, тут мне и карачун, уныло подумал Филипп.

Перекрестился — опять хорошо, что Бабченки нет — и пошел.

У начсостава свой коридорчик, всегда неосвещенный. Шванц его «слепой кишкой» называет. Он любит шутки шутить.

Там как? Сначала, слева и справа, кабинеты двух помнáчей. Потом направо сидит замначотделения капитан госбезопасности Гжиб (пустое место, Шванц из него веревки вьет). Налево — канцелярия, где всегда грохочут пишмашинки, будто целая пулеметная команда. А в торце солидная дверь, сафьяновая, цвет «бордо», с табличкой, золотом по черному: «Начальник отделения». Раньше, говорят, фамилию вешали, но за последний год начальников поменялось уже трое, и все по-нехорошему. Филипп был уверен, что и Шванц пробудет недолго — Патрон поставленную задачу выполняет железно. Но теперь получалось, что Патрона нет, а Шванц остался.

В наружную дверь стучать проку не было — не слышно. Бляхин вошел в темный тамбур, побренькал специальным медным колечком о медную же ручку.

— Входи, Бляхин, входи! — раздалось с той стороны.

Как догадался? Перископ у него, что ли, за коридором подглядывать? А черт его знает. Может, и перископ.

Шванц, как обычно, не сидел, а рассказывал. Раньше Филипп думал — чисто котяра на мягких лапах. А сегодня поежился: тигр, как есть тигр.

Он, Шванц, и на допросах тоже редко садился. Ходит, ходит за спиной у арестованного, а тот шеей вертит, косится.

Шванц был еврей, а они, известно, нация моторная. Не могут без движения.

На совещании или на собрании, где не походишь, начальник всегда быстро-быстро на листочках рисовал. Одно и то же — мартышек, но все время разных и очень ловко. То на дереве, то вверх ногами, то они друг у дружки блох ищут, то сношаются.

С виду капитан госбезопасности был нестрашный. На еврея вовсе непохож. Даже картавил не по-ихнему, а как-то по-детски или, наоборот, по-стариковски — пришепetyвал. Крутлолицый такой толстячок, форма

на нем будто пижама. Нос пончиком, сочный рот всегда в улыбочке, маленькие голубые глазенки через очки лущатся, помаргивают.

Но сейчас Шванц улыбку убрал, лысый лоб собрал участливыми морщинами.

— Ну что он?

— Плохой...

Закручинился:

— Эх-эх, шочувштвую.

Шепелявил капитан не всю жизнь, а только последние три месяца — сам говорил. Мост ему неудачно поставили. Шванц про это смешно рассказывал: «Я потом дантисту тоже зубную операцию сделал. Вредитель он оказался. Теперь сидит на нарах, корочку в воду макает, деснами перетирает». У него выходило «дантишту зубную операцию шделал».

Потом-то Филипп привык, даже перестал эту шепелявость замечать, а сначала сильно напрягался. Например, когда знакомились. «Я, — сказал новый начальник, — вообще-то по метрике не Шоломон Акимович, а Шломо Акивович. Фамилия моя по-немецки ожначает "хвошт", чем шобака вертит, но шлово это ишпользуется похабниками для обожначения мужского инштрумента. А пошкольку фигурой я похож на небольшого шлона, то Шломо Шванц — это Шлоновый Хер. Хорошее имя, товарищ Бляжин. И, шкажу тебе по шекрету, вполне шответштвует моей анатомии».

«Шочувштвую» — а по сощурю видно, что ничего он не сочувствует, и Бляжин, исправляя свою оплошность, прибавил:

— Профессор говорит: ничего, сдюжит. Выздоровеет. Нескоро только...

— Само собой. Большевистская порода крепкая, — кивнул начальник и сразу, будто с облегчением, перестал морщить лоб, заулыбался. Так ему было привычнее. — Ладно. Я тебя позвал не только про здоровье товарища завотделом ЦК спросить. Хочу поручить тебе, Бляжин, большое дело.

Шванц всех сотрудников называл на «ты», а они его по-разному. На «ты» — только зам, помощники и старшие оперуполномоченные, из простых оперов один Бляжин.

Капитан на первой беседе сам предложил: давай, говори, по-свойски — сегодня я у тебя начальник, завтра, глядишь, ты у меня. Вроде приветливо сказал, как товарищ товарищу, а в то же время с намеком: мол, знаю, неспроста тебя ко мне приставили.

До сих пор начальник держался с Бляжиным, считай, на равных. Даже в столовую несколько раз вместе ходили. Но с сегодняшнего дня так больше не будет. Это Филипп сразу скумекал — по слову «поручить». Раньше ему, назначенцу из ЦК, капитан не стал бы ничего «поручать». Максимум — попросил бы. Правда, однако, и то, что ни к каким большим делам Бляжина пока что не подключали — только бумажки сортировать да отчеты переписывать.

— Дело это я веду лично. Оно особой важности. Организация «Счастливая Россия». Слышал?

У Шванца выговорилось «щящливая», Филипп даже переспросил: какая Россия?

— Щящливая, — повторил капитан с усмешкой.

Про ПКРО (подпольную контрреволюционную организацию) «Счастливая Россия» Бляжин знал только, что есть такое производство, сильно засекреченное, у наркома на особом контроле. Прежде Филиппа к «крупнякам» не подпускали. То, что теперь подпускают, — плохой признак или хороший? Нет уж, от Шванца ничего хорошего не жди.

Ответил осторожно:

— Слышал кое-что, краем уха. Террористическая антисоветская организация, связанная с иностранными разведками и ставившая целью своей преступной деятельности свержение советской власти.

— Они у нас все такие. — Шванц весело оскалился. — Даже если две бабки у парадной языком болтали, спицами вязали. Побывают в нашей «Кафельной» — сразу признаются, что этими спицами собирались учинить теракт против товарищей Сталина и Ворошилова. Нет, товарищ Бляжин. «Счастливороссы» не террористы и никого свергать не собирались, у них на такое свергалка не выросла. Однако есть причина, по которой я разрабатываю это дело сам, а нарком его лично курирует. И знаешь, в чем эта причина?

Филипп помотал головой. Очень ему всё это не нравилось.

— «Счастливая Россия» — не «лепнина» и тем более не «липняк». Ты у нас тут уже полтора месяца и, конечно, скумекал, что дела у нас бывают двух категорий: или лепим что-нибудь из мелочевки, или вообще гоним чистую липу. Настоящих внутренних врагов мы давно перевели, но партия велит держать население вот так. — Он сжал пухлый кулак. — Чтоб не разболтались, не завияли. Чтоб дисциплина была. Народ у нас сам знаешь какой. Не напугаешь — не повезет. А нашему СССР надо далеко ехать. И быстро. Быстрее, чем едут наши враги в панской Польше, в самурайской Японии и в фашистской Германии. А они лихо гонят, особенно фрицы с ихним Гитлером. Вот и работаем овчарками, рвем овец клыками за мягкие жопы. Чтобы стадо шло, куда скажет партия и товарищ Сталин. Это ясно?

Попахивает разговорчик-то, подумал Филипп. Провоцирует, сволочь?

На смену пришла другая мысль, еще тревожней. А может, и не провоцирует. Знает уже про овоща. Знает: сигнализировать Бляхину теперь некуда. Коли так — беда...

А начальник, как ни в чем не бывало, шепелявил дальше — доверительно так, будто они друзья не разлей вода.

— ...И вдруг попадают настоящие контрики. И организация настоящая! Ладно, не организация, а так, болтологический кружок. Но по нынешним временам и это диво. Большущий нашему отделению подарок аккурат к двадцатой годовщине Великого Октября. Что товарищ Сталин на последнем пленуме сказал про растущее сопротивление недобитков? Помнишь?

Еще бы не помнить, когда оно в трех местах белым по красному написано: на первом этаже, где проходная, в актовом зале и еще в коридоре, над стенгазетой.

Память у Филиппа всегда была хорошая, сызмальства. Повторил слово в слово:

— Товарищ Сталин сказал: «Чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем

иметь у себя в библиотеке
620077 г. Екатеринбург
ул. Антона Валска, 12

тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обреченных».

— То-то. Товарищ Сталин указал, а в реальности никаких острых форм борьбы не наблюдается. И неострых тоже. Приходится на уши вставать, самим из ничего лепить для отчетности. А тут — живехонький гадюшник врагов советской власти! В октябре одна тыща девятьсот тридцать седьмого года! — Шванц радостно засмеялся, даже руки потер. — Родимые мои, прямо каждого расцеловал бы! Вроде и расследовать особенно нечего. Несколько интеллигентиков пили чаек, зачитывали друг дружке доклады про светлое будущее. Спорили промеж собой. Но только в ихнем светлом будущем ни партии, ни вождя, ни марксизма-ленинизма. Будто нас никогда и не было. Представляешь, Бляхин? Налицо железная пятьдесят восьмая прим, со всеми письменными уликами. Не допросные признания из-под следовательского кулака, когда всё у всех будто под копирку списано, а теоретическая антисоветчина высокого уровня. Что ни строчка — мрамор. Террористы из «счастливороссов», конечно, никакие — сам увидишь, но это дело поправимое. Численность хромает — поправим и это, слава богу, умеем. Но сначала нужно как следует костяк доработать, верхушку организации. И тут, Бляхин, непросто. Потому что с настоящим врагом работать трудно. Это когда берешь какого-нибудь гуся перепуганного, он тебе что хочешь подпишет, только по яйцам не бей, а идейного контрика сломать — сто потов прольешь.

— А как на них вышли? Оперразработка? — щегольнул специальным термином Филипп.

Шванц скривился.

— Не бывает у нас никаких оперразработок. Бдительные граждане сигнализируют — кто из лучших гражданских чувств, кто по шкурным соображениям. Мы берем на заметку. Если совсем белиберда, я таких дел не завожу. «Липняк» презираю. Если же просматривается хоть

крошечная перспективка и есть на чем лепить «лепнину» — санкционирую производство, назначаю сотрудника, и пошло-поехало. Тут тоже сначала поступил сигнал. Стали разбираться. Вижу — эге, а дельце-то не пшиковое.

— Что за сигнал? От кого?

— Сейчас увидишь, от кого. Нарочно вызвал, чтоб ты сам посмотрел-послушал, вошел в курс дела. Гражданин Сверчевский уже час в канцелярии сидит, дожидается. Таких говнюков всегда надо помариновать, чтоб сильнее нервничали.

И снял с одного из телефонов, внутриотдельского, трубку.

— Сверчевского ко мне. Живо!

Рукой махнул Филиппу:

— Садись на мое место.

А объяснить ничего не объяснил.

Только Бляхин сел за стол, вытирая ладонью вспотевший лоб, а в дверь уж звякают — мелко, робко.

— Заходите, заходите, Кирил Леонидович! — ласково пропел капитан, а Филиппу сделал знак: будто куренку шею сворачивает. Бляхин не понял, в каком таком смысле, но на всякий случай строго насупился. Шванц кивнул.

Вошел высокий парень, вернее сказать, молодой мужчина. Лет тридцать или, может, чуть меньше. Сразу видно — интеллигент, но не старорежимный, а свой, советский. Рубашка «юнгштурм» под вязаной жилеткой, на груди хорошие значки — «Активист Осоавиахим», «ЗОТ» — «За овладение техникой» и еще какой-то спортивный, с лыжником. В руке зажат берет-«испанка». Лицо хорошее, ясное. Высокий лоб, с него вкось вольная русая прядь. Твердый подбородок. Взгляд из-под круглых роговых очков прямой, безо всякого подобострастия. Обиженный.

— Товарищ Шванц, меня к одиннадцати тридцати вызывали, я торопился, на семинар не пошел, а сейчас уже... — И выразительно поднял левую руку с часами.

Начальник к нему прямо кинулся — правую руку своими двумя стиснул.

— Ради бога извините, Кирилл Леонидович. Работы море. Не дают враги передышки.

— Что вы, — убрал из голоса обиженность вошедший. — Я же понимаю.

Бляхин эту интеллигентскую фанаберию знал. Ихнему брату обязательно нужно, чтоб уважение оказали, хоть на копейку. Чуть по шерстке погладишь — сразу шелковые.

— Вот, познакомьтесь. — Шванц повернулся к Филиппу. — Тот самый Кирилл Леонидович Сверчевский, кандидат наук, надежда советской физики. А это оперуполномоченный Бляхин, Филипп Панкратович, мой коллега, один из наших опытнейших работников. Будет участвовать в нашем с вами деле.

Бляхин привстал, но улыбаться не стал, памятуя о куренке.

Рукопожатие вышло так себе — у обоих ладони мокрые, холодные. А капитан, будто спохватившись:

— Вам хоть чаю-то предложили, Кирилл Леонидыч? Ай, стыд какой. Пойду, попрошу. А вы пока расскажите Филипп Панкратычу, как помогли нам выйти на «счастливороссов».

И чуть не семендой к двери, артист. Но из-за спины кандидата-физика снова сделал жест, уже несомненный: взял себя двумя пальцами за горло, как клещами.

Ага, ясно. Это он такой сахарный, чтобы напарник явил суровость.

— Сядьте, — хмуро указал Бляхин на стул.

Сверчевский сел. Сначала осторожно, на краешек. Потом, будто вспомнив, что он не арестованный, а помощник следствия, свободнее, с откидом.

— С чего начать, товарищ... Бляхин? Прямо с 27 июля?

— Сами-то как думаете? — Филипп глядел колюче. — И это... Всю правду говорите, начистоту, без вихляний.

Физику от такого тона следовало бы напугаться, а этот опять обиделся.

— Зачем вы так, товарищ следователь? Я всегда с органами начистоту. Спросите у Соломона Акимовича!

— Ладно, ладно. Давайте к делу.

Бляхин взял лист бумаги, приготовился записывать.

— Значит так. 27 июля сего года, после публичного диспута на Совете молодых ученых у нас в институте... — Сверчевский покосился на карандаш, быстро строчивший по бумаге. — Я же оргсекретарь Совета молодых ученых. Ну, вы знаете...

Бляхин строго кивнул, думая: какого черта Шванцу от меня надо? Поддавливает, гад, на чем-то. Но на чем?

— Я сделал сообщение о том, как правильно организовывать жизнь и работу ученых при социализме. Ученый — человек напряженной мысли, которая владеет им не только восемь часов рабочего времени, а постоянно, неотступно. Такого человека ничто не должно отвлекать от умственного труда, необходимого обществу, — ни бытовые хлопоты, ни семейные заботы. А еще очень важно все время находиться в среде себе подобных, своих коллег. Чтобы вести профессиональные разговоры, обмениваться мнениями, спорить, постоянно подвергать ход своих изысканий критической оценке товарищей... Я, конечно, говорю не об общественных науках, а о естественных, о точных — причем не только теоретических, но и прикладных. Ученые одного профиля должны не просто работать, но и жить вместе. Коммуна физиков, коммуна химиков, коммуна математиков, коммуна конструкторов, коммуна агробиологов. И все эти коммуны должны располагаться в одном «науголке», по соседству. Потому что очень важны и межотраслевые контакты. Физик не может замыкаться только в физике, а математик только в математике. Встречаясь в столовой, в клубе, в парке, люди из разных сфер науки должны...

— Ближе к делу, — оборвал говорюна Бляхин.

Надо было, пока капитан не вернулся, хоть маленько, хоть самую чуточку разобраться в этой хренотени. А то наломаешь дров — Шванцу только и надо.

— Про Квашина, да? — сморгнул кандидат.

— Про него.

Филипп прикрыл бумагу рукой, чтоб Сверчевский не подглядывал. Там было написано «27 июля, 27 июля, 27 июля» — раз десять и теперь еще прибавился «Квашин», а больше ничего.

— После обсуждения подошел ко мне человек. Пожилой такой, приятный. Представился: Никита Илларионович Квашнин. Говорит: «Я устал от всеобщего энтузиазма, у нас его слишком много, но у вас энтузиазм прекрасный и очень редкий: без цветистых лозунгов, а исключительно по делу». — Физик заежился под мрачным бляжинским взглядом, сбился. — Я рассказывал Соломону Акимовичу, что Квашнин как-то очень располагающе себя вел. И смотрел так — просто, заинтересованно и... доверительно, будто мы много лет знакомы. Я сразу почувствовал к нему безотчетную симпатию. Мы разговорились о будущем науки. Пошли в буфет пить чай. Через некоторое время он говорит: «У нас создан кружок людей, мысль которых устремлена в будущее. В точности, как вы предлагаете. Все разные по роду интересов, но общая цель одна — благо отчизны. Однако все гуманитарии, и нам очень не хватает представителя естественных наук. Как раз такого, как вы: молодого ученого с хорошим культурным слоем. Вот если бы вы прочли у нас свой доклад. А может быть, еще его и развили? Это было бы всем нашим очень интересно. Сначала просто приходите на очередное заседание кружка, послушайте, о чем мы говорим». Я легко согласился. Почему нет? Конечно, я и помыслить не мог, во что этот Квашнин меня втягивает... Через два дня, 29-го, я пришел по указанному им адресу.

— Это по которому? Уточните.

— Маросейка, одиннадцать, строение шесть, — удивился Сверчевский. — У вас же есть. Все собрания кружка, насколько я знаю, проходили там, у Квашнина. До революции ему принадлежал весь дом. Но жена у него умерла в восемнадцатом, сыновья пропали без вести. Он мне не рассказывал, но товарищ Шванц потом пояснил: оба были из офицерья, наверняка ушли к белым. Квашнина уплотнили в полуподвал, но он там довольно уютно устроился, даже с собственным входом. Старорежимное такое жилье, настоящий провал во времени. Всюду книжные полки. На ковре коллекция старинного оружия. На стенах портреты историков — Ключевский, Соловьев, Забелин.

— Почему историков? — не понял Филипп.

— Квашнин до революции был профессор истории, — раздалось от двери. — Из университета его, конечно, давно выгнали. Кому нужны такие историки?

Сосредоточенный на ученом, Бляхин и не заметил, когда Шванц вернулся. Дверь-то обита кожей, на полу ковровая дорожка, а сапоги у капитана шевровые, без скрипа. Проскользнул тихонько — и встал, слушает.

Сверчевский был рад, что капитан вернулся. Говорил Бляхину, а смотрел на Шванца:

— Он устроился в Архив древних рукописей, Квашнин. Очень был доволен своей службой.

Начальник поставил на стол два чая в подстаканниках.

— Сахар уже там. Вам, Кирилл Леонидович, два куса. Тебе, Филипп, три.

Ишь ты, помнит. Бляхин в буфете действительно всегда три куса клал, любил, чтоб сладкий был.

Чай Филипп помешал ложечкой, но решил, что пить не будет. Вспомнил про заместителя Габуню.

— Вы рассказывайте, рассказывайте, — подбодрил Шванц. — Не мне, я-то знаю. Вот ему.

— Да, конечно. — Кандидат снова повернулся к Бляхину. — Когда я пришел — это 29 июля, — был доклад самого Квашнина. По-видимому, не в первый и не во второй раз. Квашнин свой доклад несколько раз дорабатывал, с учетом замечаний. Но я-то слушал впервые. Я чего ждал? Думал, доклад про коммунистическое будущее СССР, интересно. И тут Квашнин, спокойно так, начинает: про страшное время, в которое мы живем, про народ, одурманенный советской пропагандой... И, главное, таким ровным академическим тоном, будто о самых обычных, общеизвестных вещах. Остальные слушают себе, кивают...

— Напугался? — понимающе кивнул Филипп. Он решил для себя, что не будет больше изображать сурового следователя. Раз это зачем-то надо Шванцу, то хрен ему.

Кандидат оскорбленно вскинулся:

— Не испугался, а возмутился! Хотел заявить протест, а потом говорю себе: стоп, тут дело серьезное.

Ты попал во вражеское логово, и твой долг врага не спугнуть. Поэтому досидел до конца и тоже кивал, для маскировки... Ну, доклад Квашнина вы сами читали, поэтому содержание пересказывать не буду...

— Не читал, но прочтет, — вставил Шванц. — Товарищу Бляхину интересна ваша оценка членов организации. Человек вы наблюдательный, с хорошим знанием психологии. Поделитесь.

Шванц свое дело знал. Именно так с интеллигентской шатъей-братъей и надо разговаривать.

Сверчевский приосанился.

— Во-первых, сам Квашнин. Очень умелый ловец душ, по-настоящему опасный враг. Остальные все к нему относились с огромным пиететом: «уважаемый профессор», «наш уважаемый председатель». Там вообще все друг друга называли уважаемыми. «Наш уважаемый дипломат», «наш уважаемый писатель», «наш уважаемый богослов». И меня тоже сразу — «наш уважаемый ученый». Это после доклада, во время обсуждения. Хотя я почти не участвовал, был в потрясении...

— Еще бы, — усмехнулся Филипп. — Поди, не чаял поскорее ноги унести.

— Ничего подобного! — Кандидат сызнава рассердился. — Я решил, что должен собрать как можно больше информации. Что если это только верхушка айсберга? Говорил я во время нашей первой встречи про верхушку айсберга, Соломон Акимович?

— Говорили. И не ошиблись. Вы, Кирилл Леонидович, вообще всё правильно сделали. Как и подобает честному советскому ученому. «Счастливая Россия» — штукавина хитрая, у нее щупальцев больше, чем у осьминога. Ничего, мы их все отследим, это уж наша работа. Вы пока товарищу Бляхину про тех, кого лично видели, расскажите.

— Сейчас. — Физик потрогал дужку очков. Чуть прищурился в пространство. — Итак, Квашнин... Мягкоречивый, седая бородка клинышком, очки. Он был довольно старым — лет шестидесяти, я думаю...

— 1872-го гз рз, — вставил Шванц. — С 1932 года на пенсии, но продолжал работать каталогизатором

в ГАФКЭ, Госархиве феодально-крепостнической эпохи. На службе характеризуют как политически отсталого, но никаких сомнительных разговоров ни с кем никогда не вел. Конспирировался.

— ...Потом Кроль, Сергей Карлович. Его все называли «уважаемый дипломат», хотя дипломатом он был при царе, а сейчас я не знаю...

— Работал в артели книжных переплетчиков, мастер по золочению. — (Это капитан сказал Бляхину.) — Хорошо зарабатывал, сволочь. До семи сотен в месяц.

— Переплетчик? — поразился Сверчевский. — Надо же. А по виду такой... авторитетный. Все его очень почтительно слушали. Резкий, насмешливый ум. Каждое слово к месту... Потом еще писатель — ну этого я знал и раньше. Не лично, а по имени. Артур Свободин. Красивый такой, веселый, моего примерно возраста.

Про писателя Свободина слышал что-то и Филипп, но читать не читал. В газете, наверно, что-нибудь мелькало. Или, может, по радио.

Шванц дополнил информацию:

— Артур Свободин — псевдоним. Настоящее имя Лука Трофимович Кумушкин, девятьсот третьего гз рэ, член Союза писателей. Уже бывший. Сразу после ареста исключили. Давайте про четвертого, Кирилл Леонидыч. Как можно подробнее. Он товарища Бляхина больше всего интересует.

Чего это? — подумал Филипп, косясь на капитана, но физику кивнул:

— Очень интересует.

— Постараюсь... Его все называли «брат Иларий». Или «уважаемый богослов». Фамилия не звучала, ни разу. Тех же примерно лет, что Квашнин и Кроль. Бородка жидкая, очки с толстыми стеклами, зубы вставные — плохонькие, потому и видно, что фальшивые. Даже не знаю, что про него еще сказать... Он при мне почти не раскрывал рта, только слушал и улыбался. Улыбка такая... странная. Не от мира сего. Голос тонкий, тихий, будто извиняющийся. Я, собственно, его голос слышал, только когда мы знакомились. Говорит: «Брат Иларий». Я сначала даже не понял, в каком смысле брат. Потом сообразил:

как раньше монахи. Он и похож на дореволюционного монаха, откуда-нибудь из дальнего монастыря. Даже волосы, длинные, хоть на макушке большая плешь... Что еще? Ей-богу, даже не знаю...

— А ничего больше не нужно. — Шванц похлопал физика по плечу. — Спасибо вам просто наигромადнейшее. Очень помогли. И что нашли время зайти, за это тоже великое чекистское спасибо. Без таких, как вы, нам было бы трудно работать.

Сверчевский вскочил, глаза налились слезой.

— Это вам спасибо, товарищи! Я сын крупного царского чиновника, потомственного дворянина, тайного советника... Ну вы-то всё про меня знаете. Мои предки четыреста лет эксплуатировали крепостных, но пролетарская власть сняла с меня каинову печать, простила, дала образование, дала интересную работу, дело всей моей жизни! Как же я могу вам не помогать?

— Феликс Эдмундович тоже из потомственных дворян. — Капитан качнул головой на портрет. — Ильич — генеральский сын. Не в происхождении дело, товарищ. Человек не выбирает, кем родиться. Зато выбирает, кем станет. И вы сделали в жизни правильный выбор.

Он обхватил Сверчевского за плечо, повел к двери.

— А как насчет моей записки про наукограды? Ознакомились? Что скажете? — торопливо спрашивал информатор, замедляя шаги. — Мне очень важно ваше мнение.

— Дал ход, а как же. Идея перспективная. Мы со своей стороны поддержим. Большое дело, великое. Ну, счастливо вам.

Уже из тамбура физик с чувством сказал:

— Только ради великих дел и имеет смысл жить. Таких, как ваше, — защита родины от врагов. Или как мое — наука.

— Идеальный, — сказал Бляхин, поднимаясь. Сидеть за начальническим столом при начальнике было неправильно.

— Да. И полезный. Главное, внешность очень подходящая. Вот тебя с твоими четырьмя классами и даже

меня с моим неоконченным коммерческим училищем интеллигенция за своего не примет. У Квашниных этих классовое чутье острее, чем у пролетариата. По разговору, по словечкам, по интонации, по мимике, по тысяче мелочей сразу определяют, кто свой, кто чужой. А Сверчевский по всем параметрам для них кровь от крови. От него они не таятся. Он ведь не в первый раз нам мышь в зубах приносит. Но раньше была мелочевка всякая — аспирантская болтовня, анекдот, антисоветский слушок. А тут, гляди-ка, притащил большую крысу. И не за награду старается. Я ему говорил: спасибо, молодец, заслужил премию. А он с возмущением: не надо мне ничего, я ради партии сам всё отдам, жизни не пожалею. Им, таким вот сверчевским, очень важно ощущать себя хорошими. Что делают великое дело, стараются ради народа, ради партии и счастливого будущего человечества. Как шлюха, которая не за деньги, а за удовольствие. В публичных домах таких все девки презирали. — Шванц хмыкнул. — С наукоградом этим своим носится, как дурень с писаной торбой.

— Значит, не будет хода его проекту?

— Есть уже проект, понадежней этого. Не надо никаких поселков для ученых. Гораздо проще, дешевле и эффективнее посадить целый институт или конструкторское бюро по вредительской статье, в особую зону, под круглосуточный контроль, и пусть искупают вину высокими научными показателями. Кормить калорийно, поощрять семейными свиданиями или культмероприятиями, а волынщиков и бездарей отправлять на настоящую зону, другим для примера. Самая лучшая научная атмосфера получится и самые высокие показатели. Сто процентов.

Они стояли друг напротив друга, и Филипп в очередной раз подивился, какого капитан маленького роста. Когда сидит, кажется, что великан: голова крупная, плечи широкие, руки мясистые — вся стать при нем. А поднимется — невысокому Филиппу едва до уха. Это потому что ноги очень короткие.

— «Счастливороссы» эти — их сколько всего? Только те, кого перечислил физик? Историк, дипломат, писатель, богослов — и всё? Четверо?

Шванц комично развел руками:

— Чем богаты. Остальных прицепим. Дело техническое.

— Еще вопрос. Почему он про Квашнина этого сказал «был»?

— Потому что, к большому нашему горю, «уважаемого председателя» больше нету. Застрелился при аресте.

Филипп про себя удивился — как это старик профессор оказался таким шустрым, но вслух сказал коротко:

— Непорядок.

— Болваны исполняли. И я тоже хорош, пустил на самотек. — Капитан больше не мог стоять на месте, опять покатился по ковровой дорожке, от стенки к стенке. — Хотя кто мог подумать? Такая овца! Постучали к нему ночью, и нет бы придумать что-нибудь, ведь не к идиоту пришли — тупо: «Откройте, телеграмма». Он через дверь: «Минутку, халат накину». И вдруг — бах! У него, коллекционера сучьего, пистолет на стене висел, заряженный. Якобы тот самый, из которого Якубович подстрелил Грибоедова.

Якубович — это, кажется, оперуполномоченный с третьего этажа, такой с ворошиловскими усиками, соображал Филипп. А Грибоедов — какая-нибудь контра.

Переспросил для верности:

— Якубович — это который с усами?

— Знаешь? — удивился Шванц. — Вот тебе и четыре класса. Да, тот самый. По ориентировке было известно, что у Квашнина над диваном висит допотопный арсенал: шпага, турецкое ружье с насечкой, дульный пистолет, но кто же знал, что пистолет стреляет? Там пуля вот такущая, с черешню. Полбашки снесла профессору. И остались мы, Бляхин, без главаря. А это для процесса большущая проблема. И для нашего отдела тоже. Как это мы преступную организацию выявили, а предводителя упустили?

Почему Якубович стрелял из старинного пистолета и как пистолет потом попал к Квашнину, Филипп не понял, но выяснять не стал. Возник другой вопрос, по существу.

— А другого руководителя назначить? Дипломата этого, или попа, или писателя? — Хоть Блякин работал на Лубянке недавно, но уже знал, как это делается — штука нехитрая. — Остальных-то ведь взяли?

— Кроль и Кумушкин у нас. Я тебе их покажу, когдаознакомишься с материалами. А вот «брат Иларий» исчез. И это, Блякин, второй наш брак. Надеюсь, что поправимый. Рядовых членов, боевую ячейку, вредителей на производстве мы потом быстро подберем. Многие уже взяты и разрабатываются по другим делам. Переквалифицируем, организуем допроказания. Тогда можно будет выходить на процесс. Дело получится громкое. Проявишь себя как следует — верти дырочку для знака «Почетный чекист». Сам знаешь: дело на контроле у самого Малютки.

Про кого это, Филипп не сразу скумекал, а как дошло — заморгал. Раньше капитан себе такого не позволял — при Блякине над ростом товарища наркома надсмехаться. Подумалось уныло: опять силой своей куражится. Мол, теперь мне на тебя начхать, все твои карты — шестерки.

Но сказал, ясно, не про то, а проявил скромность:

— Куда мне «Почетного», у меня чекстаж маленький.

— Не прибедряйся. Чекстаж у тебя побольше, чем у меня, — с восемнадцатого года, так в анкете прописано. И навык есть. Я почему тебя решил привлечь? Потому что читал протокол допроса, как ты Рогачова сломал. Ты был всего только свидетелем на очной ставке, а так отработал, что следствию потом и делать ничего не надо.

Вот когда стало совсем страшно. Знает про Рогачова! Всё знает! Рыл, копал, вынюхивал. А и как скроешь? Факт есть факт: отслужил при враге народа с восемнадцатого года аж до тридцать четвертого, личным помощником.

— Я при враге народа Рогачове состоял по партзаданию, от товарища Мягкова. В порядке оперативного наблюдения.

— Да знаю я, знаю. — Шванц плеснул ладонью, будто кот, ловящий муху. — Чего ты растревожился? Если б не

по заданию, тебя бы здесь не было. Тебя нигде бы не было. Долго ты его пас, Рогачова?

— Долго. С самого, можно сказать, начала, — соврал Бляхин. Тут его было не проверить.

На самом деле ни с какого не с начала, а с двадцать седьмого года, с 10 мая. Памятный денек. Таких за всю бляхинскую жизнь, может, всего четыре или пять наберется. Были хорошие, были и плохие. Одни вспоминать приятно, другие хочется навсегда забыть. А нельзя. Плохое учит жизни не хуже, чем хорошее. Даже лучше. Например, нынешнее число — четырнадцатое октября одна тысяча девятьсот тридцать седьмого, когда судьба взяла резкий вираж. Затем и афишка в карман положена, для долгой памяти.

10 мая 1927-го тоже был поворот такой крутизны — Филипп думал, под откос его снесет. Всем дням день...

Тогда оппозиция в очередной раз активизировалась — в связи с китайскими, что ли, событиями, уже не припомнить. Филипп мотался между Рогачовым и товарищем Мягковым, отвозил секретные записки, а иногда передавал на словах чего не доверишь бумаге. Привык он к Мягкову Карпу Тимофеевичу (Рогачов его называл «Котофеичем», прямо в глаза). Товарищ Мягков с Филиппом тоже вел себя по-свойски, интересовался личной жизнью, даже с вопросами бытоустройства, бывало, содействовал, чего от Рогачова никогда не дождешься.

Тот разговор, в кабинете у товарища Мягкова, начался, как обычно. Филипп передал конверт, с которым был послан. Товарищ Мягков прочел, потер круглую макушку. Потом поглядел как-то особенно и вдруг говорит:

— У Панкрата, я знаю, вчера гость был.

— В записке сказано? — удивился Бляхин. Ему-то Рогачов велел, чтоб про важного посетителя ни-ни, никому.

— Нет, — улыбнулся своей всегдашней лукавой улыбкой товарищ Мягков. — В записке ничего нет про то, что к Панкрату вчера потихоньку заглянул зампредсовнаркома товарищ Орджоникидзе. Но мне, Филя,

очень нужно знать, о чем они меж собой в такое позднее время толковали. У Панкрата от тебя секретов нету — вступишь, вступишь к нему без стука. Так о чем они шушукались?

Бляхин набычился. Ответил вежливо, но со всем достоинством:

— Извиняюсь, товарищ Мягков, но я у Панкрата Евтихьевича состою на полном доверии. Вам бы понравилось, если б товарищ Рогачов стал вашего секретаря Унтерова про такое расспрашивать?

Хозяин кабинета больше не улыбался.

— Мой Унтеров не скажет. Потому что Панкрату его прижать нечем. А ты мне скажешь. И вот почему.

На стол лег фотоснимок, глянцевоый. Бляхин глянул — вострепетал. Обложка формуляра. Поверху казенная шапка: «Петроградское охранное отделение», а ниже писарским почерком «Бляхин Филипп Владимиров, 1896 г.р., стажер».

Зажмурился. Сильно затошнило. И вдруг, как наяву, зазвучал из прошлого тихий голос, казалось, навсегда забытый: «Гляди, шестерка. Прихлопну — мокро будет». Было это в совсем другой жизни, про которую думалось, что давно сгинула она, навеки похоронена. Ан нет, с того света, из сырой земли просочилась. Выходит, сама папка сгорела, а копия осталась? Копию, положим, снял покойник дядя Володя, но как она к Мягкову-то попала?!

А тот словно услышал. И ответил — так же тихо, вкрадчиво, как мертвый голос из восемнадцатого года:

— Тут такое дело, Филя. В двадцать пятом в Ленинграде на станции бывшая Николаевская-Товарная рыли фундамент для склада. Откопали сундучок, весь набитый фотокопиями личных дел из Охранки. Сотрудники, осведомители, провокаторы. Полезная штука. Как говорится, одних уж нет, а те далече, годы-то были лихие, разбросало людишек, но кое-кто сыскался. Вот ты, например. И в очень интересном месте, близ моего дорогого друга Панкрата Рогачова. Ты думаешь, я с чего тебя привечать стал? Вот с этого. Ждал, когда всерьез пригодишься. Настало время, Филя. Пригождайся.

Филипп молчал. Что тут скажешь? Что ошибка, что я-де не «Владимирович»? Но установить, что он в 1918 году менял отчество, — вопрос времени. Нет, не оправдаешься.

— Давай мы с тобой обмен организуем, — мирно продолжил товарищ Мягков. — Ты мне расскажи подробенько, о чем Панкрат с Григорием Константиныччем толковали, а я эту неприятную фоточку прямо при тебе сожгу.

По правде говоря, не было ничего такого уж секретного в том, о чем Рогачов с товарищем Орджоникидзе вчера говорили. Про строительство большого тракторного завода на Урале и какого правильного человека поставить директором. Ну, Филипп и пересказал что слышал, а сам, оцепеневши, всё на карточку смотрел.

Товарищ Мягков не обманул. Чиркнул спичкой, сжег. И сказал утешительно:

— Всё, нету ее. И не бойся, копию с копии я не делал. Я и фотографировать-то не умею. Живи себе, Филя, вольным соколом. Никто ничего знать не знает, только ты да я.

Но Бляхин уже сообразил, что товарищу Мягкову теперь фотка без надобности. Всё, на крючке у него Филипп, на леске. Куда потянет, туда и поплывешь.

Так оно после и было до самого конца — не бляхинского конца, а рогачовского. Ходил Филипп к новому своему Патрону, и докладывал, и рогачовскую записную книжку тайком показывал. Потом, когда Рогачова разоблачили, товарищ Мягков не бросил Бляхина, взял к себе в секретариат. Оценил.

Конечно, при товарище Мягкове положение у Филиппа было не то, что при Рогачове. Там Бляхин был главный многолетний помощник, а у Патрона таких имелся минимум десяток. С другой стороны, Рогачов со своим тяжпромом совсем оторвался от партработы и прежней силы давно уже не имел, даром что был полный член ЦК, а товарищ Мягков только кандидат. Теперь, из нынешнего тридцать седьмого года яснее ясного, что всё получилось к лучшему. Не подвела Филиппа планида. Если бы Рогачов в декабре тридцать четвертого

не сторец, то стинул бы позже, и помощник вместе с ним. Таких медведей-дореволюционщиков, как Рогачов, уже всех на распыл пустили. Потому что много о себе понимали. Теперь спрос на других людей и другие качества. Как говорил Патрон, ныне время не заслуг, а услуг.

Эх, Патрон, Патрон, дорогой Карп Тимофеич, как же теперь без тебя?

А капитану Филипп сказал еще раз, для ясности — твердо:

— Сам понимаешь, товарищ Шванц. Кабы я в рогачовских делишках хоть сколько-то был замешан, не взяла бы меня товарищ Мягков в свой аппарат.

Начальник засмеялся, ткнул Бляхина пальцем в живот.

— Ты чего, оправдываешься, что ли? Брось. Тебя тьщу раз проверили, прежде чем ко мне назначить. Я про Рогачова вспомнил, чтобы свое восхищение выразить. У меня есть протокол той очной ставки. Музыка!

Подкатился к столу, вынул из стопки папку, раскрыл. Сам уселся на край, заболтал короткой толстой ножкой, зашелестел страницами.

— Вот с этого места. Ты закончил давать показания, как Рогачов на «Съезде победителей» убеждал делегатов голосовать против товарища Сталина — он, мол, и так пройдет, но будет меньше зазнайничать, а то совсем обронзовел...

Филипп быстро вставил:

— Они потом — все делегаты, на кого я дал показания, — оказались членами контрреволюционного блока. Следствием установлено.

— Понятно, что оказались. Это неинтересно. — Шванц водил пальцем по строчкам. — Интересно, как ты Рогачова сделал — тот ведь три недели был в глухой отрицаловке. Ага, вот! Читаю. Образцово, между прочим, протокол составлен.

Подследственный Рогачов: Чего его слушать, Бляхина. Он предатель. Шестнадцать лет при мне был, всюду. И предал. Какая вера предателям? А Панкрат Рогачов никогда никого не предавал. И себя не предаст. Не дождетесь. **Свидетель Бляхин:** Никогда никого не

предавали, гражданин Рогачов? Ой ли. А вот эту фоточку припоминаете?» Дальше пояснение: «Свидетель до-стает и показывает фотографический снимок», а что на снимке — не написано. Интересно, расскажи.

— Бывшая рогачовская любовница, — охотно объяснил Филипп. — Троцкистка Бармина. Когда они разругались, Рогачов ее карточку порвал и на пол кинул, а я поднял, склеил, взял на сохранение. Как чуял, что пригодится.

Тоже, между прочим, важный был день, та очная ставка. Из хороших дней, которыми не грех погордиться. Тот бы снимок, с Барминой, дома на стенку повесить, где почетные грамоты и памятные фотокарточки, но жена заругается — что за чужая баба, поэтому Бляхин склеенную фотку хранил у себя в запертом столе.

— Как же ты догадался, что каменного Рогачова можно карточкой сломать? — Шванц глядел на Филиппа с любопытством. — Из протокола ни хрена не понятно. И что за письмо ты ему после этого поминаешь?

— Это в двадцать девятом было. По почте пришло, лично Рогачову, без обратного адреса. Я распечатал, я личные тоже открывал. Гляжу — от Барминой. Мятое всё. Она, Бармина, тогда уже года два как сидела. В Верхоянлаге. И что, зараза, удумала? Прямо в письме было написано. Завтра, мол, меня повезут в район на допрос по старому делу, брошу сложенный листок на землю, когда будут выводить из «воронка». Может, подберет кто-нибудь добрый и нетрусливый. А на обороте крупно так: «Очень прошу отправить по такому-то адресу П.Е.Рогачову». И ведь отправила сволочь какая-то, в конверте, с маркой, честь по чести, — опять, как и тогда, поразился Бляхин.

— Что было в письме? Любовь-морковь?

— Нет, только в самом конце чуть-чуть: если же, мол, письмо отнесут в милицию, то быстро вычислят, кто писал, и тогда прощай, Рогачов. Какой ты ни есть, а никого другого за всю свою жизнь я так сильно не любила. Вроде этого как-то.

Вспомнил, как тогда затрясся Рогачов, дочитав письмо. Даже глаза рукавом вытер. Он в двадцать девятом был уже не такой орел, как в Гражданскую.

— А остальное в письме было про что?

— Брехня всякая про Верхоянлаг, про тамошние порядки. Что чекисты лютуют в сто раз хуже царских жандармов. Про «ледник», про «клоповник», про «крысятник». Про то, что баб, кто провинился, запускают в барак к уголовным, а мужчин — в «петушатник». Что она, Бармина, хотела в знак протеста руки на себя наложить и обязательно наложит, но пусть Рогачов знает, на какую судьбу он и его сталинская свора — прямо так, извиняюсь, было написано — определил своих старых товарищей.

— Слышал я про Верхоянлаг, — кивнул Шванц. — Он по тем временам ходил в передовых, давал показатели. И что Рогачов на письмо?

— Велел мне съездить, проверить, правда ли. Сказать начлагу, что Барминой интересуются в ЦК. Это чтоб с ней было особое обращение. Да в протоколе про всё это есть. Я на очной ставке рассказал про это его вредительское распоряжение. А в двадцать девятом сразу же просигнализировал товарищу Мягкову.

— Да, я прочитал. Но я вот чего не понял... — Капитан перевернул страничку. — ...Вот. **«Свидетель Бляжн»**: Как вы мне тогда в глаза-то посмотрели, помните? Когда я вернулся-то? И ничего больше не спросили. Предали вы ее, Бармину вашу. Ту самую, которая вас раненого по кронштадтскому льду тащила. Про которую вы во сне чуть не каждую ночь бормотали: "Вера, Верочка". Кабы вы не меня, порученца, послали, а сами отправились, да не поездом, а на аэроплане, как на заводы по срочному делу лётывали, всё бы иначе вышло». И дальше: **«Подследственный Рогачов**: Что иначе вышло бы? Ты же тогда сказал, что поздно приехал, она умерла в лазарете от пневмонии». И дальше явно какой-то пропуск. Что там было, расскажи.

Филипп прищурился, вспоминая приятное.

— Следователь не стал записывать и правильно сделал. А сказал я Рогачову вот что. «Наврал я вам тогда, после возвращения из лагеря. И вы очень хорошо поняли, что вру. Хотели меня спросить, но не стали. Побоялись. Ни от какой она померла не от пневмонии. Нагрубила начальнику, он ее и отправил в барак к уголовным.

На ночь. Наказание такое. За трое суток до моего приезда это было. Урки там, сорок человек их в бараке, вашу Бармину к столу привязали и полночи пилили еще живую, а потом еще полночи уже мертвую. Вот вам и Верра-Верочка». Ну а дальше в протоколе есть, я думаю...

Да, вон оно как у него с Рогачовым перевернулось, подумал Бляхин, дивясь причудливой судьбе. Как в пролетарском гимне: кто был ничем, тот станет всем. И наоборот. Сам Панкрат Рогачов перед маленьким человеком Филиппом Бляхиным тогда, после тех слов, весь будто сдулся, сжался. И завыл, и носом захлюпал, и зарыдал. Да-а, есть что вспомнить...

— В протоколе написано: «Подследственный долго плачет». А потом сразу: **«Подследственный Рогачов:** Я слышал, у вас теперь приговор сразу после суда исполняют? Прямо в тот же день? Значит, так, гражданин следователь. Всё, что тебе надо, я подпишу, но не сейчас, а прямо накануне приговора. Не раньше. Так что отправляй дело скорей в суд, это в твоих интересах». И действительно, подпись под признанием обозначена тем же числом, что приговор. — Шванц отложил папку. — Молодец, Бляхин. Красиво. Покажи себя таким же психологом на деле «счастливороссов», и мы с тобой отлично сработаемся. Даже если товарищ Мягков, храни его Аллах, выздоровеет.

И блеснул хитрым глазом, засмеялся.

Пошел к сейфу, вынул четыре папки: три тонкие, одна толстая.

— Начинай знакомиться с вещдоками. Документация, изъятая на квартире Квашнина. Он, представь себе, хранил эту погань прямо на книжной полке. Очевидно, для пользы будущих поколений. Начни вот с этой, с доклада самого Квашнина. Увидишь: это не «липа», какие сочиняют после душевного разговора со следователем в «Кафельной», а самый что ни на есть натюрель. Для суда — чистое золото. Там карандашом мои пометки, ты ничего своего не приписывай. Будут соображения — пиши на отдельном листе, приложишь. Давай, товарищ Бляхин. Иди, работай. Как говорится, приятного чтения.

(ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА)

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ

Доник, перенесенный на заседание кружка общест-
венных работников 29 июля 1937 года.

Вступительное. ПОДГОТОВКА ПРОБЛЕМЫ

Уважаемые друзья!

Мы живем в страшное, мрачное время. Вперед, по-
видимому, глядет тьма еще более черная, и тем не менее я
верю, что вслед за временной тьмой и проливным рассветом
придет утро, которое принесет свежесть, солнечные лучи и
свет. Но, если и это не придет, ничто не имеет смысла —
и наша жизнь и чувства, и наш быт и радости, и наша по-
рыжка и стремления. Иначе я решительно отказывался согла-
шаться с тем, что в моем, в нашей с вами существовании нет
смысла. И знаю, что вы тоже с этим не согласны — в про-
тивном случае мы не встречались бы и не беседовали бы о
том, о чем мы беседуем. Заранее, восторженными, всем
этими так характерными советским людям, коммунистическим
идеологами или просто задалбливаемыми бытом, по-
слушной она наша интеллигенция, мы показались получившим нече-
ловечески. Но о чем я мечтаю темной неизвестной ночью, если
не о наступлении утра? В том же мне представляется, что
эта темная ночь остается единственно остроумным кор-
рективом в окружении нас обезумевшей тьме.

Мы знаем, с какой целью создан наш кружок. Мы с вами
узнали об многолетнем, бессильном интеллектуальном само-
убийстве — интеллект, в своем кругу — на "умирающий зверь, умирающее
сердце"; нам надлежит бескомпромиссно обдумать скрытое значение
передачи в газете "Правда" и анализировать причины в рамках
советского общества; нам надлежит изложить и представить друг
другу новые идеи. Они, эти идеи, конечно, будут — и каждая с
этого дня дойдет, но все с вами, при всех различиях наших

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ

*Доклад, произнесенный на заседании кружка
«Счастливая Россия» 29 июля 1937 года.*

Вступление. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Уважаемые друзья!

Мы живем в страшное, ночное время. Впереди, по-видимому, грядет тьма еще более черная, и тем не менее я верю, что вслед за крошечной ночью и кровавым рассветом придет утро, которое принесет свежесть, солнечное тепло и свет. Ибо, если в это не верить, ничто не имеет смысла — ни наши мысли и чувства, ни наши беды и радости, ни наши поражения и свершения. Лично я решительно отказываюсь соглашаться с тем, что в моем, в нашем с вами существовании нет смысла. Я знаю, что вы тоже с этим не согласны — в противном случае мы не встречались бы и не беседовали бы о том, о чем мы беседуем. Вероятно, соотечественникам, всем этим так называемым «советским людям», одурманенным советской пропагандой или просто задавленным тяжелым бытом, послушай они наши дискуссии, мы покажемся полоумными мечтателями. Но о чем и мечтать темной ненастной ночью, если не о наступлении утра? К тому же мне представляется, что эта комната сегодня остается единственным островком нормальности в окружающем нас обезумевшем мире.

ст. 58 - прил

*Отщепенство,
любая
ненависть к сов.
действительности*

Вы знаете, с какой целью создан наш кружок. Мы с вами устали от многолетних, бессильных интеллигентских сетований — шепотом, в своем кругу — на «ужасный век, ужасные сердца»; нам надоело бесконечно обсуждать скрытое значение передовиц в газете «Правда» и анализировать нюансы в речах советского вождя; нам надоело жаловаться и предвещать друг другу новые беды. Они, эти беды, конечно, будут — я начал с этого свой доклад, но нас с вами, при всем различии наших взглядов, объединяет деятельный взгляд на реальность. Мы верим, что жизнь можно и должно менять к лучшему. При этом, как люди ответственные и образованные, мы очень хорошо понимаем: всякой успешной деятельности предшествует ясное целеполагание. Для того чтобы построить нечто пригодное для жизни (а хорошо бы еще и красивое), нужно сначала составить ясный план строительства. Нужно понимать, что именно и с какой целью ты собираешься строить.

Мы договорились, что задачей нашего кружка будет обсуждение будущей России — здоровой, отболевшей всеми болезнями роста и залечившей раны, разумно устроенной, одним словом, *счастливой* России. Договорились мы и о главном: что такое «счастье», когда речь идет о жизни целой страны. Это отнюдь не только материальное благополучие (хоть и оно тоже), а такое общественное устройство, при котором всякий гражданин имеет ничем не ограниченную возможность развиваться как личность, заниматься любимым делом, жить осмысленно и с достоинством. Сегодня в мире таких стран еще не существует, так что позаимствовать опыт негде, да и в любом случае все народы живут по-разному, повсюду существует собственная специфика. Именно этому спектру вопросов — *российской* разновидности государственного «счастья» — мы и решили посвятить деятельность нашего кружка. Может быть,

материалы наших дискуссий когда-нибудь пригодятся людям, которые в иной, более благоприятной ситуации займутся уже не планами, а практическим строительством.

При распределении тем для обсуждения я выбрал ту, над которой ломаю голову всю свою сознательную жизнь: в чем заключаются причины застарелой болезни Российского государства, мешающей его нормальному развитию и обрекающей народ на несвободу, несправие, на ничем не оправданные страдания — *на хроническое несчастье.*

Здесь очень легко было бы поддаться искушению и обвинить во всех современных невзгодах правительство Сталина и большевистскую партию, однако, оборачиваясь к отечественной истории, нельзя не увидеть, что Россия была несчастна всегда — при любом режиме и при любом правительстве. В Гражданскую войну основная масса народа пошла за большевиками прежде всего потому, что те демагогически посулили счастье в неотдаленном будущем, при жизни нынешнего поколения. В результате же страна погрузилась в многократно худшее несчастье, какого не бывало со времен опричного террора.

!!!

!

своиго!

При взгляде на историю возникает ощущение, что над Россией тяготеет некий злой рок. Даже в периоды военных побед, территориальных экспансий и колониальных захватов, когда нация обыкновенно начинает процветать, пользуясь трофейными благами, в России всегда богатела лишь верхушка, а народная масса не только не получала часть добычи, но обычно оказывалась еще более угнетенной и разоренной, чем прежде. Будучи человеком научного мировоззрения, я, разумеется, ни в какой рок не верю. Из всех метафор, обычно применяемых для аллегорического описания государства, самой точной является уподобление

его зданию, построенному на некоем участке земли. Если государственное здание трещит и кривится, насквозь продувается сквозняками, если в этом доме неуютно и даже опасно жить, значит, что-то не так в архитектурной конструкции. Необходимо разобраться, какая часть постройки ответственна за вновь и вновь возникающие невзгоды: худая крыша, или какое-то из межэтажных перекрытий, или непрочные стены? А может быть, причину следует искать еще ниже, в фундаменте?

Первая часть моего доклада будет посвящена дефектоскопии: выявлению конструкционных дефектов российской государственности.

Часть первая. ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Краткий взгляд на российскую историю

Прежде всего следует избавиться от глубоко укоренившихся, но ошибочных представлений о том, что русское государство восходит к варяжским, византийским или киевским корням. Подобная диагностика российской государственности ошибочна и лишь искажает картину.

Здание, в котором мы живем, было заложено не в 862 году призванием варягов, не в 988 году крещением Руси, не Ярославом Мудрым и не Владимиром Мономахом, изображавшим из себя преемника цареградского кесарства. Еще одно повсеместное заблуждение — полагать, что древнерусское государство было на время разрушено монгольским нашествием, а затем вновь восстановилось.

Батый никакого отношения к краху Киевской Руси не имел, она развалилась задолго до 1237 года. Если уж говорить о внешней агрессии, то она случилась еще во второй половине XI века, когда половецкие орды нанесли Киеву два

тяжелых военных поражения (сначала в 1067-м, а затем в 1093-м году); после этого бывшее могущество уже не восстановилось. Окончательно же обширную восточноевропейскую державу подорвало захирение торгового пути «из варяг в греки», на обслуживании которого, собственно, и поднялась первоначальная Русь. К XII веку возникли более удобные маршруты византийско-европейской торговли, к тому же сама Империя очень ослабела и оскудела.

Киев перестал быть столицей единого государства и вообще значительным центром после чудовищного разгрома, которому в 1169 году «мать городов русских» подверг правитель северо-востока Андрей Боголюбский. Ко времени монгольского вторжения единое государство давным-давно развалилось, распалось на множество средних и мелких княжеств.

В течение двух с лишним веков на восточноевропейских просторах никакого российского государства не существовало. Обозначились три разные магистрали государственного развития: монархически-аристократическая литовская («литовская» более по названию, а по культуре и религии русская), купечески-республиканская новгородская (территориально — самый большой кусок Руси) и, в середине XIV века, московская — подвластная Орде и во многом имитирующая татарское государственное устройство. Из этой последней модели, как из эмбриона, впоследствии и родилось новое российское государство, коренным образом отличное от того, что существовало в IX—XII веках. Годом его рождения принято считать 1480 год, когда Москва формально вышла из татарского подданства, но я бы считал отправной точкой 1478 год — время окончательного покорения Новгородской республики. Именно с этого момента Русь превращается из большой вотчины потомков Ивана Калиты в государство русской нации.

Рождение Российского государства тесно связано с фигурой Ивана Третьего (1462—1505) — великого князя Ивана Васильевича. Этот деятель, которому ученые и беллетристы уделяют гораздо меньше внимания, чем Ивану Грозному, Петру Первому, Дмитрию Донскому, Александру Невскому, Ярославу Мудрому или каким-нибудь вовсе эпизодическим правителям вроде Бориса Годунова либо Павла Первого, вне всякого сомнения является главным персонажем отечественной истории. Иван Третий заложил фундамент, который определил архитектурные параметры будущего государства, и сделал это так основательно, что впоследствии, вплоть до наших времен, никто всерьез изменить эту планировку и не пытался. Нашему государственному зданию скоро исполнится пять веков, а самая его основа остается все той же, хотя верхние этажи неоднократно перестраивались.

У меня сложилось глубокое убеждение, что именно неизменность государственного фундамента, созданного в XV столетии Иваном Третьим, и является главной причиной недугов России.

Что же это за основа?

Для того чтобы понять ее логическую сущность, нужно представить себя на месте великого князя Ивана Васильевича, который, взойдя на престол в 1462 году, должен был решить задачу создания независимой державы — дела нового и небывалого. Русские давно забыли, что это такое — государственная независимость, да, собственно, никогда этой наукой и не владели, ибо давний опыт раннефеодального протогосударственного образования «Киевская Русь», воспоминание о котором сохранилось в немногочисленных летописях, в условиях сильно изменившегося мира, пригодиться не мог.

Учиться технологиям государственного строительства Иван мог только у соседей, а здесь

особенного выбора не наблюдалось. На Запад было лучше не смотреть — разве что из соображений «действовать от противного». Будущие европейские державы — Франция, Англия, Испания, Германия, Италия — еще не прошли через период объединения и были терзаемы внутренними раздорами. Польско-литовский конгломерат после первого энергичного подъема, приведшего к Грюнвальдской победе (1410), ослабел и переживал тяжелый кризис. Былой образец для подражания, Византийская империя, только что рухнула под натиском турецких мусульман.

Зато рядом существовала Орда, внутренний механизм которой Ивану был отлично известен, поскольку Русь была частью татарской державы в течение двухсот с лишним лет. Московские правители, собственно, и поднялись над остальными русскими князьями лишь из-за традиционно хороших отношений с татарами — как распорядители, назначенные следить за сбором ордынской дани. Со временем эти вороватые и льстивые приказчики, у которых значительная часть хозяйских денег прилипала к рукам, сделались богаче и могущественней ханов, однако по-прежнему, по привычке, смотрели на них снизу вверх и, как это бывает у слуг, мечтали тоже жить «по-господски» — то есть на ордынский манер.

В культурном и политическом отношении Иван Васильевич был гораздо ближе к татарам, чем к европейцам. При дворе его отца Василия Темного, большого татарофила, существовала мода на все ордынское: московские вельможи одевались по-татарски, брили головы по-татарски, а татарский язык был языком светского общения — как в последующие времена французский. Самыми надежными помощниками великого князя были татарские царевичи и мурзы, перешедшие на службу к богатому московскому двору. Символично, что главная регалия российского

самодержавия, так называемая «шапка Мономаха», не имеет никакого отношения к византийскому императору Мономаху, а была прислана в подарок из Орды (вероятно, от хана Узбека верному вассалу Ивану Калите). История с шапкой Мономаха выразительно передает самую суть российской монархии: объявляя себя преемницей великой Византии, фактически она будет наследницей «великой Чингисхании», стремясь распространиться на всю территорию бывшей монгольской империи. (Как известно, к началу XX века, когда в зону российского влияния попала часть Китая, это уже почти удалось.)

Что же такое представляет собой ордынская модель, взятая на вооружение Иваном Третьим, объединителем русских земель и отцом-основателем российской государственности?

Прежде чем я перечислю основные параметры этой конструкции, следует сказать, что выбор, сделанный великим государем, для своего времени был весьма неплох — тем более что к XV веку чингисханова постройка сильно обветшала и Иван постарался в меру своего разума исправить некоторые ее недостатки. На протяжении долгого правления Ивана Васильевича и еще некоторое время после его смерти у Руси не было оснований сомневаться в правильности сделанного выбора: первые лет сто «ордынский» порядок неплохо держал страну, помогал ей одерживать победу за победой и за это время успел пустить такие цепкие корни, что выкорчевать их потом стало невозможно — а вернее сказать, никто особенно и не пытался.

Проблема в том, что система, удачно работавшая в соседстве с раздробленной средневековой Европой и слабой Степью, оказалась архаичной и малоэффективной в условиях культурной, идейной, технической, научной, промышленной, социальной революции, начавшейся с Возрождения

и затем все более набравшей обороты, так что России постоянно приходилось догонять Европу и не успевать за ней.

Я выделяю восемь основных признаков российской государственности, которые являются генетически «ордынскими». Давайте посмотрим, как эти несущие опоры проявляли себя под натиском исторических испытаний.

1. «Ордынская» держава предельно жестко централизована. Все сколько-нибудь важные решения — административные, экономические, культурно-политические, идеологические — принимаются в «ханской ставке» или должны быть ею санкционированы. С одной стороны, такой порядок упрощает и ускоряет мобилизационные механизмы, что не раз помогало России в моменты тяжелых испытаний — войн, эпидемий, катастрофических неурожаев. В то же время необходимость постоянно, иногда даже в пустыках, оглядываться на Центр — особенно в условиях огромных российских просторов и неразвитых коммуникаций — парализует или во всяком случае сильно замедляет повседневную административную жизнь страны. Иными словами, подобная централизованность полезна в кризисных ситуациях, но вредна в нормальной обстановке.

2. Фигура носителя верховной власти сакральна. Даже самое церковь в своей духовно-идеологической деятельности должна повиноваться воле «хана». Он — высший и, в общем, единственный источник государственной воли, наверхие всей властной пирамиды, которая без этого конечника не имеет смысла.

Пиетет перед высшей властью хорошо обеспечивает политическую стабильность; государство такого типа меньше подвержено всякого рода внутренним потрясениям — и это, разумеется, благо. Однако в вознесении правителя на недостижимую

высоту есть и серьезные риски, поскольку это живой человек, способный ошибаться. В династической монархии государь к тому же обычно получает корону не благодаря своим дарованиям, а по праву рождения, то есть оказывается наверху по воле случая. При неограниченной власти любая личная слабость «хана», его физическое или психическое нездоровье способны привести страну к катастрофе. В нашей истории множество тому примеров, и последний развернулся всего двадцать лет назад, на наших с вами глазах: Николай II, далеко не худший из российских самодержцев, оказался слишком слаб для того, чтобы удержать государственный корабль на плаву в жестких условиях XX века, да еще во время сильной бури.

3. **Воля правителя выше любых законов.** Государство может на словах провозглашать верховенство закона, но на деле он всегда обязан склоняться перед решением государя. Точно так же Орда знала и чтит закон Великой Ясы, однако управлялась не его нормами, а ханскими указами. Рептильное состояние нынешней советской судебной системы, послушно штампующей любые решения большевистской власти, отнюдь не является сталинским нововведением. Наоборот, это возвращение в архаику, к шестнадцатому столетию, когда грозный царь судил подданных не по букве закона, а по своему хотению. В исторической перспективе зависимость судебной власти, конечно, была очень удобна правителям и администрации, сильно облегчая им жизнь. Эксцессы начались лишь во второй половине XIX века, после либеральных реформ Александра II, но о том, что такое были эти реформы и к чему они привели, мы еще поговорим.

4. **«Ордынское» государство всегда военизировано.** Данная особенность проявляется не только в неременной мощи вооруженных сил и преобладании военных расходов над всеми прочими статьями бюджета, но и в «армейском» принципе

Вкл. в выписку для суд. коллегии

гражданского управления. Приказы не обсуждаются, а исполняются; коллегиальность отсутствует или слабо развита; представители администрации несут ответственность за свои ошибки не перед обществом, а исключительно перед начальством, государь же не отвечает ни перед кем, кроме своего «командира» Бога, и недосыгаем для какой-либо критики.

5. Высшей ценностью государства является само государство. Не государство обслуживает нужды народа, а народ обслуживает нужды государства. Вообще личная несвобода и несправие жителей — принципиальное условие «ордынской» системы, иначе она просто не могла бы функционировать. Все жители империи, сверху донизу, считаются состоящими на государственной службе — как это завещал еще Чингисхан. Первое, что сделал Иван Третий — «закрепостил» аристократию, лишив ее старинного права свободно переезжать от сюзерена к сюзерену. Затем тот же принцип постепенно распространился на все население, вплоть до самого низа социальной пирамиды — крестьянства, крепостная зависимость которого по сути дела означала пожизненное нахождение на службе. То же самое на наших глазах проделала советская власть, прикрепив крестьян к колхозам и тем самым вернув их в крепостное состояние — исходя из интересов государства.

*кучацкая
идеология*

6. Вместо системы личных прав существует иерархия личных привилегий. Разница между правами и привилегиями состоит в том, что первые являются чем-то естественным и неотъемлемым — лишиться их можно лишь за совершенное преступление, по приговору суда; вторые предоставляются сверху и сверху же могут быть отобраны. Объем и качество привилегий зависит от близости к вершине властной пирамиды. Этот принцип придает структуре «ордынского» государства определенную стройность и лучшую

управляемость: всякий «ханский чиновник» или «мурза» знает, что его благополучие целиком зависит от лояльности и усердия.

7. Гипертрофированную важность имеет тайная полиция. Она подчиняется непосредственно государю и контролирует (а обычно и дублирует) деятельность всей «вертикали». В отсутствие коллегиальности и общественного контроля за работой всех уровней государственного аппарата у верховной власти, собственно, и нет другой возможности получать достоверную информацию о происходящем в стране и предотвращать всевозможные эксцессы. Чингисхан, безусловный гений имперского строительства, опирался на кэшик, «черный тумен»: контингент телохранителей, наделенных особыми полномочиями и часто использовавшихся в качестве чиновников особых поручений. Российские правители тоже постоянно воспроизводили аналогичные структуры, помогавшие им держать страну под контролем. Таковы были Опричный корпус Ивана Грозного, шпионское ведомство Семена Годунова («правого уха» Бориса), Преображенский приказ Петра Первого, Тайная канцелярия, «мундиры голубые», Охранное отделение и так далее — вплоть до нынешнего НКВД, мощнейшей тайной полиции за всю историю России.

*мерси за
компл.и.мент*

8. Наконец, такое государство немислимо без ощущения некоей высшей цели. Сакральность власти, основанной на несвободе и принуждении, должна оправдываться еще более священной задачей, ради которой народ обязан мириться со всеми лишениями. Для поддержания этого ритуального огня важную роль выполняют государственная религия и государственная идеология. У Чингисхана был проект создания «океанической» (то есть всемирной, от океана до океана) империи, которая управляется единой волей, гармонична, справедлива и безопасна для жителей.

Великому завоевателю приписывают емкое и красочное описание такого рода идиллии: прекрасная дева сможет пройти от одного края державы до другого с золотым блюдом в руках, не лишившись ни чести, ни блюда. В дикой Степи, где зародилась ордынская империя, это казалось мечтой сказочной красоты. У российской монархии существовал идеал «Третьего Рима» — некоей всемирной империи, осененной светом Истинной Религии (православия) и управляемой русским царем. Заведомая недостижимость этой цели со временем привела к ее редукции — до лозунга «Крест над Святой Софией», или «Босфор и Дарданеллы». Отлично понимают важность высокой цели и большевики: их «строительство коммунизма, рая на Земле, по сути дела является все той же сказкой о деве с золотым блюдом».

Из восьми опорных колонн «ордынскости» главной безусловно является первая: тотальная централизация. Можно сказать, что остальные константы — не более чем подпорки, укрепляющие этот несущий элемент всей конструкции.

В чингисхановской империи идея централизации была доведена до кристаллической стройности. В административном отношении держава делилась на «тумены» (области, обязанные мобилизовать для войны десять тысяч солдат), «тумены» — на «тысячи», «тысячи» — на «сотни», «сотни» — на «десятки». По этой цепочке вниз спускались все принятые в ханской ставке решения. Проявление какой бы то ни было инициативы в обратном направлении было немислимо.

В этой однонаправленности государственной энергии заключается и сила, и слабость «ордынскости».

Когда мир был устроен примитивнее и напоминал пресловутую ледяную пустыню, по которой бродил «лихой человек», принцип жесткой

субординации неплохо работал. Во времена, когда споры между нациями решаются силой оружия, «ордынская» держава почти всегда оказывается сильнее государств, устроенных более мягким образом. Если у России и случались военные поражения, то вследствие технического отставания — ахиллесовой пяты всякого несвободного государства. (Мы позднее подробно поговорим об этом синдроме и его причинах.) Однако российское государство не стояло на месте и время от времени предпринимало попытки модернизации, крупнейшей из которых была вестернизация Петра Великого, преобразовавшая посттатарское царство в квазиевропейскую казенно-казарменную империю. В такой осовремененной модификации Россия добилась статуса великой державы и в начале XIX века ценой огромных усилий и неимоверных жертв своего послушного народа даже одержала верх над военной (но не «ордынской») империей Наполеона Бонапарта.

Однако с началом индустриально-технической революции, необычайно ускорившей развитие западной цивилизации, все явственнее начали проступать минусы «ордынской» конструкции: прежде всего минусы чрезмерной концентрации власти в едином центре принятия решений и отсутствии общественных институтов. Оказалось, что главным двигателем прогресса является частная инициатива, естественная предприимчивость человеческой природы, всегда стремящейся улучшить условия своего существования. И там, где эта энергия была в наименьшей степени сдержана государственным давлением, результаты получались ошутимее. Это демонстрирует удивительная история взлета Соединенных Штатов Америки — далекой, захолустной страны, которую во времена моего детства один известный российский публицист назвал «плебейской, дворянской державой».

В Российской же империи развитию провинции во все века мешала парализующая централизация, а развитию частной индустрии — произвол административных органов и коррупция, непременный спутник всякой безальтернативно «вертикальной» организации власти. История показывает, что жажда наживы в чиновничестве, не контролируемом выборными институтами и независимой прессой, всегда сильнее страха перед наказанием за казнокрадство и лихоимство. Даже Ивану Грозному со всеми его изуверствами не удалось справиться с этой болезнью — наоборот, тотальная коррупция в ту жестокую эпоху достигла совершенно небывалых масштабов. Обнаглевшие опричники вымогали у запуганного населения последнее, шантажировали и обирали торговых людей, а самые мелкие винтики властной пирамиды, привратники в присутственных местах, пускали посетителей и просителей в казенную избу только за мзду.

Травматическим столкновением с новой реальностью для русского самодержавия стала Крымская война 1853—1856 гг. Оказалось, что шлагбаумная империя проигрывает вроде бы недисциплинированному капиталистическому Западу по всем параметрам.

Во-первых, технологически — потому что в условиях несвободы всякая мысль, в том числе и научная, развивается медленнее: русским парусникам противостоял паровой флот, гладкоствольным ружьям — нарезные штуцеры, допотопному обозному снабжению — железная дорога, проведенная из Балаклавы к позициям союзников с пугающей быстротой.

Во-вторых, промышленно — казенные заводы не могли конкурировать с европейской индустрией, построенной на принципах свободного предпринимательства.

В-третьих, организационно — сравнение систем снабжения продемонстрировало, что свободная конкуренция обеспечивает лучшее качество поставок, чем военное интендантство, неповоротливое и вороватое.

Наконец, выяснилось, что и в боевом отношении армия, состоящая из вольнонаемных, то есть свободных людей, воюет инициативнее, чем войско, укомплектованное рабами и держащееся на страхе перед шпицрутенами.

Николай Первый, идеолог и адепт тотального военно-бюрократического управления, увидел, как эта система терпит полный крах, и умер, не вынеся такого унижения.

Его преемник Александр Освободитель попробовал осуществить ремонт шатающегося государственного здания и приступил к обширной программе реформ. Здесь-то и открылась главная опасность «ордынской» архитектуры. События следующих десятилетий показали, что перестраивать стены, не затронув фундамента, — дело рискованное. Освобождение крестьянства (то есть фактически его демобилизация с государственной службы), учреждение принципов права, развитие общественных институтов и прессы, поощрение частного предпринимательства, даже усилия по развитию народного образования — все эти меры не только способствуют развитию страны, но и сотрясают ее основы, порождая внутренний конфликт, чреватый революцией. За реформами последовали контрреформы (в том числе простодушная попытка Александра III не допустить в гимназии «кухаркиных детей»), за контрреформами — снова реформы.

Эта непоследовательность объяснялась просто. Правительство не могло не видеть, что всякое увеличение свобод приводит к вибрации государственной машины, а всякое «закручивание гаек» — к стагнации, но не знало, что с этим делать.

Выбор у Российской империи был трудный. Можно было либо твердо держаться курса Николая Первого: не стремиться к правовому государству, управлять страной при помощи голого администрирования, подавлять общественные свободы — и через несколько десятилетий окончательно превратиться в подобие цинского Китая, стать колонией более развитых держав. Или же требовалось осуществить переустройство всей государственной конструкции — но коренное, а не поверхностное. Романовы пошли по промежуточному пути, самому губительному из возможных: они попытались построить на «ордынском» фундаменте современное государство, а это подобно попытке возвести высотное квадратное здание на треугольной опоре — оно, разумеется, развалится.

Учреждение парламентаризма в 1905 году, вызвавшее столько надежд у российского «прогрессивного общества» (помню, как и я со своими студентами восторженно вопил «Да здравствует Дума!»), стало непосредственной причиной февральской катастрофы. Если бы не Дума, которую общество уже привыкло воспринимать как легитимный орган и потенциальную альтернативу самодержавному правлению, бездарный режим Николая все равно рухнул бы, но не в результате революции, а вследствие дворцового переворота, и к власти просто пришла бы другая монархическая партия. Однако «ордынский» принцип не терпит никакой альтернативности в вопросе о власти, он несовместим с сомнениями в сакральности и *единственности* «ханского» мандата.

В общем, как ни горько это признавать, но получается, что лучшие и благороднейшие умы русского девятнадцатого века — от Радищева до графа Толстого — бескорыстно и самоотверженно готовили ту кровавую Смуту, которая развернулась на наших с вами глазах и переросла в новую

Опричнину. Борьба за права и свободы привела к еще худшему бесправию и еще худшей несвободе.

Разумеется, еще больше в случившемся виновата русская монархия, не понимавшая собственной природы и сама спровоцировавшая свой крах.

Зато новая власть, большевистская, очень хорошо — очевидно, на сугубо инстинктивном уровне — ухватила самое суть российской государственности и без колебаний восстановила «ордынские» принципы во всей их полноте. Особенно последовательно этот курс обозначился при Иосифе Сталине, раздавившем НЭП с его послаблениями частной инициативе и вновь закрепитившем крестьянство. Председатель Совета Народных Комиссаров — политический двойник Николая Первого, главным инструментом управления которого были шпицрутен и солдатчина. Но это Николай Палкин в квадрате, доведенный до логического абсолюта.

Для того, чтобы восстановить разрушенное здание «ордынского» государства, Сталину пришлось вколачивать гвозди прямо в живое мясо, не обращая внимания на стоны и брызги крови. Этот правитель хорошо знает, что он строит: новую военно-бюрократическую империю, и со своей работой, следует признать, он справляется неплохо. Более того, в преддверии новой мировой войны, которая представляется неизбежной, мощные мобилизационные механизмы и повышенная удароустойчивость «ордынского» государства могут оказаться кстати. При всем неприятии большевистского строя я рискну предположить, что в минуту военных испытаний он окажется более крепким, чем царская Россия в 1914-м и особенно 1915-м году.

Здесь вы вправе обратить мое внимание на то, что я сам себе противоречу: с одной стороны,

утверждаю, будто государство «ордынского» типа уже неэффективно в силу своей архаичности; с другой — допускаю, что оно может спасти Россию от разгрома.

На самом деле никакого противоречия нет. Сейчас, в 30-е годы XX столетия, человечество пребывает в болезненном состоянии, напоминая свинку или корь в зрелом возрасте, — как известно, взрослые люди переносят эти детские хвори гораздо тяжелее. Сразу в нескольких местах планеты — в Германии, Японии, Италии и России — всюду по разным причинам, наблюдается рецидив военно-имперского строительства с выраженным агрессивным уклоном. Скорее всего, эти бурные инфекционные процессы разрушат либерально-демократическое благонравие, которым с момента образования прекраснодушной Лиги Наций живут так называемые передовые страны. Весьма возможно, что военные империи на первом этапе даже достигнут серьезных успехов. (Посмотрите, как итальянскому фашизму удалось справиться с абиссинской проблемой, об которую в конце прошлого века обломала зубы вялая держава короля Умберто; посмотрите, как легко разгоняет огромные китайские полчища небольшая Япония; посмотрите, как быстро вывел Германию из глубочайшего кризиса Адольф Гитлер.)

на одну доску с фран. собратами!

Восхваление фашизма

В грядущей мировой войне столкнутся три силы: западные демократии, обновленные военные империи «орденского» типа (куда следует отнести и Японию с ее самурайским духом) и обновленная военная империя «ордынского» типа — Советский Союз. По счастью для человечества, две последние силы враждуют между собой. Если бы они объединились, то человечество, вероятно, откатилось бы на полтора тысячелетия назад, в эпоху варварских нашествий, и бог знает сколько веков вновь ждало бы нового Возрождения.

А впрочем, я, пожалуй, скорректирую этот пессимистический прогноз. Никаких полутора тысяч лет ждать в любом случае не придется. Даже если «орденцы» сговорятся с «ордынцами» и захватят власть над всей Евразией, долго этот миропорядок не продержится. Чем больше покоренных народов, тем труднее их удерживать в рабском повиновении. А кроме того, современные «императоры» слишком жадны и нетерпеливы. Хищная суть военных империй неминуемо приведет их к столкновению между собой, а главный бастион капиталистической демократии — Соединенные Штаты Америки — будет наблюдать из-за океана, как железные тираннозавры пожирают друг друга, и потом установит свою гегемонию над миром.

Нет, завоевать мир ни у фашистов, ни у самураев, ни тем более у большевиков не получится, но человеческие потери будут колоссальными. В результате недавней Великой войны и спровоцированного ею шлейфа дополнительных потрясений (революций и гражданских войн, пандемий «испанки» и тифа, голода и разрухи) по весьма приблизительным подсчетам погибло более 50 миллионов человек. С тех пор очень развились орудия уничтожения и ожесточились идеологии, к тому же наметился новый колоссальный плацдарм для убийств — Китай, поэтому жертв наверняка будет еще больше, а география деструкции много шире. Если же предположить, что и вторая глобальная война не отучит человечество решать проблемы межгосударственной конкуренции без применения оружия*, то впереди, в отдаленной перспективе, произойдет и новое столкновение, которое вследствие дальнейшего развития военных

* О будущем международных отношений России и — шире — человечества должен сделать сообщение уважаемый Дипломат, поэтому здесь данной темы касаться я не стану

технологий убьет уже сотни миллионов или даже миллиарды жителей планеты.

Выскажу мысль, которая несомненно покажется вам циничной: если так случится — туда всем этим миллиардам и дорога. Значит, homo sapiens оказался несостоятельным и на смену ему через миллион лет придет какой-то другой биологический вид. Очень вероятно, на Земле за долгий срок ее существования уже происходили подобные неудачные попытки заселения. Что ж, будут и новые.

Собственно, главная проблема современного человечества заключается в том, что жизнь каждого отдельного человека имеет слишком малую ценность. Нас слишком много. Нет возможности относиться к каждому индивиду с вниманием, уважением и бережностью; да просто кормить, лечить, образовывать всю эту массу современным государствам совершенно не под силу. Вот почему правители и правительства относятся к своему населению как к дешевому расходному материалу. Он таков и есть. На Земле есть регионы, в которых с людьми обращаются особенно скверно, цenia их жизнь вовсе в грош. Такова, увы, сегодня и наша с вами страна. *мрази!*

Будущее планеты — или отсутствие у планеты будущего — не в последнюю очередь зависит и от того, удастся ли нам, обитателям шестой части земной тверди, *выбраться из зоны несчастья,* или же мы продолжим распространять свое несчастье на сопредельные народы.

Вот какую задачу — разобрать прежнюю постройку и на ее месте возвести новую — предстоит осуществить россиянам ближайших поколений. Во второй части своего доклада я расскажу, как, с моей точки зрения, следовало бы подступиться к этой колоссальной работе.

Часть вторая. **ДЕМОНТАЖ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО**

*Кого он
хочет
обмануть,
своюго?*

! Воздержусь от предположений о возможных путях краха советской империи. Мы договорились о том, что в своих дискуссиях не станем касаться вопросов сугубо политических: в частности, о том, каким образом — эволюционным либо революционным — в конце концов изменится существующая в СССР система власти. Мы не заговорщики и не борцы с режимом, мы — теоретики и даже, если угодно, кабинетные мечтатели. Поэтому сразу перейду к эпохе, когда перетряска или целая череда перетрясок останутся уже позади.

Итак, прежняя «ордынская» система пала в результате военного разгрома или внутреннего кризиса; промежуточный режим, почти всегда возникающий после подобных эпохальных переворотов, тоже развалился. Население России (как бы страна к тому времени себя ни называла) наконец осознало, что в прежней системе координат существовать более нельзя, и хочет коренных перемен. Сделаю допущение еще более смелое: представим себе, что к власти пришли люди, которые не только искренне озабочены благом страны, но и обладают энергией, волей, стратегическим мышлением, потребными для тотальной перестройки всего государственного здания. Это правительство ставит перед собой задачу сделать Россию счастливой страной — в нашей с вами трактовке этого понятия.

С чего им начать?

Децентрализация и развитие провинции

Ответ ясен: с сознательного отказа от устаревшего «ордынского» устройства, не отвечающего требованиям современности. Произведенная мною выше «дефектоскопия» установила, что

главной опорой этой системы является тотальная централизация — жупел, на который не осмелился покуситься ни один российский реформатор.

Во времена, когда у нас еще бывали возможны общественные дискуссии о вариантах государственного устройства России, даже среди мыслителей либерального толка считалось аксиомой, что при наших просторах, разномастности и многоукладности форсированная централизованность необходима и неизбежна. На немногочисленные и довольно робкие возражения оппонентов, что диктат крошечной Столицы несправедлив и мешает развитию всей остальной огромной России, повторялся один и тот же довод: масса головного мозга тоже незначительна по сравнению с массой остального тела, однако же странно было бы негодовать, что телом управляет единый центр принятия решений.

Этот аргумент, разумеется, только кажется убедительным. Мозг задает лишь общий курс действий, но не указывает клеткам, как им расти и развиваться. Однако российская централизация почти во все исторические периоды именно что пыталась руководить жизнью клеток — и тем самым только мешала их естественной эволюции. Оттого что мозг прикажет клеткам: «Растите, холопы!» — клетки не вырастут. Будет совершенно достаточно, если мозг примет решение нравственно жить, здорово питаться, заниматься спортом, дышать чистым воздухом, отказаться от вредных привычек — и в таких условиях организм сам произведет нужную работу, не дожидаясь дальнейших инструкций.

Роль Столицы в российской истории по большей части была разрушительной, а часто и преступной. В самые благополучные эпохи Столица (старая Москва, потом казенный Петербург, теперь снова Москва, но уже большевистская) просто по-вампириски сосала из страны кровь.

Апроприировала львиную часть доходов, культурных исканий, а самое пагубное — вытягивала из провинции талантливых и деятельных людей, многие из которых могли в полной мере проявить свои дарования лишь вблизи этого магического центра российской жизни. Особенно явственно подобный вампиризм проявляется в СССР — просто потому, что советская империя несравнимо тоталитарнее царской и живет по принципу: «Начинается земля, как известно, от Кремля». Пришлось даже ввести ограничение московской «прописки», потому что привилегированность столичного жительства стала слишком очевидна и слишком многие захотели попасть в число благополучателей сей центрокрапии.

В дореволюционные времена, когда вследствие половинчатых реформ Александра II «ордынскость» имперского здания подрасшаталась, во многих областях провинциальной России наметились признаки оживления. В богатых торговых и промышленных городах начала развиваться собственная культура, некоторые из традиционных локальных промыслов стали превращаться в серьезные производства и торговые марки: вологодское масло и пшеничные водки, жостовская и гжельская роспись, каслинское литье, оренбургские пуховые платки, лаковая деревянная посуда вызывали интерес на международных выставках. Отлично помню, как в начале века в магазинах вдруг появилось множество русских провинциальных продуктов вроде вяземских или тульских пряников, белевской пастилы, всевозможного засола рыбы, разного приготовления колбас и окороков. Сейчас от всего этого разнообразия и изобилия почти ничего не осталось. Все производства и вся торговля централизованы и огосударствлены. «Клеткам» приказали расти по утвержденному «мозгом» плану — и наступило омертвление тканей.

Должен заявить со всей определенностью: в условиях современного мира управлять огромной Россией из одной точки, «по-ордынски», — дело вредное и бесперспективное. Эта дорога ведет к технологическому отставанию, социальной деградации и нищете. Можно, конечно, принудительно мобилизовать все административные и финансовые ресурсы для решения узкого круга задач — допустим, укрепления военной промышленности, но этот рывок истощит и дезорганизует все остальные отрасли национальной экономики, не говоря уж о разорении всей периферии.

Строителям новой, постордынской России нужно уяснить главное: уровень развития страны определяется не пышностью столицы, а процветанием провинции. Человек, родившийся вдали от центра (а это по меньшей мере 95 % населения), ни в коем случае не должен ощущать себя обделенным судьбой и обитающим на обочине настоящей жизни. У российского жителя должны быть все возможности реализовать свои силы и дарования там, где он родился, а не мечтать вслед за чеховскими сестрами: «В Москву, в Москву!» Во всех так называемых благополучных странах — Англии, Франции, Северо-Американских Соединенных Штатах — провинциальная жизнь часто обгоняет жизнь столичную по параметру, который французы называют *qualité de vie** и под которой понимают совокупность чистого воздуха, здоровой пищи, дешевизны, нескучности, нервической релаксированности и безопасности. В сельской местности лучше воспитывать детей, полнее ощущение связи с природой, больше свободы. Часто бывает, что энергичные и честолюбивые люди в молодости уезжают в большой мир за богатством, славой, карьерой, а потом возвращаются на родину, по которой тосковали в разлуке. Представить такое в условиях

* Качество жизни (фр.).

*Злая
клевета на сов.
действитель-
ность*

России трудно: у нас «отрезанный ломоть» обратно не прирастает, а пенсионер, возвращающийся из Москвы в родную деревню, был бы сочтен психически ненормальным: в деревне нет ни медицины, ни бытовых условий, ни сколько-нибудь нормального продовольственного снабжения.

Всякая страна может быть сильна только провинцией, и Россия здесь не исключение. Наоборот: для нашей гигантской страны этот закон государственной физики абсолютно непреложен.

Серьезное реформирование российской государственности невозможно без перепланировки ее фундамента: перехода от монолитной централизации к федерализации, и я имею в виду не сугубо декоративную, назывную федеральность, зафиксированную в названии РСФСР или СССР, а подлинную автономность регионов. Каждый из них должен быть самостоятелен и самодостаточен: прежде всего в экономическом смысле, то есть должен кормить и содержать себя сам, не пользуясь «ордынской» системой перераспределения ресурсов и деления страны на регионы-доноры и регионы-акцепторы. Такая административно-географическая конструкция была создана во времена военной империи Чингисхана, которого в первую очередь интересовало количество рекрутов, поставляемых частями его державы, а не развитие этих областей. Более того, для «ордынской» системы самодостаточность региона опасна и нежелательна — эту истину московские государи хорошо усвоили еще с удельных времен. Дефицит либо продовольствия, либо промышленных товаров, либо населения всегда являлся важным инструментом управления империей.

Итак, новая Россия должна будет представлять собой федерацию нескольких сильных автономий, живущих главным образом внутренними интересами, но при этом имеющих достаточно мотиваций,

чтобы существовать в рамках единого государства — иначе неизбежно запустятся центробежные механизмы, ведущие к распаду. На опасности сепаратизма, сопутствующей всякому истинному федерализму, я остановлюсь позже, пока же хочу коснуться самой сложной проблемы: как и по какому принципу производить деление страны на «республики» (так я для простоты буду называть гипотетические автономии).

Основополагающий принцип, собственно, уже сформулирован: каждая республика должна быть экономически самодостаточна. Прочее — размер территории, число жителей, этнический состав, прилегание к государственным рубежам, уровень промышленного развития — не столь важны. В ряде случаев придется далеко отойти от традиционных (и по большей части давно уже условных) административных границ.

Вопрос о количестве республик и их конфигурации дискусионен, но я полагаю, что, если экономическое и демографическое распределение останется похожим на нынешнее, страна может разделиться примерно на десяток автономий, каждая из которых будет сопоставима со среднего размера европейской страной.

Разрабатывать даже приблизительную схему новой федерации я считаю занятием преждевременным и бессмысленно прожектерским — исходить нужно будет из конкретных реалий того времени. Поэтому, исключительно для пояснения идеи о самодостаточности, ограничусь умозрительным примером, исходящим из современных условий, которые, повторяю, могут измениться.

Наверняка будет создана Уральская республика со столицей в Свердловске, который к тому времени несомненно избавится от этого зловещего имени. Сам Урал промышленно развит и богат ископаемыми, однако этой автономии придется взять под свое крыло и те соседствующие

регионы, которые сейчас бедны и мало населены: и Коми-Пермяцкий округ, и Удмуртию, и, вероятно, восточную часть бывшей Вятской губернии. Для Уральской республики будет естественно, а в конечном итоге и выгодно всерьез вложиться в долгосрочное развитие своей ближней периферии, на которую у далекого имперского правительства за более крупными заботами вечно не хватало внимания и ресурсов. Царский Петербург, а теперь большевистская Москва использовали этот обширный, потенциально богатый край лишь для хищнической эксплуатации его природных ресурсов да в унижительном качестве сырьевой окраины.

Смысл создания полноценных и полноправных республик, в сущности, очень прост: психология человека устроена таким образом, что дальнейшее воспринимается им как чужое, а ближнее как свое. «Своя рубаха ближе к телу», гласит народная мудрость, и она, разумеется, права. Из республиканского центра лучше видны местные нужды и проблемы, да и для населения близко расположенная и понятная власть менее чужда, чем витающий в недостижимых облаках Кремль или Зимний дворец.

Автономии новой России должны быть сформированы таким образом, чтобы компактность и финансовая самостоятельность находились в оптимальном сочетании. Равенство между республиками по экономической мощи необязательно, а вот примерное соответствие уровня жизни весьма желательно. Нельзя допустить, чтобы в России существовали «богатые» и «бедные» республики. Одной из функций федерального правительства и его бюджета будет поддержка местных проектов, направленных на ускоренное развитие изначально слабых регионов. (Здесь нелишне напомнить еще раз, что даже самая бедная республика все-таки будет экономически самодостаточной, и, говоря

о поддержке центра, я имею в виду помощь временную и целевую — возможно даже на условиях кредитования.)

Я совершенно уверен, что российская провинция, имея возможность для свободного развития, удивит темпами своего роста не только нас, но и весь мир. Вспомните, какую предприимчивость и смелость проявлял русский человек всякий раз, когда ему удавалось вырваться из-под ига государства — будь то освоение донских степей и уральских лесов в шестнадцатом веке или сибирских просторов в семнадцатом.

Однако не стану рисовать радужных картин российского будущего — полагаю, что более красочно и талантливо это сделает уважаемый Писатель.

Моя же задача сосредоточиться на проблемах практического свойства. И начну я с упомянутой выше платы за децентрализацию — риска сепаратистских конфликтов.

Проблема сепаратизма

Прежде всего должен сказать несколько слов о своем отношении к сепаратизму. Он, разумеется, не всегда плох. Если сепаратисты Нового Света захотели бы отделиться от метрополии, то не возникло бы американских штатов — одного из самых исторически интересных и перспективных экспериментов государственного строительства.

С сепаратизмом так: он полезен, когда причины и условия, по которым части страны некогда соединились в одно целое, изжили себя и регионам такого государства стало лучше существовать по отдельности. О естественном желании завоеванных колоний вернуть себе независимость я уж и не говорю, хотя успех всякого национально-освободительного движения, собственно, попадает

в предыдущую категорию: он возможен лишь с ослаблением метрополии, то есть с изменением условий, определявших отношения господства и подчинения.

Распознать «здоровый» сепаратизм очень просто: в результате его реализации разделившиеся куски страны начинают жить лучше, чем прежде. Для бывшей метрополии «лучше» не всегда означает богаче, поскольку (если речь идет о потере колоний) она перестает получать сверхприбыли от эксплуатации утраченных владений, однако в более длительной перспективе это дает стимул развивать собственную экономику, отучая страну от паразитизма, и к тому же, что для общества еще важнее, оздоравливает нравственную атмосферу. Общество, которое научилось обходиться без угнетения и грабежа, поднимается на более высокую ступень развития. Вот почему я желаю Англии и Франции поскорее лишиться их заморских территорий — это пошло бы европейской цивилизации только на пользу.

Однако бывают сепаратистские движения, приводящие к деградации и ослаблению народы или территории, которым было бы разумнее существовать вместе. Обычно такого рода драмы случаются в силу субъективных факторов. Например, вследствие эгоистических интересов региональных элит, которым удается с помощью демагогии или запугивания установить контроль над местным населением и воспользоваться ослаблением центра для создания собственного «королевства», как правило, устроенного по-диктаторски. При этом страдают не только жители новообразованного искусственного государства, но разрываются взаимовыгодные экономические связи, приходят в упадок целые производства, ампутируются культурные коммуникации — не говоря уж об огромном количестве человеческих трагедий вследствие вражды между вчерашними соседями,

погромов, разделения семей и так далее. К тому же отношения между бывшими частями единой страны, как правило, становятся враждебными, и это нередко приводит к затяжным войнам.

Что касается России, то здесь могут проявиться оба вида сепаратизма — как полезный, так и вредоносный. Я вполне допускаю, что территория Федерации несколько сократится по своим окраинам, если сохранится столь же существенное отличие в образе жизни, традициях и нормах обитающих там этносов. Я имею в виду такие инокультурные анклавы, как бывшие Бухарское и Хивинское ханства, некоторые степные азиатские и горные кавказские сообщества, насильственно присоединенные к империи менее века назад. Возьмем для примера Кавказ, некоторые народности которого чтут закон шариата, этически оправдывают и даже героизируют кровную месть, совершенно иначе понимают институт семьи и не мыслят своего существования без кланово-родственной солидарности. Как все это совместить с конституцией и законами демократического, светского, либерального государства, каким, я надеюсь, станет будущая Российская Федерация? Ответ один: если нравы и обычаи этих народностей к тому времени не переменятся — никак. Пусть живут сами по себе, как им привычнее и удобнее, а Россия будет по-добрососедски сосуществовать с ними — это лучше и для нее, и для них.

Иное дело — возможные сепаратистские движения в регионах, принадлежность которых к России обусловлена экономически, культурно и исторически. Федерация не должна допустить, чтобы какие-то региональные группировки, воспользовавшись неизбежным послереволюционным хаосом, превратили области страны в собственные вотчины.

Однако, помимо весьма возможных конфликтов подобного рода на стадии создания Федерации,

существует риск, что в будущем какая-то из республик захочет выйти из союза — такое обыкновенно происходит с наиболее развитым, богатым регионом, который начинает считать, что остальная страна паразитирует за его счет.

Рецепт здесь только один: смысл и выгодность совместного существования должны быть очевидны всем автономиям. Необходима общенациональная Концепция, объединяющая Идея или Цель, некий Проект, в реализации которого равно заинтересованы все члены Федерации, всё ее население. Это должен быть не «Третий Рим» и даже не гипотетическое построение коммунистического рая, то есть не что-то абстрактное или дальнее, а нечто осязаемое или блискоосуществимое. Но Национальная Идея — тема выступления другого члена нашего кружка, поэтому сейчас скажу лишь, что одной из главных задач федерального правительства новой России должно быть обеспечение *выгодности союза для всех автономий*, для чего будут разрабатываться и реализовываться общенациональные проекты и программы.

Сильное «слабое государство»

Самое время поговорить о том, каким должно быть новое российское государство в смысле круга полномочий и функций центрального, то есть федерального управления.

В России, даже в либеральных кругах общества, преобладает точка зрения, что нам, по причине суровых климатических условий, громадных расстояний и этнической, культурной, конфессиональной пестроты населения (та же логика, по которой сакрализуется централизация), совершенно необходимо сильное государство, без которого страна не сможет существовать и быстро развалится.

Так оно, несомненно, и есть, но с одной оговоркой: если оставаться в рамках «ордынской» модели. Настоящее федеративное государство, о котором я говорю, не может быть очень сильным.

[Чтобы избежать недопониманий, связанных с эмоциональной окраской слов «сильное» как чего-то хорошего и «слабое» как чего-то плохого, давайте уточним значение этих терминов применительно к государству. Речь здесь идет всего лишь о сумме обязанностей центрального органа и о проценте общенационального дохода, которым этот орган распоряжается — и ни о чем ином. К волевым качествам, целеустремленности, способности обороняться от внешних и внутренних опасностей этот параметр отношения не имеет. Во время Мировой войны сильное российское государство проявило гораздо меньше стойкости, чем слабое бельгийское, продолжавшее сражаться против кайзера, даже когда лишилось почти всей своей территории.]

В новой России центр должен будет взять на себя лишь ту работу, которую субъекты федерации не могут выполнить сами.

Сюда, по-видимому, будут относиться вопросы обороны, государственной безопасности и внешнеполитического курса; ведение разнообразных проектов общенационального значения (промышленных, строительных, культурных, научных, образовательных — каких угодно); выработка федеральных законов и контроль за их исполнением; организация внутрироссийской экономической интеграции; денежно-эмиссионная политика; уже поминавшаяся мной коррекция перепадов в уровне жизни и темпах развития; таможенная политика и прочие формы поддержки отечественного производства и экспортно-импортного баланса.

Все прочие сферы управления будут отданы автономиям. У них же будет оставаться львиная доля дохода от налогов, пошлин и иных способов

наполнения казны. К сожалению, среди нас пока нет профессионального экономиста, который смог бы компетентно и детально спрогнозировать оптимальную пропорцию отчислений в федеральный бюджет. Возьму на себя смелость предположить, что она будет не больше 10—15 % (в современном Советском Союзе — более 80 %).

В конституции должен быть ясно определен круг вопросов, в которые может и в которые не может вмешиваться центральное правительство. Точно по такому же принципу должны быть устроены и взаимоотношения республиканского правительства с внутренними муниципальными образованияами — но здесь возможны и какие-то особенности, определяемые республиканскими парламентами (например, в некоторых автономиях, вероятно, сохранятся национальные округа, имеющие некий специальный статус).

Подобная конструкция государства, конечно же, делает его несравнимо менее «сильным», чем самодержавие или, того паче, коммунистическая диктатура. Большинство вопросов, определяющих жизнь граждан, будет решаться не в центре, а на местах. Вполне возможно, что основная часть населения при этом будет существовать весьма странным для нас образом: не очень-то и следя за тем, какие ветры ныне дуют в далекой Столице, — как мало следят за Берном обычные швейцарцы, для которых всё самое важное определяется на кантональном уровне.

Однако если обычному человеку деятельность центрального правительства не очень заметна, это не означает, что она малозначительна. Просто Центр должен заниматься вещами долгосрочными, стратегическими: формировать реальность послезавтрашнего дня, в то время как республиканские власти должны быть заняты главным образом заботами сегодняшними и завтрашними.

Сила федерального правительства будет проявляться не в том, что оно навязывает свою волю регионам, а в том, что оно, привлекая лучшие умы и лучших экспертов, рационально и расчетливо определяет магистральное направление развития России, выстраивает иерархию государственных задач — и обеспечивает стране достойное место в мировом сообществе. (Свои соображения на сей счет нам изложит уважаемый Дипломат, лучше разбирающийся в этой сфере.)

Органы управления

Последняя тема, которой я желал бы коснуться в моем обзорном докладе, касается управления государством: его высших органов и способов их формирования.

Они, разумеется, будут находиться в федеральной Столице, однако значение и облик этого города должны существенно измениться. Да и физически он, видимо, должен будет переместиться куда-нибудь ближе к географическому центру страны. Полагаю, придется специально основать новый полис — или же совершенно перестроить какой-то ныне существующий населенный пункт.

Ясно одно: перенос столицы из Москвы совершенно необходим. Финансовый центр страны (он же центр прессы, которая всегда тяготеет к денежному фонтану) должен находиться на удалении от обители власти.

Для Столицы нужно будет выделить особый округ, не входящий ни в одну из автономий, — как у американцев существует округ Колумбия.

Федеральной столице не нужно становиться центром индустрии, да и вообще необязательно быть таким уж большим городом. Это место, где государственные мужи и дамы либо обстоятельно

принимают стратегические решения, либо экстренно ищут выход из спонтанно возникших критических ситуаций — вот, собственно, два главных вида работы общенационального руководства. И для первого, и для второго лишние внешние раздражители бесполезны.

Одной из важных и позитивных особенностей новой России станет «многостоличность». Десяток республиканских столиц будут организовывать повседневную жизнь населения; федеральная Столица возьмет на себя роль дирижера, придающего работе этого оркестра слаженность и задающего ему мелодию; банковской и журналистской столицей может стать Москва; культурной — Петербург. А кроме того, как мы уже говорили, стране понадобится научная столица, находящаяся в ведении и на попечении центрального правительства. (Об этой идее расскажет уважаемый Ученый, выступления которого мы все ждем с огромным интересом.)

Он и Ленин-град собирается переименовать, товарищ!

Однако возвращаясь к столице административной, где кроме правительства с его федеральными ведомствами будут находиться суды высшей инстанции и общероссийский парламент.

Парламент, очевидно, должен быть двухпалатным: в верхней палате будут равным образом представлены все автономии, нижняя будет формироваться по избирательным округам, пропорционально населению. Здесь ничего изобретать не нужно, можно взять на вооружение опыт Соединенных Штатов.

Однако что касается избирательной системы, самого слабого места всех демократий, здесь, как мне кажется, есть смысл пойти по экспериментальному пути, который нигде в мире пока не опробован.

Слабость демократического избирательного принципа заключается в несправедливости его эгалитаризма. Это неправильно и вредно, когда голос

человека мудрого, заслуженного и зрелого абсолютно равен голосу восемнадцатилетнего шалопаю, асоциального забулдыги или какой-нибудь интеллектуально неразвитой домохозяйки, предпочитающей кандидатов с набриллиантиненным проборм. При подобном положении дел в той же Америке президентами или депутатами часто становятся люди малодостойные, но имеющие довольно денег и ресурсов, чтобы задурить голову массам.

Я бы предложил ввести иную электоральную систему — квалификационную, а демократический способ управления заменить меритократическим.

Под квалификационной системой я имею в виду то, что избирательное право не должно автоматически предоставляться любому гражданину при достижении совершеннолетия. Ведь не получает же всякий человек, став взрослым, право на вождение автомобиля, а участие в решении судьбы государства, согласитесь, дело куда более важное и сложное.

Поэтому я считаю, что, достигнув возраста полной ответственности перед законом, человек должен лишь *регистрироваться в качестве потенциального избирателя*. И после этого обязательно сдать соответствующий экзамен, к которому, разумеется, будут готовить в школах. Мы должны быть уверены, что всякий, участвующий в выборах, понимает принципы общежития и имеет хотя бы базовое представление о законах, истории и географии своей страны.

Результаты экзамена должны оцениваться по некоей системе баллов. Если человек набирает минимально проходной балл, он сможет голосовать лишь на выборах самого нижнего, муниципального уровня. Если получена средняя оценка, можно участвовать в выборах республиканского уровня. Для участия в выборах депутатов самого

высокого, федерального уровня, избиратель должен сдать экзамен на «отлично». У каждого гражданина должна быть возможность раз в год пройти переэкзаменовку и повысить свой электоральный ранг.

И это только половина реформы, которую я предлагаю. Вторая касается упомянутой выше меритократии — то есть власти людей достойных и заслуженных.

Люди не равны друг другу. Мы все отлично это знаем, несмотря на демагогию социалистов. Одни умнее, другие глупее; одни самоотверженнее и дают обществу больше, другие эгоистичны — и так далее. Люди должны быть равны на старте своей жизни, то есть должны получать одинаковые шансы на самореализацию, и в хорошо устроенном государстве всякие имущественные, сословные, этнические или географические привилегии недопустимы. Но это не означает, что труженика и бездельника, гения и бездаря следует наделять равными правами на участие в управлении страной. Человека нужно оценивать по заслугам и оказывать ему соответствующее уважение; нужно давать ему стимул для развития.

Это касается и электоральных прав. У каждого избирателя должен быть личный электоральный ранг, растущий по мере достижений — или же уменьшающийся при совершении каких-то осуждаемых законом поступков.

Повышение уровня образования, военные подвиги и трудовые успехи, получение государственных наград, участие в благотворительности, даже в какой-нибудь добровольной пожарной дружине либо волонтерском движении — одним словом, всякое существенное проявление общественной полезности — должно поощряться начислением электоральных баллов.

Постойте, возразите вы. Но разве это справедливо, что кто-то будет при выборах иметь только один голос, а кто-то, допустим, семь голосов?

Отвечу вопросом на вопрос: а справедливо, когда мнение Мохандаса Ганди весит столько же, сколько мнение пьянчужки, чей голос был куплен за бутылку виски?

Хочешь, чтобы твоя роль оценивалась обществом выше — приноси обществу больше пользы.

Принцип электорального ранга, начисляемого в баллах, должен распространяться не только на избирателей, но и на избираемых. Для того, чтобы получить право стать членом муниципального собрания, придется иметь, скажем, минимум двадцать баллов, республиканского — сорок, а федерального — все шестьдесят. Это, конечно, не даст стопроцентной гарантии, что в высшие органы управления будут попадать исключительно достойнейшие, но сильно затруднит выдвижение разного рода случайных людей и авантюристов.

Кстати, если говорить о богатстве, никто не мешает человеку хоть с нулевым электоральным рангом стать миллионером. Однако, если он желает повысить свой балл, пусть щедро вкладывается в благотворительность.

Здесь я вынужден сделать отступление, поскольку затронул важную тему имущественного неравенства. Сохранится ли оно в счастливой России? Конечно — ведь в свободном обществе всякий человек может свободно проявлять свои способности, а они, в том числе талант зарабатывания денег, у всех разные. Государства вопрос имущественного неравенства касается в двух смыслах. Во-первых, с точки зрения борьбы с бедностью. Тут всё понятно: тем, кто по той или иной причине не может обеспечивать себе минимально

нормальный уровень достатка сам, нужно помогать. Но второй аспект куда менее очевиден и даже в нашем с вами кругу вызывает серьезные споры. Я имею в виду вопрос налогообложения.

Мы много дискутировали с уважаемым Дипломатом касательно прогрессивного налогообложения, и каждый остался при своем мнении. Я считаю совершенно справедливым, что человек с высоким доходом должен платить больше не только по сумме, но и в процентном отношении — просто потому, что богатой семье легче пожертвовать, скажем, одной пятой денежных поступлений, чем бедной семье — одной десятой. Государство — баржа, которую по-бурлацки тянут все жители страны. В бурлацкой артели кто крепче, тот и впрягается мощнее, это естественный закон общего труда.

Однако верно и другое: кто больше на себя берет, тому должно быть и больше благодарности. Я хочу сказать, что крупные налогоплательщики должны не просто обираться по повышенной ставке, но и вознаграждаться за свой взнос в государственное богатство. *Платить высокие налоги должно быть почетно.* Например, это может прибавлять электоральных баллов. Бояться здесь нечего — будут же и другие способы набирать баллы: защищая ученую степень, заводя многодетную семью, получая ордена и так далее. Разве умение много зарабатывать — не личная заслуга человека?

И еще одно.

«Почетные налогоплательщики» (так я называл бы людей, платящих налоги выше стандартной ставки) должны чувствовать, что их не просто стригут, как овец, а что государство советуется с ними, куда именно направить уплаченный «сверхналог».

Предположим, обязательная ставка равняется 10 %. Этот сбор целиком поступает в бюджет и расходуется местной властью и федеральным

правительством по собственному усмотрению. Но все деньги, уплачиваемые состоятельным человеком сверх того, распределяются по его выбору, целевым образом. Он сам решает, куда пойдет в этом году его «сверхналог»: на образование, на медицину, на оборону, на какой-то из национальных проектов и так далее. Министерства и ведомства должны представлять обществу свои программы, нуждающиеся в финансировании, и «почетные налогоплательщики» будут выбирать, какой из этих проектов им больше по вкусу. Такая система заставит бюрократов лучше продумывать и убедительнее презентовать свои начинания, не даст чиновничьим мозгам заплывать жиром, породит здоровую межведомственную конкуренцию. Министр или глава департамента, не способный убедить граждан в целесообразности своей программы, будет отправляться в отставку.

Таким образом, чем больше ты платишь налогов, тем более важным членом общества ты себя чувствуешь. Это неплохая компенсация за потраченные деньги.

Возвращаясь к теме электорального ранга, хочу пояснить, что этот показатель никак не ограничивает карьерных перспектив человека, если только его профессия не связана с выборами. Легко представить себе крупного чиновника, совершенно не интересующегося политикой, но отлично выполняющего решения своего министра (тот, конечно, должен назначаться только из числа избранных депутатов). И уж тем более совсем не обязательно требовать высокого электорального ранга от армейского генерала. Однако для повышения в должности или чине профессионал, конечно, будет обязан сдавать экзамен по своей специальности — или же в исключительных случаях, за особые заслуги, получать право повышения на следующую ступеньку без экзамена.

Предвижу возражение, которое может быть выдвинуто против меритократической системы. Если ей следовать, неминуемо получится, что страной будут управлять в основном старики, ибо жизненные заслуги, а с ними и электоральный ранг накапливаются по мере прожитых лет.

И что в этом плохого, отвечу я. В чем заключается ценность жизни, если не в движении от младенческого сознания к мудрости? И разве справедливо, что в нынешнем мире перспектива старости вызывает у людей страх (чего, кстати, нет в восточных обществах, где к старикам относятся с почтением и внимательно прислушиваются к их советам)? Притом никто ведь не ограничивает возможностей пусть молодого, но выдающегося человека пройти по электоральной лестнице много быстрее обычных темпов. Никаких возрастных цензов моя меритократия не предусматривает.

Представьте себе государство, где управление осуществляется по принципу, при котором достойные избирают достойнейших. И это будет не утопия, а реальность, опирающаяся на хорошо продуманную, беспристрастную, математически разработанную систему.

В таком государстве — республике не президентского, а парламентского типа — высшие должностные лица муниципалитета (мэр или староста), республиканской автономии (допустим, губернатор) и федерального правительства (президент) должны избираться собранием соответствующего уровня, а не всей массой избирателей. На то есть две причины. Во-первых, авторитет главы исполнительной власти не должен быть выше авторитета законодательного собрания. Во-вторых, это лицо всегда должно быть подконтрольно и потенциально сменяемо органом, от которого оно получает свой мандат. А в-третьих, при избирательной кампании с участием всей массы избирателей слишком большое значение обретают

малосущественные черты кандидата — вроде привлекательной внешности, красноречия, фото- и киногоеничности, ведь обычному среднему человеку свойственно не вслушиваться в смысл политических деклараций, а впитывать общее впечатление от оратора.

Есть у меня и еще одно соображение, касающееся болезненного периода строительства новой государственной системы, которая, конечно, не возникнет моментально, по мановению волшебной палочки. После падения тоталитарного и посттоталитарного режимов страна наверняка окажется в состоянии разброда и разрухи. Новому правительству неминуемо придется какое-то время существовать в режиме чрезвычайного положения и идти на разные экстраординарные меры.

Этот переходный этап будет состоять из двух стадий. На первой придется подавлять еще сопротивляющиеся очаги прежнего режима и местного бандитского сепаратизма, да и просто преодолевать разгул преступности, всегда сопровождающий распад государственной машины. На второй стадии нужно будет почти от нуля создавать новую административную инфраструктуру, организовывать сложную систему выборов разного уровня, заниматься вопросами массовой миграции населения, много строить и перестраивать.

Совершенно очевидно, что на протяжении всего переходного периода, особенно первой его стадии, центральная власть должна оставаться очень сильной — не менее сильной, чем при «ордынском» устройстве. И здесь, естественно, очень легко угодить в извечную российскую ловушку. Решая трудные задачи, правительство будет вынуждено в том числе прибегать и к силе оружия, полицейским операциям, оперативной работе, арестам и так далее. Нарращивая силовую мускулатуру, свободолобивый по риторике и конечным

целям режим может незаметно для самого себя перерасти в новый тоталитаризм — революция в очередной раз сметет ханский шатер, чтобы на его месте возвести новый.

Вот почему на время транзита совершенно необходим некий орган, не занимающийся практическими вопросами управления и даже не причастный к законотворчеству, однако же обладающий правом наложить вето на любую инициативу исполнительной власти. Этот орган — назову его условно Советом Старейшин — должен состоять из нескольких людей, авторитет и личные качества которых признаются всей страной. Они будут осуществлять нечто вроде этического надзора над методами, которыми проводится реформа, и выполнять функцию аварийного тормоза в случае, если государственный поезд повернул куда-то не туда или рискует сойти с рельсов. Совет Старейшин не будет вмешиваться в повседневную работу правительства, однако при возникновении опасности соскальзывания в диктатуру эти уважаемые люди возвысят свой голос. При необходимости у них будет право даже снять главу правительства и вынудить парламент избрать нового.

Членов Совета не может быть много — пять, шесть, максимум десять человек. Да в стране в каждый отдельный период вряд ли и наберется большее количество тех, кого всеобщее мнение может признать достойными такой чести.

Параметры, по которым будут выдвигаться кандидаты в Совет, таковы: всероссийская известность; незапятнанное имя; масштабный ум; удаленность от «коридоров власти»; гуманность (последнее качество очень важно, ибо главной функцией Совета является смягчение эксцессов чересчур жесткой власти). Сейчас, в 1937 году, я, пожалуй, не смог бы назвать и одну фигуру, соответствующую этим требованиям, — так вытоптана

вся российская репутационная поляна, но могу взять для примера самое начало века, когда институт репутации еще существовал и высоко ценился.

В 1900 году в Совет Старейшин, на мой взгляд, могли бы войти семь-восемь человек: граф Лев Толстой — самый высокий авторитет того времени; его вечный оппонент, но при том истинный человеколюбец отец Иоанн Кронштадтский; писатель Владимир Короленко, кого называли «совестью нации» и кого уважали даже крайние реакционеры; юрист и государственный Анатолий Кони; ученый с мировым именем Дмитрий Менделеев; великий медик Иван Сеченов; камертон порядочности Антон Чехов; и может быть, еще, как дань эпохе, самый уважаемый член императорского дома известный просветитель Александр Петрович Ольденбургский. Если бы в России тогда существовал подобный ареопаг, то его общественный авторитет был бы громаден, и можно быть уверенным, что не случилось бы ни японской войны, ни «Кровавого воскресенья», ни мировой войны, не революций.

Представьте также, что в 1917 году, в период перед большевистской диктатурой, в России возник бы Совет, состоявший из, скажем, тех же Короленко и Кони, «разумного социалиста» Георгия Плеханова, честнейшего и всеми уважаемого революционера Владимира Бурцева, еще не сломленного Максима Горького, академика Климента Тимирязева. Они сумели бы примирить Керенского с Корниловым, не дали бы развиваться пагубному двоевластию и не допустили бы бандитского переворота 25 октября — просто потому, что при всяком кризисе силой своего авторитета гасили бы загорающийся пожар. В начале 1918 года Учредительное собрание приняло бы власть от Временного правительства, не началась бы гражданская война, и мы с вами сегодня жили бы совсем в другой России.

*Горький - то
ему что?!*

!!!

На самый конец доклада я оставил проблему, которой вкратце уже касался и для которой у меня нет готового решения.

Нам очевидно, что для федеративной страны необходима некая общенациональная Идея или общенациональный Проект, скрепляющий единство автономий, и я имею в виду не абстракцию, а нечто вполне конкретное, осязаемое, очевидное всем и каждому.

Мы договорились, что этой темы коснется другой докладчик — наш уважаемый Писатель, который, в соответствии со своей профессией, решил выбрать форму не доклада, а художественного произведения. Мы ждем этой читки с огромным интересом.

Сейчас же хочу поблагодарить вас за терпение и благосклонное внимание. Прошу приступить к прениям.

СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИИ
И СООБЩЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

(ИЗ ФОТОАЛЬБОМА)



Филипп с облегчением перевернул последнюю страницу тягомотины. Зевнул до сочной слезы. Выписок на приготовленный чистый лист ни одной не сделал. Чего тут выписывать? На кой тут личный контроль наркома? За такой натюрель (черт знает, что это значит) надо в психушку запирать и ключ выбрасывать.

Ладно. Взял следующую папку, взвесил на руке. Ого, тяжеленькая.

ДЕЛО № 238402

по обвинению гр. Кумушкина Луки Трофимовича
(производство к.-р. орг-ции «Счастливая Россия»)

Начато: 31 июля 1937 г.

Окончено:

Вещдок.-2.

Раскрыл.

Рукопись, машинописная. На титульном листе стоит:

«БЕЗ ВЕТРА. Повесть».

Елки-моталки, и правда повесть! Издевается, что ли, Шванц?

Перелистнул.

«Глава первая. Ветер несетя быстрее звука».

Если про научно-техническое, хреново. По этой части образование у Филиппа хромало.

Да куда деваться? Надо читать.

Вздыхнул, потер уставшие глаза.

Зазвенел телефон, один из трех. Не внутриотдельский и не городской, а с проходной. Кто бы это?

Когда звонили по внутреннему, Филипп говорил деловито, бодро: «Бляхин у аппарата», потому что это могло быть только начальство — Шванц, его заместитель или

помощники. На вызов по городскому надо было просто сказать: «Алё». Мало ли кто это. Может, ошибка. Или враг прочесывает телефонную базу — на инструктаже про это говорили. Нельзя номер рассекречивать. А с проходной Филиппа никогда раньше не беспокоили, потому что своих дел он не вел и свидетелей не вызывал. В любом случае никто важный с пропускного позвонить не мог.

— Оперуполномоченный Блякин, — сказал он строго, солидно.

Трубка пискнула:

— Филипп... Это я...

Ева. Супруга. Из больницы приехала.

— ...Что ж ты меня бросил? Я мечусь там одна, с ума схожу, все об меня ноги вытирают, а ты... Сволочь ты бессовестная!

Вот курица! Слушают же на коммутаторе! Будут потом трепаться, что Блякина жена сволочью обзывает.

— Ты внизу? — перебил он, хотя ясно было, что внизу, где еще. — Жди. Спускаюсь.

По коридору чуть не бежал, по лестнице несся через ступеньку.

Неужто всё уже? Помер?

Ева стояла у стенки, дежурный на нее пялился. Сотрудники, которые проходили мимо, тоже оглядывались. И всегда так — есть на что поглядеть. Жена у Филиппа была женщина видная, сдобная. Мордашка, грудь — всё при ней, походочка винт, одевается, как на картинке из журнала: и пальто, и жакеточка, и каблучки, шапочка какая-нибудь форсистая, а снимет — золотые кудряшки до плеч.

С такой приятно появиться на людях — сходить на концерт или на демонстрацию, в театр-кино или хоть пройтись по улице. Будучи психологом (это Шванц про него правильно сказал), Филипп понимал, что главная Евина приманка не в красоте и не в нарядах, а во взгляде. Раньше в романсах пели «очи манящие, в душу глядящие», а говоря попросту, взгляд этот означает: граждане-товарищи, я слаба на передок. Когда у бабы такой глаз, вечно несътый, рыскающий, мужики сразу кобелиную

стойку делают. У Евы тетка была вечная, потому вокруг нее всегда и творилась собачья свадьба.

Но сейчас она по сторонам не стреляла и в мокрых глазах не было никакого зова, один только страх.

— Тушь вытри, черная вся. — Филипп протянул платок. — И помада размазалась.

На лубянской проходной баба с зарезанной физиономией, конечно, не редкость, но могли увидеть сослуживцы, которые Еву знать не знают. Еще вообразят, будто лейтенант Бляхин утешает родственницу арестованного. Этого вот не надо.

Взял под локоть мягко, но цепко, вывел на улицу. Куда бы теперь? В спортмагазин «Динамо», что ли. Там всегда полно народу, и люди пьются не друг на дружку, а на товар.

— Что, помер? — спросил Бляхин, поставив Еву в более-менее укромный закут между льжами и брезентовой палаткой (в продаже ее не было, натянута для красоты).

Жена испуганно махнула рукой, как бы шлепая его по губам:

— Типун тебе!

— А чего пришла?

— Филипп, посади ее!

Лицо зло перекопилось, глаза сверкнули.

— Кого?

— Старшую медсестру! Фамилия — Шовкаленко! От Карп Тимофеича запах пошел... Ну это он, того... — Она сморщила нос. — Я пошла, сестру нашла. Она мне: ждите, говорит, нянечка придет. А не идет никто. Такой человек у них, сам товарищ Мягков, а они... Я снова к ней, она: «Отстаньте, гражданка. Не мешайте работать. Сказано же — придут». Мне! Отстаньте! А Карп Тимофеич, как свинья, в грязи валяется!

— Ему все равно теперь.

Вот она жизнь-жистянка, горько подумал Бляхин. Вчера ты был ей хозяин, а сегодня лопнула в мозге жила, и ты никто, дерьма кучка.

— Напиши на нее, что она вредительствует! — шипела Ева, тряся его за рукав. — Шовкаленко ее фамилия, М.И.!

Я с таблички списала! И про профессора Кнопфера доложи, лысого этого. Я к нему жаловаться — а он: «Не кричите, милая, не на базаре». Какая я ему «милая»? Это он пускай свою домработницу «милой» зовет! Посади их, Бляхин! Напиши на них рапорт!

Не в том мы теперь положении, корова ты безмозгая, мысленно ответил Бляхин, глядя на покрасневшее лицо жены. Вот ведь девять лет вместе прожили, а не поговоришь начистоту. Вроде как все время вдвоем и рядом, но поврозь. Будто два пассажира в купе дальнего поезда — у каждого на уме свое.

Ее вообще-то Евлампией звали, по метрике. Товарищ Мягков ласково называл Лампочкой, но когда Филипп тоже попробовал, она воспретила. Для всех остальных, включая мужа, она была Ева. Если полностью — Ева Аркадьевна. Упаси боже не Евлампия — имя стыдное, старорежимное.

У ее папаши до революции была швейная мастерская. Ева любила похвастаться перед мужем, как у них дома по праздникам кушали на фарфоре, горничную с кухаркой держали, но Патрон велел написать в анкете, что отец был портной. И ничего, Ева прошла две партчистки без сучка, без задоринки, никто не копал. Попробовали бы! Патрон был главный контролер над партчистками во всесоюзном масштабе. Он Еве и партрекомендацию дал, и в свой секретариат определил.

Карп Тимофеич в свое время слыл большим мастером по котовьему делу, потому, наверное, у него и было прозвище Котофеич. Любил, чтобы вокруг него, в канцелярии и в службе, состояли красивые женщины. Они все тоже его сильно обожали — а как не обожать такого человека? Но в двадцать восьмом, когда у Патрона совсем захромало подорванное на работе здоровье, всех своих зазноб он удалил, чтобы, как сам говорил, зря слюни не капали. И каждую вдумчиво, с отеческой заботой пристроил. Еву вот выдал за Филиппа, который как раз в ту пору начинал свое секретное с Патроном сотрудничество и расценил такое предложение как знак высокого доверия. При этом, не дурак, понимал,

что у товарища Мягкова цель двойная: не только дорогого человечка обустроить, но и за Бляхиным иметь догляд. Хоть всё такое у Патрона с Евой по медицинским показаниям закончилось, она все равно часто к нему захаживала — ясное дело, докладывала про мужа. А и хорошо. Пускай Патрон имеет полную уверенность в Бляхине.

Правда, из-за этого в собственном доме Филипп все время чувствовал себя, как в костюме и при галстуке. Не расслабишься, и каждое слово обдумаешь, прежде чем вслух сказать. Зато жил красиво и вкусно. Ева знала толк и в готовке, и в домашнем обустройстве.

В постельном деле, правда, оказалась не очень. Даже удивительно, при ее-то опыте и несытости. А может, причина была в Филиппе. Когда ты мысленно все время в костюме с галстуком, шибко не разботвишься.

Спали они поврозь, каждый у себя. Условия позволяли: квартира трехкомнатная. Ева не любила ночью пихаться локтями, да и Бляжину так было лучше. Уж во сне-то можно человеку побыть без пригляда? Почин всегда был Евин, и не иначе. Если позовет особенным грудным голосом «Бляжи-ин», он шел и исполнял супружеский долг. Аккуратно и вежливо, согласно пожеланий, которые Ева ему излагала: «делай то», «делай сё», «погоди не гони», «теперь пулеметом», «давай уже заканчивай» и прочее. Она-то с ним не сильно церемонилась. Филипп часто думал: интересно, с другими мужиками она тоже такая? С теми, кто ей ничего не должен и для кого она просто баба. Или все ж таки для чужих она лучше старается?

Супруга у Бляжина была женщина ветреная. Это если культурно выражаться. А попросту сказать — лярва. Не из тех, которые за деньги ложатся (на кой Еве деньги), а которые дают под настроение. Кошачье настроение у Евы подкатывало легко — от музыки, от вина, а больше всего от танцев. Сколько раз случалось, Филипп уж и счет потерял. Где-нибудь на праздничном вечере, или в домотдыха на танцплощадке, или просто в ресторане, как оркестр заиграет. Пригласит Еву какой-нибудь кобель ее вкуса (она любила рослых, напористых), и через

минуту-другую она голову ему на плечо, и пальцами так, мелко, через рукав, по бицепсу водит, и румянец на щеках, и мокрый взгляд. Бляхин уже понимает: всё, загуляла. Теперь явится нескоро, очень возможно, что наутро. Пожрет жадно, прямо из кастрюли или из сковородки, и завалится спать, до вечера. Лярва она и есть лярва. Притом в морду ей не дашь и даже слова в попрёк не скажи — тут же побежит к Патрону реветь, жаловаться.

Один раз после особенно обидного случая, потому что многие знакомые видели, Бляхин сходил к Патрону в порядке консультации. Так, мол, и так, Карп Тимофеич, позорит меня жена перед товарищами, прямо не знаю, как быть, помогите советом.

А Патрон в ответ: «Ты, Филя, на нее зла не держи. Она баба жаркая, яркая — одно слово Лампочка. Одного тебя ей, видишь, маловато».

Тут у Бляхина, должно быть, рожа перекосилась — понял, что она, сука, Патрону не только домашние разговоры пересказывает, но и про интимное докладывает. Товарищ Мягков засмеялся, хлопнул помощника по плечу. Ты, говорит, только на меня, старика, не дуйся. Я же по-отечески. Передо мной, отставным меринком, ты всё равно жеребец племенной. А с Лампочкой я поговорю, чтоб тебя не дискредитировала.

В общем, поддержать не поддержал, но разъяснительную беседу с Евой, кажется, провел. С тех пор у них установилось, без словесного уговора, а молча, железное правило: если куда вдвоем пошли, то вдвоем и возвращаются. А с кем она там о чем договорилась на потом — ее дело. Ну, хоть так.

Глядя на опухшие глаза жены, Филипп вдруг подумал, что для нее сегодняшняя беда еще страшнее, чем для него. Если он без Патрона голый остался, то она — вдвойне.

И тут же нахлынула злая обида: нет, не страшнее! Ее-то носом в паклю не поставят.

Как нахлынула обида, так и отхлынула. Вспомнился секретный приказ, с которым сотрудников недавно

ознакомили под расписку. Жены разоблаченных врагов как подозрительный элемент впредь подлежат изоляции от общества, в обязательном порядке.

Сам на себя подивился. Нашел, о чем сейчас заботиться. Хрен бы с нею, с Евой!

— Пойду я. — Филипп нахмурился. — Аврал у нас. И ты иди.

— Куда «иди»? В больнице со всеми разругалась... Хорошо тебе, на службе. А мне что? Дома от стенки к стенке ходить?

«Устройся и ты работать. Второй зарплаты в конверте, из товарищмягковского оргфонда, у меня теперь не будет», — хотел сказать Бляхин, но не сказал. Куда она устроится? Машинисткой за сто двадцать рэ? Да она забыла, когда раньше десяти часов с кровати поднималась.

Жалобя себя, Ева всхлипнула:

— У других женщин хоть дети есть. За что я такая несчастная?

Тут Филипп — тоже ведь и у него нервы не железные — почувствовал, что закипает. Врезать бы суке наотмашь, прямо здесь, около стеллажа с лыжными палками!

Что у нее детей нету и быть не может — это ладно. Патрон честно предупредил: баба золото, но детишек от нее не жди — семь абортот, от последнего чуть не померла. Филипп тогда и не расстроился. Наоборот, обрадовался. И скоро после свадьбы завел осторожный разговор: коли такое дело, не взять ли маленького пацанчика из детдома. Не успел даже сказать, что уж и присмотрел одного, круглого сироту, сына геройски погибшего товарища. Как она, Ева, заорет! «Свихнулся ты, Бляхин? Какого еще пацанчика? Я что, дура — чужому огрызку сопли подтирать?» И понял Филипп, что надежды нету. Зря он обрадовался.

Поэтому сейчас хоть врезать не врезал, но зубами закрипел. И через них же, плотно сжавши, процедил:

— Пойду. Работа.

— А я как же? — крикнула она вслед жалобно.

Как хочешь, — про себя ответил он. На кой ты мне теперь?

Отсутствовал на рабочем месте 34 минуты. Надо было наверстывать. Позвонит Шванц, спросит — сколько папок прочел?

Из этого соображения Бляхин толстую, которая с повестью, отложил. Взял следующую, потоньше. «Вещдок.-3».

Ага, это уже по делу Кролля Сергея Карловича, 1876 г.р. Тоже на машинке отпечатано. Название иностранное, непонятное.

(ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА)

Pax Rossica

О месте России в будущем мире

Я с интересом выслушал доклад нашего уважаемого Председателя об основной основе российской государственности и о необходимости создания новой всеобщей конструкции, которая в большей мере отвечала бы реальным динамично развивающегося мира. Полагая, что эта концепция совершенно оправдана применительно к внутреннему устройству страны. Однако идея полного отказа от имперских устремлений и перехода к ориентации исключительно на национальные задачи, концентрация всех сил на собственном развитии кажется мне существенной ошибкой.

Как человек, долгое время занимавшийся вопросами внешней политики, а впоследствии, уже личными профессиями, никогда не переставший ею интересоваться, я очень хорошо понимаю государство, выходящее по привычке "из-за стены земной раи, а не так за границей живите, как хотите", — отсюда уходят. Так, ума, не бывает. Впервые, так бывало, во странах, поезде по подобной дороге, впоследствии были вынуждены заплатить очень дорогую цену.

Обратите на самую большую и самую старую из земных цивилизаций — великий Китай. Нашего превосходя размерами и культурными богатствами все сопредельные страны, Китай всегда был сосредоточен только на себе, игнорируя и презирая все, происходившее в остальной, "периферийной" части мира. Сраженной державе от соседей по планете

PAX ROSSICA

О месте России в будущем мире

Я с интересом выслушал доклад нашего уважаемого Председателя об ордынской основе российского государства и о необходимости создания иной несущей конструкции, которая в большей мере отвечала бы реалиям динамично развивающегося мира. Полагаю, что эта концепция совершенно справедлива применительно к внутреннему устройству страны. Однако идея полного отказа от имперских устремлений и перехода к ориентации исключительно на национальные задачи, концентрация всех сил на собственном развитии кажется мне сущностной ошибкой.

Как человек, долгое время занимавшийся вопросами внешней политики, а впоследствии, уже лишившись профессии, никогда не перестававший ею интересоваться, я очень хорошо понимаю: государство, живущее по принципу «мы тут строим земной рай, а вы там за границей живите, как хотите», — опасная утопия. Так, увы, не бывает. Вернее, так бывало, но страны, пошедшие подобной дорогой, впоследствии были вынуждены заплатить очень дорогую цену.

Посмотрите на самую большую и самую старую из земных цивилизаций — великий Китай. Намного превосходя размерами и культурным богатством все сопредельные страны, Китай всегда был сосредоточен только на себе, игнорируя и презирая всё, происходившее в остальной,

«варварской» части мира. Срединной державе от соседей по планете нужно было только одно: чтобы те не докучали. В результате этот населеннейший регион оказался добычей для стран, нарастивших себе мускулы в ходе жесткой межгосударственной конкуренции. Сегодня китайский субконтинент — одно из самых несчастных мест на земле, и лучшие, образованнейшие носители этой древней культуры учатся науке современной жизни у вчерашних варваров.

Еще один, совсем уж красноречивый пример — Япония. В середине XVII века эта страна затворилась на своих островах, прекратив все контакты с остальным миром, и просуществовала в режиме изоляции два с лишним столетия. Японцы добились того, к чему стремились: стабильности, предсказуемости, почти идеального порядка. Но их страна перестала развиваться, потому что ей не с кем было соперничать, и в результате едва не стала колонией западных держав.

Я предвижу возражение уважаемого Председателя, который, конечно же, скажет, что предлагаемая им модель вовсе не предполагает изоляции от остального мира. Так ведь и я говорю не об изоляции, а о том, куда будет обращен взгляд будущей России: вовнутрь или вовне. Это вопрос огромной, определяющей важности.

Мне кажется, что Председатель заблуждается, утверждая, что сегодня человеческая история переживает агонию имперской эпохи и что в грядущем мире межгосударственное соперничество будет сходить на нет, заменяясь благожелательным сотрудничеством. Я уверен, что эпоха империй еще отнюдь не заканчивается и завершится лишь тогда, когда весь земной шар превратится в единое государство.

Естественный отбор, доминирование более сильного и жизнеспособного является всеобщим

законом живой природы, будь то стадо, человеческий социум или международное сообщество. И пугаться этого не следует. Это нормально, это защита от вырождения, это гарантия развития.

Страх перед словом «империя» объясняется тем, что исторически империи строились грубым насилием и большой кровью. Но так продлится не вечно, о чем я буду говорить позже. Пока же скажу, что не вижу ничего скверного в упомянутой Председателем «океанической» мечте Чингисхана. Что плохого в создании мира, где невинная дева с золотым блюдом сможет пройти от края до края, ничего не опасаясь?

Полностью соглашаясь с идеей отказа от устаревшей «ордынскости» в нашем государственном устройстве, я вовсе не считаю, что следует отказываться от идеологии «океанизма». Ни в коем случае!

Заявляю безо всякого смущения: я — империалист, российский империалист. Это означает, что, коли уж миру рано или поздно предстоит объединиться в планетарную империю, то я бы желал видеть ее Соединенными Штатами России, а не Соединенными Штатами Америки, Германии или Японии. Я бы хотел, чтобы языком международного, вернее, межрегионального общения грядущей Земли стал русский.

Почему? Чем это Россия и русский язык лучше английского или французского? — спросите вы. И я вам отвечу со всей откровенностью: тем — что это *моя* страна, *моя* культура и *мой* язык. То есть Россия и русский язык лучше всех прочих стран и языков не в объективном, а в субъективном смысле. Мне этого достаточно.

Послушайте, положи руку на сердце, кого на свете кроме святых угодников занимает объективность? Кто из нас искренне хочет беспристрастности, когда речь заходит о чем-то истинно важном?

Разве мы хотим, чтобы к нам объективно относились мать, или любимая женщина, или собственные дети, или друзья? Жизнь, господа, — вообще чрезвычайно субъективное явление. Кроме как в качестве субъекта ее и ощутить-то невозможно. Каждый нормальный человек (за исключением поминавшихся выше святых угодников, которых нельзя считать нормой) живет собственной выгодой, просто с развитием цивилизации люди постепенно отходят от слишком грубого эгоизма. И все равно, повторю за Председателем народную мудрость: своя рубашка всегда ближе к телу.

Моя «рубашка» — Россия, и моему телу она безусловно ближе чужих рубашек, даже если они шелковые или батистовые. Россия — мой родной дом, и уже поэтому для меня он лучше и важнее всех прочих. Россия — экстраполяция меня на окружающий мир. Это я, повторенный сто восемьдесят миллионов раз. И да — заявляю со всей ясностью: я хочу, чтобы Россия стала самой главной, самой уважаемой, самой завидной страной на свете. Я хочу, чтобы окружающий мир был похож на меня и на мою страну, чтобы я всюду чувствовал себя как дома, чтобы все нероссияне мечтали стать россиянами. Позвольте спросить, что же в этом плохого или противоестественного?

Я предвижу, что в этом месте моего доклада с мест раздадутся возмущенные возгласы, поэтому спешу пояснить: российская имперская экспансия, которую я отстаиваю, будет оправданна и возможна лишь при соблюдении нескольких обязательных условий.

Во-первых, сначала Россия должна будет сшить себе достойную «рубашку», которой у нас пока нет. То рубище, которое мы носим сегодня, предлагать остальному миру я бы не осмелился.

И во-вторых, борьба национальных империй за первенство должна перестать строиться на угрозе и насилию, как это всегда происходило в истории.

Иными словами, я говорю о довольно далеком будущем — о дне не завтрашнем, а послезавтрашнем. Завтра нашим детям придется шить нашу российскую «рубашку» — то есть сделать ту работу, о которой говорил уважаемый Председатель. А предлагать этот продукт остальному миру будут уже наши внуки — послезавтра.

И когда Россия примет участие в свободном, неантагонистическом конкурсе национальных «рубаш», позвольте уж мне болеть за нашу косооборотку. Тем более что мне как дипломату (вернее, моим будущим коллегам, ибо из меня к тому времени давно вырастет лопух) придется эту рубашку «продавать» остальному миру, чтобы он тоже захотел ее носить. Чуть ниже я поделюсь своими соображениями о том, как следовало бы организовать «предпродажную рекламную кампанию», но сначала хочу сказать несколько слов про империалистические войны будущего.

Да, они будут бескровными, но цель их будет точно такая же: мировое доминирование.

Я, как и вы, верю в прогресс. Верю, что, несмотря на временные рецидивы варварства — вроде того, который мы наблюдаем начиная с 1914 года, — человечество будет постепенно становиться цивилизованней и лучше, то есть гуманнее, терпимее, да и просто зажиточней, ибо многие пороки и эксцессы объясняются нищетой, неравенством, грубой эксплуатацией, тиранией. Когда-нибудь, и может быть, в историческом масштабе даже скоро — через век, максимум полтора — страны откажутся от гонки вооружений; в мире не останется голодных, бездомных,

!!!

неграмотных, дискриминируемых; все межгосударственные конфликты и споры будут решаться методом арбитража или третейского суда. Из сегодняшнего дня такой мир кажется земным раем, но, уверяю вас, проблем все равно останется более чем достаточно. Человеческая природа в своей сути не переменится, сохранится и мировое соперничество. Движение вперед будет по-прежнему происходить благодаря конкуренции между странами, благодаря естественному стремлению к первенству. Изменяются лишь методы этой войны — как различаются методы борьбы за лидерство на разных этапах и сегодняшнего социума. В низкоразвитых, примитивных сообществах — скажем, в труппной подростковой компании, в уголовной шайке, в матросском кубрике, в каторжной артели, да в том же советском Политбюро — первенство вырывают кулаками и зубами; кто сильнее и жестче, тот и вожак. А в кругах самых высоких, интеллектуально сложных — допустим, в научном мире — кандидаты в вожаки бьются между собой посредством диссертаций, научных статей и докладов. Да возьмите хоть наш с вами почтеннейший кружок. Совершенно очевидно, что роль вожака — если угодно, доминантного самца — у нас завоевал уважаемый Историк, которого мы не зря называем Председателем. Он добился лидерства за счет интеллекта, эрудиции и организационных способностей. Между прочим, этот мой доклад можно рассматривать как попытку оттеснить нашего предводителя с завоеванной возвышенной позиции и занять ее самому. Если я сейчас и шучу, то лишь отчасти. Физически здоровый, умственно развитый индивид от природы наделен честолюбием, то есть стремлением к первенству в избранной им сфере деятельности. Империализм — честолюбие не одного человека, а целой страны. Важно лишь, чтобы реализовалось оно не хищническим манером.

Давайте же представим, что мы находимся не в нашем печальном 1937 году, а в спокойном и благополучном 2037-м. Представим, что человечество наконец вышло из подросткового возраста и научилось вести себя более или менее прилично. Лига Наций окрепла, ее авторитет повсеместно признан, и она добросовестно следит за поддержанием мира; диктаторские режимы ушли в прошлое; все люди сыты, получают среднее образование, гарантированный медицинский уход и прочее социальное обеспечение. Наконец, представим, что Россия стала страной, которую описал нам уважаемый Председатель, то есть сшила красивую рубашку и готова претендовать на мировое лидерство. *Не нравится!*

Тут сразу возникают два вопроса, на которые нужно дать ответ.

Может ли у нас в России «сшиться» нечто до такой степени ценное, чтобы оправдать притязания на всемирное первенство? Иными словами, есть ли россиянам из чего создать достойный «товар»?

И второе: если мы и сошьем замечательную рубашку, то как ее «продавать»?

Начну с первого вопроса. Давайте прикинем, каков наш капитал? Какими сильными сторонами обладает или может в будущем обзавестись Россия?

Надо сказать, что судьба и история не обделили нас богатствами.

Пройдусь только по основным пунктам.

1. Россия владеет огромной территорией, одной шестой всей мировой суши. Основная часть этих земель сегодня пустует из-за трудных климатических условий, но в будущем люди, вероятно, научатся обживать или еще как-то

использовать территориальный ресурс — возможно, самое главное наше богатство.

2. Кроме того, мы имеем выход в три океана и самый длинный в мире пояс прибрежных вод. Многие ученые и экономисты уверены, что сокровища моря и морского дна в будущем станут значить больше, чем недра и поверхность суши.

3. Третий ценнейший дар, который достанется будущим поколениям россиян по наследству, — невероятное изобилие полезных ископаемых, причем значительная часть этих залежей не разработана и даже, я полагаю, еще не выявлена.

4. Все вышеперечисленные природные блага обеспечивают отличную материальную базу для создания мощной экономики. В последнее десятилетие эта работа уже началась и ведется невиданными темпами. Конечно, методы, которыми большевики проводят индустриализацию, чудовищно жестоки, и оправдать эти жертвы нельзя ничем, а все же будущие поколения, проклиная большевистскую опричнину, будут пользоваться построенными ею заводами, электростанциями, трассами и каналами — как пользовался своими великими каналами и своей великой стеной Китай, угробивший на монументальных стройках миллионы рабов.

5. При всех преступлениях и несуразностях, совершенных коммунистической властью, следует отдать должное еще одному грандиозному ее свершению, к тому же, по счастью, не кровавому: я имею в виду систему обязательного семилетнего образования. Конечно, это образование идеологически индоктринировано, а все же оно коренным образом изменит качество российского населения. Как ни фантастично это звучит, но через двадцать или тридцать лет даже в глухой деревне не останется взрослых, которые не знали бы таблицу умножения и основных законов

природы, не читали бы Пушкина, не имели бы элементарного представления о географии и истории. Мне как выпускнику классической гимназии даже нравится казарменная строгость, которой отличаются советские школы и ВУЗы с их системой наказаний за прогулы и несданные экзамены. Учение требует дисциплины, и лучше уж вколачивать знания палкой, чем оставлять юные головы пустыми.

В общем, есть все основания надеяться, что через некоторое время по уровню образованности Россия окажется в привилегированной прослойке мирового населения, а это предвещает мощный рывок в развитии науки, культуры и, разумеется, той же экономики.

6. К числу могучих, но не реализованных потенциалов страны следует отнести исторически сложившийся меланж разнообразных национальных традиций, каждую из которых Россия вправе считать автохтонной. Наша генеалогия, помимо собственно русской линии, включает в себя целый букет иных родственных связей. Мы — и тюрки, и кавказцы, и евреи, и среднеазиаты, и финноугры, и сибиряки. Перечень наших корней можно продолжать долго. Россия многоцветна и полифонична. Это великая ценность, которой страна никогда не умела толком воспользоваться, умудряясь превращать благоприятный фактор в источник вечных проблем. А все-то и нужно оказывать каждому этносу уважение, и чем меньше народность, тем бережнее к ней относиться. Никто в России не должен ощущать себя «инородцем». Любой вотяк, или бурят, или ингуш должен чувствовать себя здесь своим и радоваться, что родился и живет именно в этой стране. (Надеюсь, что в будущем к нашему кружку присоединится специалист по национальному вопросу и расскажет нам, как распутать этот сложный узел и перезаплести его в нарядную косичку.)

Самое драгоценное наше богатство, культуру, я оставил напоследок, потому что хочу сделать эту тему не пронумерованным «пунктом» своего перечисления, а вынести в специальный раздел доклада.

Культура — лучший из продуктов, производимых всякой нацией; это ее главный взнос в сокровищницу мировой цивилизации. В конечном итоге, величие той или иной страны определяется не военными победами, которые со временем обесцениваются, а ее культурными достижениями. Что нам сегодня триумфы римских императоров или победы древних греков над древними персами? Грандиозность греческо-римской цивилизации состоит в том, что она создала фундамент всей нашей культуры.

В грядущую эпоху «мягкого империализма» основным оружием межгосударственной конкуренции будут не армия и флот, а культура и экономика (я не выделяю научно-технический потенциал особо, поскольку он создается совместными усилиями культуры и экономики). Выразусь более мирно, чтобы подалее отойти от брутальной терминологии «жесткого империализма»: культура и экономика станут двумя главными *шармами* державы, претендующей на мировой первенство. Экономическая привлекательность страны будет воздействовать на ум и практицизм чужестранцев, говоря им: смотрите, как выгодно со мной жить! Культурная привлекательность будет воздействовать на сердца: смотрите, как со мной красиво и интересно; послушайте, как благозвучен и удобен мой язык!

Фантазировать о том, чем может быть привлекательна российская экономика в XXI веке, мне представляется пустой тратой времени. В этой области всё слишком быстро трансформируется.

Наверняка появятся новые обстоятельства и возможности, которых мы сегодня не можем даже вообразить. А вот мир культуры меняется много медленнее, поскольку культура подобна растущему дереву, в котором корни, ствол, ветви и листва — органичные части целого, всё питается одними соками и сохраняет генетическую преемственность. Поэтому поговорить о том, как использовать в «империалистических» целях российскую культуру, мы вполне можем и сегодня.

Начнем с того, что здесь нам есть чем гордиться и, если угодно, есть с чем работать. Наше наследие относится к разряду великих культур, каких в мире не наберется и десятка. Здесь мы безусловно принадлежим к «высшей лиге».

Я знаю, вы скажете, что у Италии, Германии, Франции, Испании или Китая культурная традиция мощнее нашей, а культурных богатств накоплено больше. И я даже не стану с вами спорить — пусть так.

Но дело не только в качестве и размере твоего капитала. Секрет успеха в том, как ты им воспользуешься.

Вот позвольте вас спросить: какая из современных культур сейчас является лидирующей, приковывает всеобщее внимание, вызывает желание к ней приобщиться и ей подражать? Разумеется, американская. А что, разве Северо-Американские Соединенные Штаты могут похвастаться древней большой культурой? Это страна-нувориш, страна-плебей, созданная социальными отбросами и изгоями, не сумевшими добиться успеха у себя на родине. Но вы посмотрите, какой наваристый бульон варится из этого неказистого сырья! А всё потому, что американцы, во-первых, умеют делать деньги, а во-вторых, умеют их эффективно использовать для развития и «продажи» их, прямо скажем, скромных

культурных достижений. Истинным чудом оборотистости, например, является сотворение колоссального культурного мифа из сущей чепухи вроде потасовок между коровьими пастухами «ковбоями» или мелких стычек с краснокожими аборигенами.

Американцы изобрели новое оружие массового действия: киноконцерн Голливуд, который конвейерным методом, в промышленных количествах, экспортирует любовь и интерес к Америке. Гениальность изобретения заключается в том, что оно не только делает Америку первооткрывателем на пути «мягкого империализма», но еще и окупает все затраты, принося немалую прибыль.

Французы и англичане чуть ранее сделали то же самое при помощи приключенческой литературы, так что во времена моего отрочества мы — благодаря Александру Дюма, Вальтеру Скотту, Стивенсону, Хаггарду, Конан-Дойлу, Буссенару, да и тем же американцам, Фенимору Куперу с Майн Ридом, не говоря уж о Пинкертонах с Никами Картерами — знали чужую историю лучше своей, а играли исключительно в «иностранных» героев: мушкетеров, сыщиков, рыцарей или индейцев.

А чем хуже русские богатыри и казаки, суворовские гренадеры и кутузовские гусары, ермоловские егеря и кавказские горцы? Почему бы России не эпизировать свою богатую, увлекательную историю? Неужто многовековые столкновения с Великой Степью менее драматичны, чем Крестовые походы, а освоение Сибири менее фактурно, чем освоение Дикого Запада? А эпоха Петра и великой Екатерины? А 1812 год? А Кавказ и Хива с Бухарой? А Дальний Восток?

Разумеется, речь не идет о том, что государство дает приказ литераторам и киностудиям: в течение следующей, прости Господи, пятилетки,

создать столько-то фильмов и романов с прославлением русской истории. Искусство по указке не работает, и ничего живого так не создашь. Я говорю не об администрировании творческого процесса, а о его стимулировании, и чуть позже я расскажу, как оно могло бы быть устроено. Сейчас же просто хочу констатировать: если подростки других стран начнут играть в русских героев, свободно выговаривать русские имена, если кто-то будет за Лжедмитрия, а кто-то за Годунова, кто-то за линейных казаков, а кто-то за шамилевских мюридов — можно будет считать, что половина дела сделана.

Что есть у России в «запасниках», кроме великой истории?

Конечно же, великая литература, которой мы обязаны предыдущему столетию. Вот область, в которой наша культура уж точно может претендовать на первенство. Романы Толстого и Достоевского, драматургия Чехова — самый ценный вклад России в улучшение человечества. Если нас в мире сегодня хоть сколько-то знают и понимают, то в основном благодаря этим книгам.

Со второй половины того же девятнадцатого века обнаружилось, что Россия сильна и своей классической музыкой. Не до такой степени, как Италия или Германия, однако же наше преимущество заключается в том, что величие итальянской музыки в основном осталось в прошлом, да и Германия после Вагнера не поражала мир ничем выдающимся, а у нас есть и Рахманинов, и Стравинский, и Прокофьев с Шостаковичем. Наши композиторы каким-то магическим образом слышат музыку сфер, и ничем, кроме особенностей русского культурного эфира, объяснить это невозможно.

Совсем недавно выяснилось, что у нас есть и первоклассная живопись. Еще сто лет назад

остальной мир ее не замечал, полвека назад снисходительно стал похваливать каких-нибудь передвижников, но двадцатый век выдвинул наших художников в авангард мирового искусства. Я слышал, что в Европе сейчас гремят имена Василия Кандинского и Марка Шагала, огромен интерес к нашим Филонову и Лентулову, к нашим конструктивистам. Революционный прорыв в современном искусстве в значительной степени — заслуга женщин, которые лишь теперь получили возможность полноценного творческого труда, и посмотрите, каких замечательных художниц подарила миру Россия: Зинаиду Серебрякову, Наталью Гончарову, Марианну Веревкину.

Вы скажете, что большинство из вышеупомянутых российских мастеров вынуждены жить в эмиграции, а я вам отвечу, что и это тоже одно из многообещающих семян российской колонизации мира. Русская диаспора, следствие национальной трагедии, может стать одним из важных факторов распространения нашей культуры, потому что это самая развитая и образованная страта российской цивилизации, ее верхний слой, накапливавшийся веками. Конечно, дети и внуки эмигрантов ассимилируются; пока Россия остается в постыдном состоянии, они, возможно, будут стесняться своего происхождения, но когда страна преобразится и начнет быстро развиваться, всякому человеку с русскими корнями будет приятно их оживить, и тут уж дело государственной политики — как содействовать этой плодотворной тенденции.

Значительная часть русской диаспоры, скорее всего, сохранит приверженность отеческой религии — православию, которое является еще одной важной частью нашего наследия. Исторически сложилось, что древняя византийская вера переселилась в Россию и сегодня главным образом

ассоциируется с нашей родиной. Это обстоятельство (да простит меня наш уважаемый Богослов за цинизм, а вернее практицизм подобного взгляда) таит в себе большие возможности, которыми царская Россия почти не пользовалась, а если и пробовала, то выходило это довольно скверно. Мне в бытность сотрудником дипломатических миссий в Китае и Японии приходилось с досадой наблюдать, как были несвободны наши миссионеры, вынужденные «проводить курс» Петербурга, вместо того чтобы просто проповедовать русскую версию христианства, к которому местные жители были весьма и весьма восприимчивы. Однако широкому распространению православия вечно мешала рабская привязанность к воле государства и его сиюминутной политике. Как мы знаем, сервильность пастыря перед кесарем привела к кризису веры и в самой России. Тремя веками ранее, во времена Смуты, православная церковь спасла и воскресила страну; сейчас ничего подобного, увы, не произошло. Духовный и общественный авторитет церкви накануне переворота 1917 года был столь низок, что она не сыграла совсем никакой роли в последующих трагических событиях. В наши дни церковь гонима и ведет катакомбное существование, что, вероятно, пойдет православию на пользу, если, конечно, его иерархи не склонятся перед большевиками, следуя трусливо понятому постулату о том, что всякая власть от Бога. Не всякая, не всякая! Бывает власть и бесовская. Христовой церкви склоняться перед ней нельзя! Впрочем, прошу прощения за неуместную эмоциональность и за вторжение в сферу нашего Богослова, который обещал сделать доклад о православной церкви будущего.

Я же вернусь к практическому аспекту этой темы. Со своей «империалистической», «экспортной»,

«рекламной» колокольни я ясно вижу, что православие, ныне распространенное в мире гораздо меньше католицизма или протестантизма, имеет свои привлекательные стороны по сравнению с обеими этими конфессиями. Православие в чистом своем виде, так замечательно изображенном Федором Михайловичем Достоевским в образе старца Зосимы, милосерднее и *тише* западных ветвей христианства; оно по-особенному сострадательно и мудро. Православие не запугивает муками чистилища, как католицизм, и не приземляет духовную жизнь, как это делают многие направления протестантизма. Добавлю также, что византийская зрелищность обрядов, своеобразие церковной архитектуры и прекрасная мелодика хорового пения очень выигрышны для привлечения новой паствы. Я думаю, что у русского православия имеются хорошие шансы занять гораздо более видное место в ряду мировых конфессий — когда наша церковь очистится и обновится. Конечно, государство не должно требовать от церкви, чтобы в своей миссионерской деятельности она следовала предписаниям «партии и правительства»; ценность распространения русской религии в мире выше всякой политики — здесь речь пойдет о духовном родстве душ, вот почему я отношу пропаганду православия к сфере культуры и — шире — «мягкого империализма».

К тому времени наверняка появятся и новые формы и виды массового искусства, каких мы сегодня не можем даже вообразить. Например, недавно я прочитал интереснейшую статью об изобретении, названном television, то есть «взгляд на расстоянии». Это радиоприемник с изображением, который в будущем сможет превратить каждую квартиру в кинотеатр, филармонию, лекционную аудиторию и что угодно. (Между

прочим, изобретателем является наш соотечественник, инженер Зворыкин — из той самой русской диаспоры, о которой я только что говорил.) Полезность этой новинки для «мягкого империализма» несомненно будет еще выше, чем у кинематографа, а вернее, они станут поддерживать друг друга.

В программе государственного развития новой России должно быть записано, что одним из приоритетов деятельности федерального правительства является изучение всех новых открытий, потенциально пригодных для развития российской культуры и ее продвижения в мире.

Уважаемый Председатель совершенно прав, когда говорит, что центральная власть будет контролировать всего несколько ключевых направлений жизни страны, но одним из важнейших ведомств должно стать Министерство Русофилии, деятельность которого сосредоточится именно на этом: чтобы Россию в мире больше любили и лучше знали. По своей структуре и деятельности это будет чрезвычайно «неминистерское» министерство. Конечно, ему выделяют бюджет, и немаленький, но распоряжаться расходами должны не чиновники, а экспертные советы, собираемые из самых авторитетных и материально незаинтересованных лиц. Ведомство определяет стратегию и выстраивает иерархию государственно значимых проектов — вот и всё. Если речь идет о чем-то монументальном вроде съемок большого кинофильма, или создания гастрольной труппы, которая будет знакомить мир с российским театром, или концепции национального павильона на международной выставке, выбирать творческую команду будет ни в коем случае не министр, а экспертный совет на конкурсной основе. И так во всем.

Государство, конечно, должно будет построить самый передовой в мире киногород,

со сверхсовременными павильонами, оборудованием и прочим, но оно ни в коем случае не станет вмешиваться в деятельность частных студий, которые, опять-таки на конкурсной основе, станут снимать там свои фильмы. Я уверен, что при такой постановке дела Россия могла бы успешно конкурировать с Голливудом в борьбе за сердца мировой зрительской аудитории. Или наша актерская школа не лучшая в мире? Или у нас мало талантливых режиссеров и литераторов? Мало великих книг, достойных экранизации?

Министерство Русофилии должно будет заниматься всемирной пропагандой русского языка и российской культуры, нашего образа жизни и вообще всего лучшего, интересного, ценного, что у нас будет появляться. Для этого понадобятся постоянно действующие культурные центры и стипендии для студентов, пособия для преподавателей и переводчиков, выставки и показы мод, фестивали и ярмарки. Задача первого этапа — «деалиенизация», то есть разрушения стереотипа, согласно которому в большинстве стран Россия воспринимается как нечто очень далекое, чужое и малопонятное. Узнавание и понимание — вот неперемные условия прочной любви (если, конечно, *нас будет за что любить*, но тут уж я надеюсь на усилия коллег, последователей нашего уважаемого Председателя).

Будущая Российская империя, которая несомненно будет называться каким-то менее фанфарным образом, представляется мне в виде некоей концентрической структуры.

К территории собственно России будут прилегать соседние страны, которые я условно назову «Близороссией», ибо они будут близки нам не только географически, но и во всех прочих отношениях. Они будут тесно связаны с нашей

экономикой, вторым языком для них будет русский, необходимый для всякого мало-мальски культурного человека — одним словом, они будут нам как родные братья и сестры. Заметьте: я не говорю «младшие», потому что экономическая и культурная гегемония ни в коем случае не должны превращаться в диктат, выкручивание рук или политическое манипулирование. Это союз по обоюдной любви и взаимной выгоде, а не по принуждению. Нечто вроде Эллады и эллинистических государств — да простит меня наш Председатель, если мой пример исторически безграмотен.

Затем будет следовать круг «двоюродных» стран, имеющих прочные и жизненно важные экономические связи с Россией; воспринимающих нашу культуру как нечто хорошо известное и неизменно интересное; почитающих необходимым преподавание русского языка в средних школах как «первого иностранного». (Примерно так относились в дореволюционной России к Франции.)

В остальной части мира мы должны будем заниматься постоянной экспансией, укреплением своего влияния. Нужно будет открывать там филиалы наших торговых компаний и промышленных предприятий, культурные представительства, кружки русского языка, магазины российских товаров и так далее, ни в коем случае не забывая о приучении далеких народов к русской, вернее российской кухне, ибо путь к сердцу, как известно, пролегает через желудок. Мне вообще кажется, что когда мир распробует российскую кухню во всем ее этническом многообразии — русскую, кавказскую, среднеазиатскую, сибирскую и так далее, — наши рестораны станут популярнее французских или итальянских.

Несколько десятилетий стратегически выстроенной, последовательной, талантливой политики,

и Россия станет истинно великой мировой державой — великой не за счет танков и аэропланов, а за счет своего экономического, интеллектуального и культурного влияния. Повторю еще раз: самый лучший, самый надежный способ завоевания — не через силу и страх, а через любовь и выгоду, через сердце и плоть. Вот что я имею в виду, когда говорю про империализм.

В заключение же, господа, скажу вам вот что. Даже если в результате всех этих усилий Россия не станет всемирно признанным лидером, уступив первенство Америке, Франции или какой-то иной великой державе, соревнование все равно пойдет на пользу и нам самим, и человечеству. В любом случае нас будут лучше знать и понимать, будут лучше к нам относиться. И Россия неизбежно займет в мире более заметное и достойное место, чем сегодня.

(ИЗ ФОТОАЛЬБОМА)



Едва перевернул последнюю страницу — звонок по внутреннему.

Шванц. Будто из-за плеча подглядывал.

— Ну, много прочел?

— Две папки. Квашнина и Кроля.

— Ладно, передожни чуток. А то от такого чтения мозга за мозгу заедет. Давай ко мне, быстрой рысью.

— Слушаюсь.

Само выскочило. Раньше Филипп сказал бы: «Ага, сейчас зайду».

Рысью не рысью, но быстро прибыл, ждать не заставил. Однако за эту минуту начальник, шило в заднице, уже куда-то из кабинета умылился. Бляхин постучал, заглянул — пусто.

Поколебавшись, вошел. Во-первых, не топтаться же перед дверью. А во-вторых, приказано явиться — явился.

Садиться не стал, но и столбом торчать, по-холуйски, тоже посчитал для себя невместным. Принялся прогуливаться вдоль стены, вроде как фотографии рассматривает, хоть все их видел и прежде.

Вот Шванц помоложе и похудее, получает почетную грамоту от товарища Менжинского. Вот совсем молодой и совсем худой, без очков, стоит за спиной у Феликса Эдмундовича. Говорят, раньше была еще большая фотография с врагом народа Ягодой, но теперь на этом месте Шванц с товарищем Ежовым: нарком улыбается, капитана приобнимает за плечо. Удивительно, что оба в один рост, хотя в железном наркоме не больше метра пятидесяти, а Шванц даже со своими короткими ногами сантиметров на десять выше. Присел, что ли?

Засвиристел необычной, приглушенной трелью один из телефонов. У Шванца их стояло целых пять. Кроме трех стандартных еще серый, для связи с начальником

Секретно-политического отдела майором госбезопасности Литвином и белый — прямой провод к товарищу нарком. Из двенадцати начальников отделений СПО только Шванцу такой положен. Он-то, белый, и свистел.

Бляхин заметался. Что делать? Ответить? Бежать искать Шванца?

А тот уже откуда ни возьмись несся тигриным поскаком.

Два раза всего телефон и успел пожурчать.

— Слушаю, товарищ нарком! ...Так точно, товарищ нарком... Когда я вас подводил, Николай Иваныч?

Говорили в основном на том конце провода, капитан только вставлял короткие фразы, по которым было не понять, о чем речь. Рубил четко, по-военному, будто рапортовал, вытянувшись по стойке смирно, а сам вольно сидел на краю стола, болтал ногой и еще успел пару раз Филиппу подмигнуть. Наглый, собака, думал Бляхин. Никого не боится.

— ...Расскажете, товарищ нарком? — слегка нахмурился Шванц. Послушал что-то, спросил: — Когда прикажете?.. Слушаюсь.

Положил трубку, задумчиво почесал переносицу.

— Придумал что-то Малютка. Очень собой горд. По телефону не хочет, а принять сейчас не может, занят. Будет время — сам к тебе загляну, говорит. Опасаюсь я его идей.

Сказано было доверительно, как своему. А потом тем же душевным тоном спрошено:

— Как товарищ Мягков? Что супруга рассказала?

Эта задушевность была хуже всякой суровости. Знает, что Ева приходила. Докладывают ему. Стало быть, следит, глаз не спускает. Филипп внутренне весь подбрался, но лицо сделал радостное.

— Вроде Карп Тимофеичу получше стало.

— Да? — Капитан удивился. — Это хорошо, если лучше. Давай бог, как говорят остальные граждане. У меня, правда, другие сведения... Ладно, Бляхин, работаем. Пора тебе с арестованными знакомиться. Их у нас двое. Квашнин, как ты знаешь, застрелился, монах

в бегах. Двое остальных здесь, в Лубяном домзаке. Раз ты писанину Кролля уже прочел, с него и начнем. Я распорядился, сейчас доставят. Проведешь допрос сам. А я тебе пока кратенько его обрисую, в порядке введения. Значит, Кроль Сергей Карлович. Бывший вице-директор Азиатского департамента царского МИДа, имел ранг посланника. Вдовец, детей нет и не было, есть брат и сестра, но они в эмиграции. Это жалко. Нажать не через кого, а сам Кроль — клиент тяжелый. Казалось бы, нетрудное дело — интеллигента сломать...

Начальник по своей привычке расхаживал перед Бляхиным, похрустывал пальцами сложенных за спиной рук. То ли инструктировал, то ли сам с собой вслух рассуждал — не поймешь.

— Методика обработки подследственного какая, если субъект упирается и не дает нужного результата? Вроде ясно. Человека простого, без фанаберии, надо ломать через физиологию, то есть через боль, а того, кто много о себе понимает, через унижение. Интеллигенция, к каковой безусловно принадлежит Кроль, попадает во вторую категорию. Вот что такое интеллигент?

Филипп задумался, как лучше ответить. Кто много учился? Кто прикидываются лучше, чем они есть? Кто любит усложнять, где не надо?

Но капитан ответил себе сам:

— Интеллигент — такое большущее «Я», Личность. Он твердо знает про себя, что он — не мелкая блоха, а целая вселенная. Средний интеллигент обрабатывается быстрее и легче, чем средний пентюх. Умному следовательно обычно кулаки себе отбивать не приходится. На первом же допросе надо лишить интеллигента самоуважения. Без самоуважения интеллигент — как черепаха без панцыря. Покажи ему, что он никакая не вселенная, а мешок с дерьмом, и потом из него вей веревки.

— Я помню. Ты рассказывал. Про касторку.

В прошлом месяце на производственном совещании по обмену опытом Шванц говорил, что, согласно закону диалектики, полезным вещам не грех поучиться и у врагов. Вот итальянские фашисты на допросах практикуют занятную штуку. У них, как и у нас, попадают крепкие

орешки, кого физвоздействием не возьмешь. Встанет такой романтический герой в позу Джордано Бруно — и хоть на костер его. В муссолиниевской Виджилянце подобных субъектов привязывают к стулу, насильно вливают в рот касторку, и через десять минут Джордано Бруно сидит весь обдристанный, на романтического героя не похожий. Вроде просто, а на людей непростых, гордых отлично действует. Трудно быть гордым, когда ты весь в какашках, — так объяснял на совещании капитан.

— Это хорошо, что ты внимательно слушал, — сказал он теперь. — Но универсальных методов, к сожалению, не бывает. Касторку я для интеллигентов применяю, и, в принципе, она дает результат. Профессора и инженеры, аристократы и гордые чайлд-гарольды сидят у меня в «Кафельной» обосранные и рыдают, как малые дети, а потом всё, лапочки, подписывают.

В допросной комнате, которую в отделе называли «Кафельной», когда-то была уборная для начальства. Но Шванц сказал: отдельный санузел — это не по-большевистски, и сделал рационализаторское предложение. Раньше, если подследственный сильно уперся, с ним как поступали? В рабочем кабинете можно максимум по щекам нахлестать или там поддых врезать, а серьезной обработки не произведешь, потому что кровиха и рвота, и гадят, бывает. Значит, вези арестованного на спец-объект, где созданы нормальные условия для работы. А это потеря времени, бумажная волокита, перевод бензина и прочее.

Так Шванц, умная голова, что придумал? Кабинки и толчки из бывшего туалета убрал. Стало там просторно и пусто. Из обстановки — только стол для следователя и прикрученный к полу стул. Еще раковина со шлангом. После допроса вся грязь смывается, неприятные запахи выводятся через специальную вентиляцию. Остается чистый белый кафель, как в операционной. Удобно, быстро, гигиенично.

— Поглядел я на нашего посланника, — с невеселой улыбкой стал рассказывать Шванц. — Типичный такой интеллигент интеллигентович. Ну, думаю, этого я быстро расколю. Взял его в «Кафельную». Стул, наручники,

касторка. Кроль даже не дергался и не бился, как другие. Челюсти насильно разжимать не пришлось. Выпил, как газировку. Я на четверть часа вышел. Скушал бутерброд с чаем. Перед тем как вернуться, зажал нос прищепкой. Короче, всё как обычно. Захожу, вижу — порядок. Он уже, голубчик, готовенький. Из порток натекло — красота. Только, гляжу, ведет себя как-то неправильно. Ни слез, ни переживаний. Сидит, позевывает. Я ему, тоже как обычно: «Ай-я-яй, Сергей Карлович, солидный, взрослый человек, а дотерпеть не смогли. Надо было у конвоира в туалет попроситься. Отстегните его, говорю, смотреть противно». А сам уже чувствую: что-то не то. И что ты думаешь? Этот самый Кроль преспокойно снимает штаны, подходит к раковине, поворачивается ко мне своим грязным задом и начинает обстоятельно, спокойно так подмываться. У меня чуть бутерброд из горла обратно не вылез. Главное, не торопится никуда! На меня и на охрану даже не смотрит. Будто он здесь один. Или будто мы не люди, а тараканы, и стесняться нас нечего. Понимаешь, Бляхин, в ответ на мою методу этот гад употребил свою.

— Какую?

— Да вот эту самую. Что он — человек, а мы все микробы или клопы. Микроб может вызвать понос, клоп может больно укусить, но чего их стесняться-то? Мы с тобой для него не люди, понимаешь? И это психологическая защита, которую прошибить трудно. На что я волк бывалый, а пока не придумал.

— Бить пробовали? — подумав, спросил Филипп.

— А как же. Орет благим матом, воег. Опять-таки безо всякого стеснения. Ну, как если бы у него, допустим, вступила почечная колика, а рядом нет никого, перед кем надо изображать стойкость. Говоришь ему: «Подпишите, не мучайте себя и меня». Он говорит: «Да ради бога. Но учтите: потом от всего откажусь. И прокурору напишу, и на суде сделаю заявление. Всю отчетность вам попорчу». Понимает, сволочь, что это у нас пойдет как брак в работе. А однажды он мне знаешь что сказал наедине? — Шванц остановился перед Филиппом, понизил голос. — «Если будете слишком усердствовать

и сильно меня разозлите, расскажу на суде, что вы вели вредительские разговоры и обозвали товарища Сталина рябой обезьяной. Мне, конечно, не поверят и, может, даже в протокол не запишут, но душок останется. Я полагаю, у вас среди коллег недоброжелателей хватает? Кто-нибудь обязательно воспользуется». Ну не гнида, а? — воскликнул капитан — как показалось Блякину, чуть ли не с восхищением. — И ведь с него станется. Я пыгался зайти по-другому, как бы с его позиции. «Слушайте, говорю, Кроль, да какая вам разница, что будет на суде? Все равно советский суд для вас — как банка с червяками. Ничего не значит. Перед журналистами и публикой вам тоже покрасоваться не придется — у нас не Европа, в зале будут одни подсадные. Что вы уперлись? Плюньте вы на нас, подпишите наши смешные бумажки и ступайте себе в Вечность». Он говорит: «На вас мне действительно наплевать. Но потом, когда ваше время кончится, мое дело извлекут из архива. Зачем же мне на том свете перед потомками краснеть?» Представляешь? Он, гад, на сто процентов уверен, что наше время кончится и снова начнется ихнее! Нет, брат, такого фрукта на процесс главарем организации выводить нельзя.

Бляхин осторожно сказал:

— Я слышал, что в особо трудных случаях арестованных отправляют в Сухановку? Что там есть разное спецоборудование?

Может, говорить этого и не следовало, слухи пересказывать. Но Шванц не придавал значения — только отмахнулся:

— Во-первых, зачем мне в мое дело чужого следователя пускать? Волка в огород. А потом, я ж тебе говорил: интеллигента одной болью не возьмешь. В нем надо стержень сломать. А у этого Кроля стержень гнется, но не ломается. Первый раз в моей практике встречаюсь с подобным экземпляром.

Кажется, теперь стало ясно, для чего ему понадобился Бляхин. Это было лестно.

— Хочешь, чтоб я попробовал? — спросил Филипп — хорошо так спросил, уверенно.

— Не надейся. Это тебе не Рогачов. Задача перед нами вот какая: не признание от Кролля получить — обойдемся. Нам надо добыть «брата Илария». Вряд ли ты пережитришь Кролля и какую-то нитку через него зацепишь, но просто погляди на него. Мужик ты башковитый, психологию понимаешь. Поделишься потом соображениями, обсудим. Может, какая идея возникнет...

Начальник смотрел мимо Филиппа, на фотографию с Держинским.

— Эх, Бляхин, раньше таких врагов много попадалось, волчищ с зубищами. Всех повывели, одни овцы остались. Придут овцу брать — она только «беее, беее, я ни в чем не виновата, я верный леенинец». Опера иногда на задержание без оружия ездят. Ленятся, собаки, на боеклад идти, в книге учета расписываться. А раньше...

Взгляд у Шванца стал немножко затуманенный, как бы мечтательный.

— Помню, в двадцать седьмом, еще операция «Трест» не закончилась, однажды поступает сигнал: на «спящую» явку прибыл неизвестный. Маленький такой, в очках, интеллигентной внешности. Дежурная группа поехала брать. Прибыла на место. Три опера — в дом, шофер остался внизу, в «форде». Только он это, покемарить наладился — пока обыск, протокол задержания, то да сё, чего не подрыхнуть — вдруг три выстрела. Из подъезда вываливается старший по группе, за бок держится. Успел сказать: «Только позвонили, а он шмалять...» И рухнул. Ничего себе очкарик-интеллигент, да? Тремя пулями троих. Двоих на месте, старший после очурился. Ну, шофер по газам, дугой к воротам, с перепугу полкрыла о тумбу снес. Домчал до ближайшего милицкого участка, звонит: так, мол, и так, ЧП. У нас тревога, все бегают, орут. Погнали три легковухи, плюс из казармы грузовик с комендантским взводом, само собой, медицинская «каreta». Все с сиреной, на бешеной скорости. Ясно, что контрик смылся, но надо же ребят подобрать, вдруг кто еще жив, следы, опрос соседей и тэпэ. Я тогда был рядовой опер, ехал во второй машине.

Капитан, вспоминая, поежился, будто ему стало зябко.

— Ага, ушел он... Только мы из машин гурьбой вывалились, под яркий свет фонаря — сзади, из темноты: бабах! бабах! бабах! Знал, гадина, что приедем и что нападения ждать не будем. Перепозиционировался за дровяной штабель. Ждал. Сажал густо — думаю, с обеих рук. И метко! Одного вчистую, начальника нашего отделения, троих тяжело и еще двоих зацепил, в том числе меня, вот сюда. — Шванц шлепнул себя по толстой ляжке. — Мы все врассыпную, кто куда. Я за мусорку прыгнул, железную. Высунул руку с наганом, давай шмалять в темноту. Другие тоже стреляют. Долго палили, пока комендантские на грузовике не подкатили. Но очкарика нашего, конечно, давно след простыл. Отстрелял обоймы и сразу свинтил. Потом, агентурным путем, выяснили: никакой это был не интеллигент, а матерый ровсовский боевик капитан Сокольников, из-за кордона. Вот какие раньше были враги.

Шванц повздыхал.

— Конечно, это значит, что хорошо мы поработали. Крепко почистили население. Ты вот думаешь, зачем оно всё, вот это? Ну, аресты, посадки, спецдопросы, расстрелы? Зачем? Ведь не врагов берем, а кого придется — сам знаешь. Притом часто берем безо всякой системы, непредсказуемо. Сверху, снизу, партийных, беспартийных, военных, гражданских, нацменов, спортсменов, молодых, старых. Почему, ты понимаешь? Это я в продолжение того нашего разговора.

— Партия так решила. Ей видней.

— Не партия, а Сталин. Он почему вождь? Потому что секрет знает. Понимает, что русский человек без животного страха ничего делать не станет. Животный страх — это когда боятся не разумом, а животом. Увидели сотрудника органов — и живот схватывает.

И опять показалось, что Шванц говорил не с Филиппом, а сам с собой.

— Каждый без исключения должен знать и чувствовать: у нас невиновных нету. Наверху решат — и ты виновен, кто ты ни будь, хоть нарком, хоть десять раз герой. И сделать могут что угодно — и с тобой, и с женой,

и даже с детьми. Вот тогда в население и входит настоящий животный страх. Почему Ягоду сняли и Ежова поставили, хотя Ягода был ловкач и мастер, а Ежов в чекистском ремесле — пустое место? Потому что от Ягоды страха было недостаточно. Вот и пошел сам на растопку, чтоб верхушка НКВД тоже тряслась. А Ежов вселять страх ого-го как умеет. Про «Ежовы рукавицы» слышал? Говорят, это Хозяин сам придумал. Сначала придумал, а потом, под поговорку, уже наркома подобрал.

«Напишет потом, что для проверки обзывал при мне наркома обидными словами, а я не просигнализировал, — вот что стучало сейчас в голове у Филиппа. — Самому подать рапорт? Но кто я без товарища Мягкова? Сжует меня Шванц и выплюнет...»

Пока он так мучился, начальник топтал ковер, разглагольствовал дальше.

— Крепка та система, в которой нет ничего страшнее начальника. Не Самого Главного Начальника — он далеко, его народу любить надо, — а ближайшего, непосредственного. И чтобы тот тоже своего начальника трялся. А тот — своего. Только тогда из России может толк выйти. А без страха русский человек либо разбалтывается — если дурак, либо начинает воровать — если умный. Почему армия в империалистическую войну так паршиво воевала? Страх перед начальством не было, вот почему. При Суворове, при Кутузове, при Ермолове страх был. Не явит солдат доблесть — шкуру с живого сдерут. А при Николашке малахольном чего было бояться? Вот и драпали. Ну а уж когда «временные», идиоты, в семнадцатом году смертную казнь отменили — тут армия и вовсе развалилась. Нынешняя большая чистка в РККА для этого и производится: тухачевщину истребить. Умный солдат не нужен, инициативный командир тоже. Командир должен одно: так начальника бояться, чтоб любой приказ любой ценой. А солдат, в свою очередь, должен этого командира бояться больше, чем вражеских пулеметов. Те еще, может, промажут или только ранят, а этот точно к стенке поставит. Вот какую Сталин строит армию. Потому он и великий вождь... А, доставили.

Это звякнуло дверное кольцо — два раза и, после паузы, еще два. Так стучал конвой.

Кроль на вид оказался моложе, чем ожидал Филипп. На седьмом десятке человек, опять же помордовали его немало, а стариком не назовешь, даже несмотря на седую щетину, которой одинаково обросли бритая башка и небритая физиономия. Или, может, дело во взгляде. У стариков он медленный, тусклый, как двадцатисвечовая лампочка, а у Кроля глаз был острый, хваткий. Ишь, щурится, будто на мушку берет, подумал Бляхин, но потом заметил, что у подследственного на переносице вмятая полоска, и сообразил: Кроль щурится по близорукости — стеклышки-то у них отбирают.

— А-а, Сергей Карлович, ждем-ждем, — весело сказал, раскачиваясь на каблуках Шванц. — Обсуждаем вас, удивляемся нелогичности вашего поведения.

Арестованный коротко посмотрел на капитана и стал разглядывать Филиппа — сверху вниз, снизу вверх и потом только уже на лицо: лоб, глаза рот. Будто на окорок примеривается, откуда кус отрезать, пришло в голову Бляжину.

— В чем же нелогичность? — спросил Кроль ленивым голосом, еще секунду-другую пошарил взглядом по Филиппу и отвернулся к Шванцу.

— Кончали бы вы ломаться, а? Ведь ни в бога, ни в черта не верите. Потомки, архив. Вы же умный человек и циник. Такой же, как я. Не понимаю, на кой вам это надо? Лишние допросы, побои, а конец ясно какой. Или вы извращенец? Мазохист? Получаете удовольствие, когда вас мучают?

— Не без того. — Контрик был худой и высокий, выше капитана чуть не на голову и глядел на него, словно с балкона. — Хочется, знаете, напоследок себя испытать. Повысить уровень самоуважения. Если уж уходить из жизни раньше положенного срока, так в состоянии душевной гармонии. Что до побоев и прочего, тут тоже не без пользы. Когда болит всё тело, не так обидно умирать. А насчет циника — да, я циник, но не такой, как вы. У меня цинизм — форма, у вас — содержание.

— Гляди, Бляхин, как я его раззадорил. Глазенки за-сверкали, — усмеянулся капитан. — Изображает, что я для него тля, а ненавидит. Разве тлю ненавидят, Сергей Карлович? Признайтесь, если б ваша взяла, вы бы

меня сразу к стенке поставили, да? Без интеллигентского гуманизма?

Кроль наклонил голову, словно изучал Шванца и решил его участь.

— ...К стенке — нет. Всякая живая тварь имеет право на существование. Посадил бы пожизненно в одиночную камеру. Такого опасно подпускать к людям.

Начальник засмеялся.

— Принимаю за комплимент. Люблю эти наши пикировки. Ладно, Бляхин, приступай. Клиент твой. Я в уголке посижу, не обращайтесь на меня внимания. — Широким жестом показал на Филиппа. — Знакомьтесь, Сергей Карлович: оперуполномоченный Бляхин, ас допросного дела. Его, как меня, не заболтаете. Он вас в два счета расчищает.

Издевается, сволочь, тоскливо подумал Филипп, но внешне своей тоски никак не показал — наоборот, расправил плечи, подтянул пряжку, сдвинул брови, сел за стол.

— Сюда. — Сурово показал на стул.

— Ну-ну, — сказал Кроль. — Бляхин так Бляхин.

Самому проводить допрос Филиппу никогда еще не приходилось, тем более в присутствии начальства, поэтому он решил действовать строго по методичке. Сначала помариновал подследственного: листал дело, хмурил брови, зловеще покачивал башкой. Однако Кроль не особо мариновался — скоро донесся звук зевка.

Зевал арестант не как интеллигенты зевают, деликатно прикрывая рот ладошкой, а во всю пасть — Бляхин даже разглядел, что зубы с одного бока у него вышиблены, там запекшаяся корка и осколки торчат.

Тьфу! Отвел глаза.

Первые вопросы, согласно науке, должны касаться чего-то, уже установленного на предыдущих допросах. Чтобы объект, готовый к напору, малость расслабился.

— Расскажите, Кроль, как вы стали участником контрреволюционной организации.

И придвинул папку с делом, как бы готовясь сверять показания с прежними.

— С удовольствием. Это приятно вспомнить. — Развалился, наглая морда. Даже ногу на ногу закинул. — Сижу однажды в парке Эрмитаж, на скамейке...

Точного числа не назову — конец октября прошлого года, я полагаю. Во всяком случае юные комсомольцы-физкультурники там тренировались строить пирамиду перед 7 ноября, а я на них смотрел. Знаете, это когда друг дружке ногами встают на плечи и даже на макушку — сооружают живую башню из человеческих тел. Сижу, значит, я, наблюдаю. Лица без признаков интеллекта, уровень общения, шуточка — ну, вы можете себе представить. Мысли при этом шевелятся небесприятные. Мне, думаю, уже за шестьдесят и жить на этой неаппетитной планете осталось не так долго. Помру — и ну вас, кретинов, в черту с вашими пирамидами и кумачовыми лозунгами. Тут подсаживается пожилой человек приличной наружности. Сначала поглядывает на меня искоса, молча. Потом вдруг говорит: «Так не бывает». Я ему: «Что, простите?» Он говорит с мягкой улыбкой, словно мы сто лет знакомы и продолжаем прерванную беседу: «Человеческий мир устроен так, что, сколько ни выгаптывай мозг и душу, у кого-то они все равно останутся живыми и свободными. Обязательно! В том числе и у кого-то из этих бедных молодых коммунаров. Или жизнь уму научит, или разум проснется сам. Сколько живую землю ни мости, трава все равно прорастет, а асфальт растрескается». В общем, затеял мой сосед такой, прямо скажем, не уличный разговор. Я спрашиваю: «А почему вы решили, что со мной можно подобным манером разговаривать?» Он отвечает: «Лицо. Взгляд».

Кроль смотрел в потолок, слегка улыбаясь. Видно было, что вспоминать тот день ему в самом деле приятно.

— Никита Илларионович Квашнин был совершенно уникальной личностью. Вызывал безотчетное, спонтанное доверие. Даже у такого Фомы неверующего, как я. Однажды мы с ним заспорили о том, как следует относиться с людям...

Э, да ты меня убалтываешь, догадался Филипп. И, чтоб не выглядеть дураком перед начальством, хлопнул со всей силы ладонью по столу.

— Отставить треп!

Ага, вздрогнул! И сел, как положено. То-то. Краем глаза Бляхин заметил, что Шванц одобрительно кивает.

Приободрился.

После крика говорить надо было тихо и вежливо — для контрасту.

— Вот мне удивительно, гражданин Кроль. Вы человек умный, осторожный. После революции вели себя тихо, в совучреждения, под чистки-проверки не лезли. Обучились денежному ремеслу, неплохо устроились. Неужто вы не догадывались, чем закончатся ваши посиделки в «Счастливой России»? Вы ж видели, что ваш председатель Квашнин совсем дурак и лезет со своими вражескими разговорами к незнакомым людям. Рано или поздно он не мог не запалиться. На кой вы с ними связались? Просто любопытно.

Действительно стало любопытно — почему, зачем?

— Хороший вопрос. Непростой. Я себе его, конечно, задавал. — Кроль дернул костлявым плечом. — Понимаете, в моей переплетной артели было совершенно не с кем поговорить об интересном. А мозг — как цветок в горшке. Если регулярно не поливать, засыхает.

— Что ж, развлеклись, поговорили об интересном. Покатались с ветерком, теперь придется саночки повозить.

Хорошо это у Филиппа получилось, с правильной усмешливостью. Шванц снова кивнул.

— А знаете... — Теперь подследственный пожал обоими плечами сразу. — Нисколечки не жалко. Иначе что? Ну, проскрипел бы еще лет десять. Переработал бы в фекалии пару тонн хлеба и колбасы. А так хоть душой отдохнул, с прекрасными людьми пообщался.

Вроде контакт установлен. Опять же сам про сообщников заговорил. Пора было переходить к существу.

— Хорошо. Давайте потолкуем про «прекрасных людей». — Филипп взял быка за рога. — Расскажите про члена организации по кличке «брат Иларий». Как его настоящее имя?

— Понятия не имею.

Уперся, гад. Методичка рекомендовала в такой момент переключиться из рационального регистра в эмоциональный, то есть перейти с культурной беседы на ор.

— Только вот брехать мне не надо!!!

И кулаком по столу, так что все пять телефонов подпрыгнули и звякнули всяк своим голоском. Бляхин еще

и вскочил, бежал вокруг стола. При эмоциональном регистре надо занять господствующую позицию — чтоб допрашиваемый глядел снизу вверх, задира л голову.

Кроль и задрал, только страха в холодно-злых глазах никакого не было.

— Бить будете? Предупреждаю: назову первое попавшееся имя — какое в голову взбредет. Хоть сейчас пишите. Настоящее имя врага народа брата Илария... Ромуальд Леовкадьевич, допустим, Лопухницкий.

Глумится, паскуда. Вон и Шванц хмыкнул.

— Я тебе дам Лопухницкого! — Филипп замахнулся.

Кроль лицо прятать не стал, только зажмурился и стиснул зубы — чтоб оставшиеся не вышибло. Опытный.

Раньше Бляхин присутствовал на допросах только наблюдающим, в порядке приобщения, и никогда арестованных не бивал. Однако деваться некуда — капитан наблюдает. Надо было себя показать.

Двинул по скуле, стараясь не разбить себе костяшек.

— Будешь говорить, падла?!

Неубедительно выкрикнулось, с дрожанием. А кулак все равно зашиб. Морда у арестанта была прямо каменная.

Кроль качнулся, выпрямился. Подождал, не ударят ли еще. Потом открыл глаза, тронул побелевшую скулу.

— Хм. Мордовали меня и посильнее. Но уж ладно, скажу. Настоящее имя брата Илария — Петр Иванович Кузнецов. Так вас больше устраивает?

Филипп в растерянности повернулся к Шванцу — записывать, нет? Тот с усмешкой качнул головой: не пиши, врет.

Что делать дальше, Бляхин не знал. После перехода на средства физвоздействия полагалось применять их «до результата». Поторопился Бляхин с мордобоем. И вообще не надо было затеваться, коли не умеешь.

Опростоволосился Филипп перед начальником. Провалил допрос. Черт знает, как стал бы выкарабкиваться, но тут дверь без стука отворилась, и в проем сунулся конвойный.

Как это он насмелился — без вызова, поразился Бляхин. А Шванц не удивился. Должно быть, заранее так велел.

Вскочил.

— Идет? Этого вывести, живо!

Охранник подскочил к арестованному, схватил его за ворот, потащил к выходу.

— Руки за спину! Бегом, бегом!

Шванц застегивал верхнюю пуговку на кителе.

Не понимая, что происходит, Филипп на всякий случай тоже провел рукой по макушке и подтянул ремень. Кто идет-то?

Из коридора донесся рык конвойного:

— Лицом к стене стоять! Не поворачиваться!

Обе двери остались приотворенными.

Неужто... мысленно ахнул Бляхин. Неужто?

Раздались приближающиеся шаги — скрипучие и странно мелкие.

Качнулась дверь. На пороге появился человек очень маленького роста — не человек, а человечек — будто вколоченный в тесный мундир и португею, с большими золотыми звездами в петлицах. Сам генеральный комиссар госбезопасности железный сталинский нарком товарищ Ежов! Филипп его раньше вблизи никогда не видел, только из зала, ряда с двадцатого.

Растерялся, конечно.

— Шванц, я к тебе, — сказал нарком, не задержавшись взглядом на Бляхине.

Капитан тянулся в струнку, тугим пузом вперед. Руки по швам, глаза вытарашены. Спohватившись, встал по стойке смирно и Филипп.

— Что Кроль? — кивнул на коридор товарищ Ежов. — Запирается, тварюга?

Большой человек бывает и очень маленький, пришла Филиппу в голову умственная идея, не ко времени. В природе, у зверей, никогда — там кто крупнее, тот и нарком, а у людей — сколько угодно. Это, наверно, и есть прогресс цивилизации.

Не иначе как с перепуту мозга за мозгу заехала — на философию повело.

Но Бляхин что — вот Шванц, тот от страха прямо трясся, вспотевший лоб рукавом вытирал. Куда только всё нахальство подевалось, перед живым-то «Малюткой», подумал Филипп, и как-то стало немного спокойнее.

— Работаем, Николай Иванович. Распутываем вражеский клубок.

— Работают они. Это я за вас, бездельников, работаю. Вот этим вот местом. — Нарком постучал себя по низкому лбу. — Сегодня вдруг как ударило. Вот скажи, Шванц, если «Счастливую Россию» сокращенно назвать, что получится?

— С.Р., — удивился капитан.

— Ну? — Товарищ Ежов пошел прямо на Шванца, и тот на глазах делался меньше ростом, так что, когда нарком приблизился, они оказались вровень. — Соображай, соображай. Задействуй серое вещество. — Острый палец дважды ткнул капитана в висок. — Эс Эр.

— Эсэры! — ажнул Шванц. — А ведь действительно... Эсэровское подполье прикрылось другой маской! Для конспирации назвалось «Счастливой Россией», а на самом деле... Это же... это же какие перспективы открывает! Гениально, Николай Иванович. А мы — болваны и слепцы. То есть, конечно, в идеологии «счастливороссов» ничего эсэровского не просматривается, но это мы поправим. Поработаем на предмет связей с ранее разоблаченными эсэровскими организациями, с эмиграцией.

Нарком подошел к столу, взял бумагу, стал чертить. Филипп вытянул шею, чтоб видеть.

— Гляди. Кружок в центре — «Счастливая Россия». Это будет ихнее теоретическое ядро, вроде нашего идеологического отдела ЦК. Вот тут, — он провел несколько линий к другим кружкам, — эсэровские подпольные ячейки, нами уже обезвреженные. Сколько у тебя бывших эсэров наберется?

— Сотни полторы есть.

— Набери еще столько же. Успеешь до октябрьских?

— Сложновато, но постараюсь.

— Теперь сюда смотри. — Нарком нарисовал на другом краю листка квадрат. — Это савинковские эсэровские недобитки в Варшаве. Всё, что нужно, — связать одно с другим. Одних С.Р. с другими С.Р. Ясно тебе?

— Теперь ясно. Гениальное озарение, Николай Иванович! Вот честно — гениальное! — повторил Шванц

и вдруг, поверх склоненного наркома, высунул Филиппу кончик языка.

— Не может быть. Померещилось от напряжения. Бляхин тряхнул головой, на миг зажмурил глаза, прокашлялся.

Товарищ Ежов оглянулся — и будто лишь теперь заметил, что здесь есть кто-то еще.

— Кто?

— Это оперуполномоченный Бляхин. Прислан из ЦК по партпризыву. Из аппарата товарища Мягкова.

Нарком слегка нахмурился.

— Кстати насчет Мягкова... — И Филиппу: — Выдь-ка, товарищ.

Бляхин вышел с большим облегчением. Узнать, что такого скажет товарищ Ежов про Патрона, было бы, конечно, очень неплохо, а только ну их, ихние секреты. Без них целее будешь.

В коридоре репродуктор разливался задушевной песней «Полюшко-поле» в исполнении Краснознаменного ансамбля Александрова. Значит, уже седьмой час, рабочий день кончился. Но это только по трудкодексу, на самом-то деле на Лубянке работают все допоздна. Просто недавно вышел приказ Наркома: с восемнадцати ноль-ноль во всех местах общего доступа — в коридорах, курительных, столовых — включать радио. Забота о сотрудниках, в порядке укрепления бодрости духа.

Поодаль, лицом к стене, руки за спиной, стоял Кроль. Рядом конвойный — смотрит не на арестанта, а на дверь кабинета, где нарком.

Филипп, чтоб далеко не отходить (вдруг кликнут?), тоже встал.

Подумалось: вся разница между Кролем и мной, что он уже мордой в стенку, а я еще нет. Но сейчас они там решат между собой — и я так же повернусь, очень просто. Черт знает, что Шванц наговорит генеральному комиссару. А заступиться теперь некому...

Вдруг услышал тихое:

— Сожрет он вас.

Это шепнул Кроль, пользуясь тем, что радио поет и охранник не смотрит.

— Я Шванца хорошо изучил. И этот взгляд его знаю. Он на вас, как кот на мышь глядит. Знаете, что он с вами сделает? Побережет до случая, когда надо будет чужими руками жар загрести, а потом скомкает, как бумажку. Еще неизвестно, кого раньше в расход выведут, меня или вас.

И этот про то же! Главное, прав, вражина.

— Посмотрим еще. — Филипп тоже шептал, еле шевеля губами. — Мне про него тоже найдется, что доложить.

Сказал больше для собственного успокоения. Фактики-то кое-какие уже набрались. Первый про «Малютку». Второй, что товарищ Ежов в чекистской работе ничего не понимает. Третий — вредительские разговоры про «липняк» и «лепнину».

— Поди, болтовня без свидетелей? — Кроль пренебрежительно скривил угол рта. — Это он любит. Со мной наедине чего только не говорил. Без свидетелей — пустое, не докажете. А у него на вас наверняка что-нибудь существенное припасено. Из прошлого что-нибудь выкопал. Тут он мастер.

Сделалось Филиппу совсем нехорошо. В первый же день, когда он поступил сюда на службу, делали групповой снимок оперсостава отделения. Давно ли было? А с тех пор уже двоим на карточке пришлось рожи замазывать. Один скрывал зиновьевское прошлое, второй — каменевское. Где гарантия, что твою личность с этой фотографии завтра тоже выскабливать не начнут? Нету такой гарантии.

— У меня прошлое — как хрусталь!

От нервов шепнул громче нужного. Конвойный повернул голову.

Тогда Филипп шикнул:

— Молча стоять!

Дверь беззвучно распахнула створку. Охранник вытянулся. В коридор своими мелкими шажочками вышел железный нарком. Не глядя на Бляхина и конвоира, а Кроля, кажется, вовсе не заметив, крак-крак-крак хромовыми сапогами, заскрипел в сторону лифтов.

— Товарищ лейтенант госбезопасности, этого прикажете обратно заводить?

— Погоди пока.

Сильно волнуясь, Филипп пошел в кабинет один.

Начальник сидел за столом веселый, улыбчивый, барабанил по зеленому сукну пальцами. Что-то в нем изменилось — непонятно что, но очень это Филиппу не понравилось.

— Ну что, Бляжин, потолкуем по душам?

— Всегда готов. — Филипп, как бы тоже весело, сделал рукой пионерский салют. — О чем хочешь толковать?

У Шванца улыбка исчезла, глазки под очками зло сверкнули.

— Не «ты», а «вы». Давай без панибратства. С начальником отделения разговариваешь!

Оторопев, Филипп не знал — стоять ему или садиться.

— Всё, Бляжин. Раньше я тебя опасался, теперь всё. Не тебя, конечно, опасался. Мягкова. Ты-то человек понятный. Недалекий, невысокий: далеко не скакнешь, высоко не взлетишь. Мягков — дело иное. Но нету его больше, твоего покровителя. То есть дышать еще дышит, но уже на пути в кремлевскую стену. Кстати, не факт, что удостоят. Я получил от Малютки указание изъять и просмотреть все бумаги из мягковского кабинета, негласно исследовать квартиру с дачей на предмет тайников и сейфов. Поищем, что там найдется. Сколько я Мягкова знаю, у него много всякого интересного должно быть, про запас. Осторожный был дядька, предусмотрительный. Глядишь, и на тебя что сыщется? Говорят, он приближал только тех людишек, кого крепко держал за яйца.

Пропадаю, мелькнуло в голове у Филиппа. Что если Патрон обманул тогда, насчет копии?

Должно быть, на лице что-то отразилось — бледность или, наоборот, багрянец. Потому что стало Бляжину разом и холодно — в животе, и жарко — в черепе.

А Шванц опять заулыбался.

— Не трусь. Если что найду, ходу не дам. Ты мне самому пригодишься со своими яйцами. Но даже если ничего на тебя не найду — куда ты от меня денешься? Тебе все равно к кому-то прилепиться надо. Так прилепайся ко мне. У тебя и выбора нет. Если не станешь моим человеком — сдую, как пылинку. Мне тут чужие не нужны. А будешь верен и полезен, не прогадаешь. Я, конечно, не Рогачов и не Мягков, плаваю пока мелко, но это дай срок. Я видел, как ты наркома трясся. А ты не его, ты меня бойся. Потому что нарком глупый, а я умный.

Заморгал Филипп. Спустить такое молча было опасно. На «Малютку» не выразил протеста — может, не понял, о ком это. Тут же напрямую было сказано.

— Ты... вы... это... нельзя такое про товарища Ежова. И потом, вы сами при нем дрожите, я видел.

Шванц прыснул. Смешно ему.

— Запомни правило Соломона Премудрого номер один: что начальник любит, то ему и предоставь. Любит, чтоб боялись, — бойся до холодного пота. Я перед Малюткой дрожу, как лист, — ему приятно. Когда-нибудь наорет на меня — я нарочно в портки надую. Будто со страха. У меня на этот случай и брюки запасные в шкафу припрятаны — переодеться. Тут-то наш крохотуля меня окончательно полюбит.

Не померещилось, значит, что язык высунул, сделал заключение Филипп. Вот же пройда!

Господи, что делать-то? Не так пропадешь, так этак.

Капитан посмотрел на свои золотые наградные часы.

— Ну, побалакали и хватит. Катись, работай. На гражданина Кролля ты полюбовался, отдохнул. Иди теперь читай повесть, художественно наслаждайся.

(ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА)

Артур Свободин

Б Е З В Е Т Р А

Повестъ

ВЕТЕР НЕСЕТСЯ БЫСТРЕЕ ЗВУКА

Карл Ветер смотрел в окно купе. Потому что там было красиво и потому что на соседа лучше было не смотреть. Сосед все время пытался завязать пустой дорожный разговор.

Вот опять:

— Какая красота! Ты только погляди! Если не знать, можно вообразить, будто это галлюцинация.

После Омска земля стала пестрой. Так рисуют радугу маленькие дети, не знающие присказку об охотнике и фазане. Берут карандаш из коробки наугад, и за желтой полосой у них идет красная, потом синяя, оранжевая, лиловая, снова желтая, вдруг густо-бордовая и так далее.

— Мм, — неопределенно промычал Ветер и отвернулся от окна. Закрылся папкой с документами.

После утешительного зеленого муара екатеринбургских пальмовых роц в глазах рябило от буйства красок. Ветру это не нравилось. Он не одобрял чрезмерностей.

— Скоро за тюльпановыми плантациями потянутся лавандовые поля — дивный сочный фиолет. За ними начнутся розовые, — не унимался сосед. — Ты, конечно, знаешь, что эти сто пятьдесят километров Трубы снабжают цветами и ароматическими эссенциями всю Федерацию и Европу?

— Мм, — ответил Ветер.

Надо было держаться, иначе заболтает. До Красноярска, где пересадка, оставалось еще часа два, а приставала-сосед ехал до самого Владивостока.

Сконцентрироваться на работе не получалось.

Карл отложил бювар, достал из кармана книжку. Томик поместился в ладонь. В пятидесятиграммовой крохотуле содержались все сочинения старинного писателя А.П.Чехова.

Ветер нацепил на свой солидный нос окуляры, отчего малоподвижная физиономия сделалась еще суше. Зрение у Карла было превосходное, но компакт-томик без специальных очков не прочтешь.

Задача формулировалась следующим образом: освежить в памяти не читанную с лица классику и разобраться, что в ней находит Каролина. «Сунь нос хотя бы в Чехова, арифмометр. Тогда поймешь», — так она сказала. Вот Ветер и взял с собой в дорогу томик. Прочитал уже страниц сто. Пока не понял.

— Ты чем в жизни занимаешься, сотрудник?

— В ФСБ работаю, — буркнул Карл, ибо на такой вопрос мычанием не ответишь.

— Что это — «фээсбз»?

— Федеральная Служба Безопасности.

Отстанешь ты или нет, старый черт?

Слово «старый» применительно к человеку — неприличное, гораздо неприличнее, чем слово «черт». Это на Карла плохо влияли отношения с невежливой Каролиной. Раньше он никого не обозвал бы старым даже мысленно.

— А-а, отражаешь происки врагов? Но ведь у нашей Федерации врагов больше нет? Раньше были, а теперь нет. Так ведь?

— Мм.

Ветер неопределенно покачал бритой головой.

— Раньше много чего было, — вздохнул сосед. — Тебе, сотрудник, сколько лет?

— ...Шестьдесят девять.

— Молодой совсем. Еще, поди, все зубы свои, и суставы тоже?

— Мм.

— ...Сто лет назад, когда я был маленьким, люди ездили не по Трубе, на бесшумных пневмоэкспрессах, с двойной скоростью звука, а под снегом и дождиком, по железной дороге. Она называлась Транссиб. Ты такие поезда только в кино видел. Колеса постукивают: дадам-дадам, дадам-дадам. Вагон покачивается. Люди в купе, вроде нас с тобой, называют друг дружку на «вы» и по имени-отчеству. Я это еще помню. — Сеньор хихикнул. — Во множественном числе, представляешь? Вот твоего отца как звали?

— ...Магелланом, — не сразу вспомнил Ветер. Его мать говорила об отце редко и называла только по фамилии.

— А тебя?

— Карл.

— Представляешь, я тебе: «Как поживаете, Карл Магелланович?» А ты мне: «Вашими молитвами, Андрей Иванович».

Морщинистые щеки затряслись от мелкого смеха. Ветер тоже растянул губы. Подумал: вежливость — добровольное рабство современного евразийца. С детства тебе вдалбливают: будь приятен, сдерживайся, никого не обижай. А Каролина сейчас сказала бы: «Ты что, Андрей, не видишь — я читаю? Отвяжись».

Представил себе, как у надоедалы отвисла бы челюсть, и засмеялся, теперь уже искренне.

— Веселая книга?

— Да. Комедия.

Предупреждая следующий вопрос, Ветер показал обложку. Сам тоже посмотрел на портрет классика. Подумал: А.П.Чехову (1860—1904) было

всего сорок четыре года, а выглядит на нынешние восемьдесят.

Говорливого сеньора, слава богу, склонило в сон. Повесил седую бородавку на грудь, умолк.

Так, читаем дальше.

«Вершинин. Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем.

Тузенбах. Давайте. О чем?

Вершинин. О чем? Давайте помечтаем... например, о той жизни, которая будет после нас, лет через двести-триста.

Тузенбах. Что ж? После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: "ах, тяжело жить!" — и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти».

Карл задумался.

Прогноз почти весь ошибочный. На воздушных шарах не летают — это слишком медленно. Пиджаков не носят — неудобно. Шестого чувства не развили. Смерти не боятся. Жизнь нетрудная. Полная тайн? Ну вот это пожалуй. Иначе сейчас не тащился бы на край света. Счастливая ли?

Словно разрешая сомнения, на шее завибрировал визофон: два раза коротко, потом длинно; два раза коротко — длинно. Каролина!

Конечно, счастливая.

Ветер быстро сдернул окуляры, вместо них поднял наглазник, вставил в ухо наушник. Мир разделился пополам: в левой половине появилось хмурое женское лицо (Каролина не любила улыбаться). Вторая половина, в которой купе, посерехла и утратила значение.

— Просто так, — недовольно сказал в левом ухе хриловатый голос. — Черт знает. Почему-то.

Не разбудить бы сеньора. Карл поднял ко рту экранчик на гибкой проволоке — звукопоглотитель.

— Я тоже по тебе соскучился.

Говорить этого было не надо. Каролина не выносила телячьих нежностей. Разговор сразу и закончился.

— Скучаешь — значит, с тобой всё в порядке. Я, собственно, только это.

В ухе щелкнуло. Картинка погасла. Но жизнь безусловно была счастливая, в этом Тузенбах не ошибся.

А сеньор все-таки проснулся. В таком возрасте сон чуткий.

— Чему улыбаемся? — Увидел еще не спущенный назад, на шею, визофон. — Кто-то позвонил? Жена? Ты женат, Карл?

— Нет.

Всякому терпению есть конец. Золотое правило вежливости: если хочется кого-то треснуть по башке, улыбнись и уйди.

Карл улыбнулся и встал.

— Отлучусь.

Ничего. До Красноярска можно посидеть и в ресторане.

Устроился у стойки, открыл бювар.

Чехов подождет. Надо хорошенько подготовиться к разговору с Сильваном.

Но опять не повезло. Сзади, сдвинув два стола, расположилась группа иностранных туристов — похоже, студенты. Судя по выговору — мексиканцы. Гид, а может быть, профессор, объяснял им про Трубу.

К сожалению, Ветер знал испанский. Но деваться было некуда. Переседаешь от стойки к столику — опять попадешь на кого-нибудь разговорчивого.

— ...Страна, которую сейчас называют «Евразийская Федерация», в прежние времена именовалась по-разному. Ну-ка, кто вспомнит?

Все-таки не гид, а преподаватель.

— Россия, — ответил молодой голос.

— Союз Светских Социалистических Республик, — неуверенно сказал другой — и был поправлен: «Советских».

— Российская империя, а перед этим Московское царство, а перед этим Великое княжество Московское, а еще раньше Великое княжество Киевское, — оттараторила отличница.

— Молодец, Эвита. В прошлый раз я вам рассказывал, что после распада коммунистической диктатуры эту большую страну долго лихорадило. Сначала от нее отделились национальные окраины: республики Средней Азии и Кавказа, Прибалтика, Украина, Белоруссия и так далее. Потом на несколько стран распалась и собственно Россия. С крахом локальных диктатур куски бывшей России снова объединились, но опасность нового раскола сохранялась. И тогда сторонники единого государства поняли одну важную вещь. В таком огромном сообществе народностей, местных эгоизмов, разнокультурных сословий и плохо ладающих между собой социальных групп обязательно нужен некий универсальный клей, который будет удерживать страну вместе — некий Общий Интерес, объединяющий всё население. Возникла концепция, автором которой стал человек, портреты которого вы видите здесь повсюду. Его звали... Правильно, Эвита. Только не Шупов, а Щщщупов, такой немного свистящий звук. В Федерации Александра Щупова обычно называют Садовником. Почему? Правильно, Эвита. Потому что он разработал проект Оранжеви — той самой, через которую мы сейчас движемся.

Ветер прикрыл уши ладонями, но голос был профессионально-пронзительный, от такого не заслонишься.

— ...Тогда, век назад, всё началось с дискуссии о национальной идее, которая была бы привлекательна и понятна для всех. Гениальность Щупова

*И него уже
и будущие
мексиканцы —
белогвардейцы!*

заклучалась в том, что он сказал: «Эта идея не может быть абстракцией. Абстрактными мечтами нас уже кормили при коммунистах. Они предложили народу самую красивую из идей — построение земного Рая Справедливости. Сами видите, что из этого вышло». Большинство людей, говорил Щупов, не верят в абстракции — по недостатку воображения и природному прагматизму. Прочнее всего народ объединяется не идеологией, а общим делом, неким великим совместным трудом. Нужно нечто такое, ради чего нам захочется трудиться вместе. Тогда мы будем не просто соседями, а со-трудниками. Общее дело может быть небыстрым в реализации, но оно должно быть непременно выполнимым, да чтоб первые свои плоды приносило с самого начала, а не в отдаленном будущем. Самое главное: результаты этого труда должны быть выгодны всем без исключения регионам и всем жителям нашей страны.

Вот ница!

*Para todos los habitantes de nuestro país**, пробормотал Ветер, затряс головой и попробовал сосредоточиться на отчете патологоанатома.

Нет, не получалось.

— ...Сеньор Щупов не ограничился теоретизированием. Он предложил проект, учитывающий географические и климатические условия этой огромной холодной страны. Щупов был специалистом по коммуникациям и инфраструктурам, в прошлом руководил строительством нескольких больших междугородных магистралей и отлично владел предметом. «Смотрите, в чем главная проблема России, — говорил он. — Наше население, наша экономика, наша транспортная сеть распределены неравномерно. Территория вроде бы огромна, но пригодные для нормальной жизни земли занимают не более 15 процентов. Это наглядно видно по карте плотности населения: средняя и нижняя зоны европейской части коричневые;

* Всем жителям нашей страны (*исп.*).

полоса, тянущаяся от южного Урала к Тихому океану вдоль китайской границы, желтая, а выше всё белое — там почти никто не живет. Люди приезжают в неудобные северные края на время, чтобы заработать денег, а потом возвращаются туда, где теплее и светлее. Есть регионы, которые нужно все время подпитывать извне — потому что природные и бытовые условия там комфортнее, но негде зарабатывать. Существует огромный разрыв в качестве жизни между мегаполисами и провинцией. При этом жители городов болеют от скученности и плохого воздуха, а сельские жители страдают от необустроенности и культурно-социальной обделенности. Зимой нас заваливает снегом, мы мерзнем. Осенью и весной дороги приходят в негодность. На их ремонт, как в бездонную бочку, из года в год тратятся колоссальные средства...»

Вот в Империи директор их Службы безопасности летает личным самолетом и ездит в персональном салон-вагоне, мрачно подумал Карл. Барство, конечно. Атрибут тоталитарного государства. Зато в дороге можно полноценно работать. Не надо мне салон-вагона, хоть бы выделяли отдельное купе. Но нет, не положено.

В сотый раз он читал описание места преступления, заключения экспертов, просматривал свои записи — и чувствовал: что-то ускользает от внимания. Что-то очевидное и в то же время неуловимое... Думай, сукин сын, думай. Тебе за это зарплату платят.

— ...Щупов предложил нечто на первый взгляд фантастическое. Он сказал: «Вы неправильно видите Россию. Вы смотрите на карту и думаете, что наша страна — вытянутый по горизонтали прямоугольник, а я вижу Россию иначе. Я вижу ее цветом. Буто́н — это европейская часть. От него на восток тянется длинный узкий стебель. А прочая часть карты — не более чем фон. Давайте же поместим этот цветок в оранжерею». Так впервые

прозвучало слово, которому суждено было стать национальной идеей величайшей страны мира.

Узкий южный коридор, тянущийся от Тихого океана до Урала, Щупов предложил сделать сплошной зоной обитания. Она будет шириной всего в несколько десятков километров и накроется стеклянным куполом, который обеспечит идеальный климат — круглый год. То есть люди действительно будут жить в оранжерее.

Посередине этой растянутой теплицы, как нервы внутри позвоночного столба, пролягут всевозможные коммуникации: транспортные магистрали, нефтепровод, газопровод, всевозможные линии снабжения, электротрассы и так далее. Вокруг расположатся жилые поселки — сплошной лентой, прерываемой лишь парками и зонами отдыха.

Большинство населения будет жить не в городе и не в деревне, а в этой зеленой, идеально обустроенной зоне. В пересадочно-транспортных узлах — там, где это необходимо — от Оранжереи на север протянутся ответвления.

На первом этапе, говорил Щупов, довольно создать один демонстрационный участок Оранжереи. Пусть жители со всей страны ездят, смотрят, примеряют на себя — хотят ли они здесь жить. Переселение в Оранжерею должно происходить совершенно добровольно. И скоро все станут записываться в очередь, обещал Садовник. Потому что в Оранжерее будет много рабочих мест, будет удобно устроенная жизнь, будут современные больницы и школы, театры, концертные залы — всё необходимое для полноценного существования. Посередине, в прозрачной капсуле, проляжет трасса пневмоэкспресса, способного двигаться с огромной скоростью, поэтому человек запросто сможет ездить на службу или в университет хоть за тысячу километров.

Садовник создал политическую партию «Сотрудничество», члены этой партии называли себя

«сотрудниками». Они победили на выборах, провели референдум. Щупов стал регулятором Евразийской Федерации, потом еще раз. За два срока он успел построить участок Оранжереи от города Чита до города Улан-Удэ, это больше шестисот километров. И там было всё, как он обещал, настоящий элизиум.

К концу первого десятилетия очередь тех, кто хотел жить в Оранжерее, составила тридцать миллионов человек. Возникла даже сверхпопулярная лотерея на внеочередное заселение, доходы от нее тоже шли в фонд грандиозного строительства. В народе длинное слово «Oraņjeia», правда, не прижилось. Евразийцы обычно говорят Truba, что означает La Pira.

Тоже неплохо, подумал Ветер. Надо сказать Каролине, ей понравится. Она говорит «Трубка», а будет говорить «Пипка». Он уже не пытался работать — слушал.

— ...Вся страна стала считать строительство Трубы своим главным делом, общим для всех и для всех выгодным. С тех пор у них тут принято обращаться друг к другу не «господин» и «госпожа», а «сотрудник» и «сотрудница». Вот какие чудеса способна совершить одна умная голова, если она вооружена знаниями и ясно видит цель, — наставительно поднял палец профессор.

На слове *sabeza** Карл вздрогнул. У него в руках как раз был листок с детальными фотоснимками обезглавленного трупа. Поднес страницу ближе к глазам. Поморщился.

— ...С тех пор Оранжерея, конечно, очень разрослась. Она распространилась на значительную часть европейского региона, разветвилась. В азиатской части Федерации тоже возникло несколько длинных отростков. Восемьдесят пять процентов жителей ЕФ сегодня живут под стеклом. Кроме пневмоэкспресса по Трубе проходит сорокарядное автомобильное шоссе, локальные линии

* Голова (*исп.*).

монорельсовой дороги, подкупольные пневмокоммуникации для почты и мелкооптовой доставки товаров. Через каждые сто километров устроены культурно-социальные станции. Там обязательно — госпиталь, школа, стадион, клуб культуры и всё прочее, необходимое местным жителям. Добраться туда из самого отдаленного поселка можно не далее, чем за двадцать минут...

Ясно одно, тер висок Карл. Чтобы отрезать голову так чисто, нужен особый навык и еще — инструмент огромной точности и остроты.

Не в первый раз содрогнулся, представив выродка, способного на такое. Страшнее всего — если только эксперт не ошибся, — что в момент отсечения головы Максим Львович был еще жив...

Кто-то сзади толкнул в плечо. Один из студентов, поднявшись со стула. Случайно.

Извинился:

— Lo siento, señor*.

— Todavía no soy «señor»**, — улыбнулся смуглому парню Ветер.

Тот, не поняв, извинился еще раз:

— Lo siento, caballero***.

В Евразийской Федерации своя система возрастного деления, закреплённая в конституции и законодательстве. Есть четыре категории населения. Сотрудники моложе пятнадцати лет называются «мальчиками» и «девочками». С пятнадцати до тридцати, вплоть до окончания лица — «юношами» и «девушками». Потом, от тридцати до восьмидесяти пяти — «мужчинами» и «женщинами». Затем начинается зрелый возраст, когда человек становится «сеньором» или «сеньорой». В свое время из-за этого термина переломали немало копий. Славянофилы предлагали называть зрелых людей «старцами» и «старицами», но к тому

* Извините, сеньор (исп.).

** Я пока не сеньор (исп.).

*** Извините, кабальеро (исп.).

времени концепция старости отошла в прошлое, опровергнутая наукой и вытесненная концепцией зрелости. Однако как произвести что-нибудь удобопроизносимое от прилагательного «зрелый», филологи не придумали. Так и закрепились «сеньоры». Сейчас, много лет спустя, слово уже не воспринимается как заимствование — наоборот, евразийскому уху комичным стало казаться испаноязычное обращение. Потому Ветер и улыбнулся.

Ровный свист, с которым неся пневмоэкспресс, стал чуть тише. Поезд начинал замедлять ход. До остановки оставалось всего двести километров.

Карл расплатился за витаминный коктейль: набрал на кассаторе свой код, приложил палец. Машина подмигнула зеленой лампочкой, списав 75 копеек, и заодно показала остаток: «317 р. 25 к.».

Ветер вздохнул. До зарплаты неделя, а надо вносить ежемесячный взнос по выплате кредита за батискаф. И еще материнский день, будь он неладен. Придется опять занимать у экономного Мики.

Вот мексиканский профессор расхваливает genialность Садовника. Александр Щупов безусловно был титан мысли и провидец, но на каждого мудреца довольно простоты. Отец-основатель пророчил, что через сто лет деньги исчезнут, потому что каждый сотрудник ЕФ будет получать всё необходимое бесплатно.

Светоч ошибся. Деньги не исчезли. Потому что кроме необходимого есть еще и избыточное, без которого жизнь не в радость. Например, у человека бывают увлечения, которые могут стоить очень дорого.

Эх, надо было увлечься чем-нибудь подешевле глубоководного плавания, неискренне подумал Ветер, слегка жмурясь от чудесного воспоминания.

Неподвижный и безмолвный черно-синий мир, рассекаемый лучом прожектора. Диковинные глубоководные существа, плоские водоросли...

Прошлогодний отпуск. Погружение на дно Марианской впадины. Никаких звуков, никакого мельтешения, никаких людей. Полная противоположность Трубе.

Вот еще одно обстоятельство, которого не учел великий Щупов: человеку иногда нужно побыть одному. Совсем.

Даже без Каролины? — осведомился ехидный голосишко, вечный спутник Карловых рефлексий.

Нет, Каролина пускай будет...

Ветер засмеялся. Пошел забирать саквояж.

У ЛЕСНОГО БОГА

Для того, чтобы отдохнуть от людей, вовсе не обязательно опускаться на дно океана. Это простую истину Карл Ветер открыл пару часов спустя, когда, промчавшись еще тысячу километров по Северо-Енисейской ветке, вышел на конечной станции, в Туруханске, и оказался за пределами Трубы.

Стеклянная стена, почти невидимая из-за своей прозрачности, осталась позади. Внутри нее зеленели южные растения, сочились ласковым сиянием солнечные светильники, а тут, снаружи, было сумрачно, холодно. И пусто. Около тамбур-ворот еще теснились технические постройки: бензоколонка, автопрокатный гараж, склады, но минута-другая, и пейзаж совершенно обезлюдел. Остались небо, река, тайга. Дороги, в общем, не было — просто широкая просека. Вездеход на воздушной подушке, слегка покачиваясь, мчал над рытвинами и ямами. Набрал на пульте координаты пункта следования, Карл откинулся, нажатием кнопки опустил пластмассовую крышу. Сощурился под напором холодного воздуха. Засмеялся.

Сибирский октябрь это вам не оранжерейные двадцать два градуса при пятидесяти четырех процентах влажности, согласно стандарту федерального Минздрава.

А главное — ветер!

Вот чего не хватает в Трубе. Там иногда пускают дождик и даже устраивают искусственные грозы с целью озонирования, а на Новый год традиционно радуют сотрудников красивым нехолодным снегопадом, но всегда безветренно. Всегда.

Карла с детства волновал ветер. Одно из самых ранних, самых ярких воспоминаний: детей вывезли на экскурсию за пределы Трубы, и там — волшебство, чудо! — живой, подвижный воздух, обдувающий лицо и шевелящий волосы.

Когда мальчик заканчивает школу первой степени и становится юношей, он может поменять свое имя, доставшееся от родителей. «Карл Ветер» — так он назвал себя сам, в пятнадцать лет. Был черняв, носат, как вороненок. Одноклассники дали кличку «Каркар» — отсюда «Карл». А фамилию взял со смыслом.

Взрослый Карл, наголо бритый, широкоскулый, твердогоубый, был уже не похож на вороненка, но любил ветер по-прежнему и сейчас с отрадой подставлял скальп прерывистому дыханию октября.

Километров через пятьдесят тайга закончилась. В двадцатом веке здесь находился район промышленных лесозаготовок. Жадные, безразличные к будущему предки соскребли с лица земли всю зеленую поросль. Земля стала безвидна и пуста. Несколько десятилетий здесь никто не жил, но новые деревья сами по себе не выросли — почва пропиталась мазутом, машинным маслом и прочей дрянью. Казалось, это навсегда.

Но, промчавшись еще полчаса, Карл увидел новые посадки.

Сильван восстанавливал тайгу по всей лесотехнической науке: сосны, пихты и лиственницы

были высажены не геометрически, а по какому-то сложному рисунку, с идеально рассчитанными промежутками. Чередовались участки деревьев-младенцев, деревьев-подростков, деревьев-юношей. Лет через тридцать они превратятся в просторный, веселый лес.

«Сильван» значит «бог леса». Для директора ФСБ имя казалось неподходящим. Но недаром говорят: как себя наречешь, так потом и проживешь. Уйдя в отставку, Сильван занялся делом, к которому, должно быть, внутренне тянулся всю жизнь.

Хотя черт его знает. Работа за пределами Трубы и в особенности восстановление естественной среды в последнее время стала повальной модой. Многим прискучило вечно жить под стеклом, в искусственном климате. Территория, расположенная вне Оранжереи, давно объявлена природным заповедником. Куча народу теперь увлеченно очищает реки и озера, высаживает леса и рощи, восстанавливает животный мир. Вокруг бывшей столицы, Москвы, превращенной в исторический музей, возродили древнюю финскую чащобу, там бродят лоси и олени, шастают медведи, у запруд плещутся бобры.

Так что Сильван не выглядел чужаком-оригиналом. Просто он забрался в глушь намного дальше других природолюбив. И не возвращался после работы в комфорт оранжерейного быта, а жил среди своих диких просторов постоянно.

Вездеход повернул с просеки на тропу. Вскоре показался хутор.

Приехали.

Карл прыгнул на землю, с любопытством оглядываясь.

Тут было прямо как в кино про старинную жизнь. Бревенчатая изба с крылечком и наличниками, дощатые сараи, скирды сена.

А это что за звук? Неужто мычание?

Навстречу шел хозяин, сам тоже будто из исторического фильма — бородатый, с выдубленным ветрами лицом, в стеганом ватнике и валенках.

— У тебя что, и корова имеется? — спросил Карл, отвечая на крепкое рукопожатие.

Сильван рассмеялся.

— Это и есть срочный вопрос, про который ты говорил по визофону? У меня десять коров, сорок овец и четыре лошади. Понемногу приучаю контингент к вольной жизни в лесу. Жрать их тут некому, тайга у меня «бескровная». Хищников я решил не разводить.

Семьдесят лет назад, когда вся Евразия законодательно отказалась от убийства живых существ и перешла на вегетарианство, встал вопрос: а что делать с огромным поголовьем скотины и домашней птицы? Была широкая общественная дискуссия, и в конце концов решили сокращать популяцию постепенно, естественным путем. Часть заповедников сделали «бескровными» — для животных, которые не способны уберечься от волков, медведей и лисиц.

— Чем это у тебя пахнет? — Карл втянул носом сильный незнакомый запах.

— Навозом. Эх ты, столица, — снова засмеялся Сильван.

Ветер представлял себе его иначе — суровым, молчаливым. Пожалуй, стоило приглядеться к Сильвану получше, прежде чем затевать серьезный разговор.

Дом выглядел допотопным только снаружи. Внутри он оказался устроен не хуже городской квартиры Карла — с автоклиматом, самоочистителями, столом-«самобранкой» и прочими бытовыми удобствами, а еда была намного вкуснее продуктов из продмага. Выпили заваренного на каких-то особенных цветах чаю, поели свежеспеченных коржиков со свежим медом. Поговорили о столичных новостях — Сильван сказал,

что сидит в своей дыре сыч сычом, весь в лесных заботах, некогда и радиовизор посмотреть. Перебрали общих знакомых — таковых обнаружилось немало, хотя Сильван уволился тринадцать лет назад и с тех пор в городе не бывал.

Взгляд хозяина делался все вопросительней, и Ветер наконец перешел к делу.

— Знаешь про Старицкого?

— Про Максима Львовича? А что такое?

Не знает. Конечно, в прессе сообщений пока не было, так решил Совет Старейшин, но кто-то из прежних коллег мог позвонить бывшему директору ФСБ, рассказать конфиденциально.

Значит, Сильван сказал про сыча сычом правду. Карл даже позавидовал такой безмятежности.

— Умер. То есть убит.

— Старицкий? Убит?! Как это?

Сильван был поражен. Еще бы. Один из известнейших людей страны, в прошлом ближайший соратник самого Щупова, потом регулятор, в последнее время — самый авторитетный член Совета Старейшин — и убит?

— ...Он перестал отвечать на звонки. Это никого особенно не встревожило. Старицкий, когда писал научную статью, бывало, отключался от внешнего мира. Я хорошо знал его привычки. Мы дружили. Ну, то есть он меня удостаивал своей дружбы, — поправился Ветер, употребив старомодное выражение — оно как нельзя лучше соответствовало и их отношениям, и самому Максиму Львовичу. Это был человек из другой эпохи, родился еще в середине двадцатого века. Сам себя называл «уже не зрелым, а сильно перезрелым». Кажется, единственный из евразийцев, кого по привычке именовали с отчеством. Молодежь, впрочем, была уверена, что Львович — это первая половинка фамилии «Львович-Старицкий».

— ...У нас с Максимом Львовичем традиция... была. В первый день месяца я ездил к нему в гости.

Много лет. Если что-то не так — он звонил, предупреждал. А тут никакого звонка не было, и первого октября я приехал. Стою у двери, стою — не открывает. Я решил — слушает музыку в наушниках. Старицкий любит старую классику — Рахманинов, Берлиоз. Дверь там с дактилозамком — открывается пальцем хозяина и еще двух-трех человек, которые вхожи в дом. В их числе я. Ладно. Прикладываю указательный, открываю, захожу. Обошел весь дом — никого...

Сильван напряженно слушал. Кажется, начинал догадываться о причине визита.

— Дом у Старицкого напичкан всякой техникой еще больше, чем твой. Максим Львович не любил отставать от времени и предпочитал обходиться без помощников. Кухня у него сама готовит, стол тоже самонакрывающийся, новейшей модели, бесшумные пылепоглотители, самостирка и прочее. Среди прочих технических изысков регистратор входа-выхода — Старицкий всегда замерял время своих утренних прогулок. Если возвращался раньше, чем через час, дверь не пускала его домой: иди, догуливай. — По лицу Карла скользнула улыбка и тут же исчезла. — Я снял данные с регистратора. Увидел, что последний раз хозяин вошел в дом еще 20 сентября и с тех пор больше не выходил.

Сильван быстро спросил:

— Дом хорошо осмотрели? Детально?

Он был хмур, сосредоточен, но удивленным уже не выглядел.

— Да. Я вызвал Ньютона Комарова, он еще при тебе работал...

Сильван кивнул:

— Да, он был лучший.

— Комаров прошелся всюду, с приборами. Ничего. Старицкий словно под землю провалился... И тут я вспомнил один недавний разговор...

Ветер на миг прикрыл глаза и, будто въявь, увидел перед собой лицо Максима Львовича.

Когда-то синие, но давно выцветшие глаза смотрели иронически. Морщинистый рот кривился насмешливой улыбкой.

— Знаешь, Карлуша, кем или, вернее, чем я себя чувствую в мои 178 лет? Сердце, печень, почки, легкие, суставы, половина костей и позвонков — всё у меня сменное, кое-что и неоднократно. Я — как древний японский храм, в котором древнего только алтарь. — Костлявый палец постучал по высокому лбу. — А стены, полы, кровлю сто раз меняли. Да и алтарь ветшает. Медицина делает что может, но в мозгу начинаются «необратимые возрастныe». Ткани дубеют. Скоро я стану дубина-дубиной.

— Ну, до этого тебе еще далеко, — услышал нынешний Карл собственный голос — будто издалека.

— Года два, максимум три, — серьезно ответил Старицкий. — А и ладно. Пора честь знать. Когда я уйду, все станут говорить речи, а потом госкомиссия решит увековечить мою светлую память. Например, поставит памятник над моей могилой и открыть музей моего имени. И тогда ты скажешь нашему уважаемому регулятору и членам правительства, что покойный не хотел памятник. Он хотел остаться дома. Я прожил здесь больше ста лет. Этот дом стал моим панцирем, моей второй кожей. Пусть он будет мне мавзолеем и музеем. Можете водить по комнатам школьников, рассказывать им, какой я был великий. А я — вернее, мои бранные — будут лежать внизу. И, может быть, мне будет приятно, что надо мной разгуливают маленькие евразята. Я уже и альков себе приготовил.

— Какой альков? — переспросил тогдашний Ветер, которому очень не нравился этот разговор.

— Потом когда-нибудь покажу...

Сильван прервал затянувшуюся паузу:

— Что за разговор ты вспомнил?

— Неважно... В общем, я спустился в подземный этаж, где Максим Львович хранит... хранил свою коллекцию старинных книг — знаешь, таких тяжелых, из бумаги, в коленкоровых переплетах... Просветил сонопенетратором полы и обнаружил потайную нишу... Нечто вроде саркофага. Вскрыл, а там... — Карл кашлянул. Ему было трудно это говорить. — Там труп. Обезглавленный...

— Обезглавленный?! — Сильван вскочил так резко, что опрокинулся стул.

— Да. — Ветер содрогнулся. — Мы бы никогда его не нашли, если б не тот давний разговор...

Лицо Сильвана, не слишком подвижное, словно заколыхалось. Карл внимательно наблюдал. Ждал, каким будет первый вопрос.

Вопрос был ожидаемый — для бывшего директора ФСБ:

— Ты обнаружил тело первого октября. Сегодня уже седьмое. Что удалось установить за это время?

— Ничего. Честно признаюсь, я понятия не имею, как это функционирует. Ну это... — Ветер пощелкал пальцами, вспоминая архаизм. — Расследование. У меня в бюро и специалистов таких нет. В старину существовала популярная профессия: сыщик, детектив. Тогда часто кого-нибудь убивали, и особые люди умели как-то хитро находить преступников по следам. А у нас, сам знаешь, если кого-то и убьют, то разве что по неосторожности. И никто, конечно, не бежит от ответственности, не скрывается... Черт, в мозгу не укладывается! Взять и убить человека! Отрезать голову! Эксперт говорит, еще у живого!

Он на несколько секунд прервался, чтобы успокоиться. Заговорил тише.

— Я не знал, с чего начать. И проконсультироваться не у кого...

— Ну да, — кивнул Сильван, грустно усмехнувшись. — И ты пошел в библиотеку, и взял учебник двадцать первого века по криминалистике — слово, которого ты раньше не знал.

— Да. Только не двадцать первого, а двадцатого. Он показался мне более простым.

— Знакомая история. Точно тем же путем шел я. Я ведь понимаю, почему ты ко мне приехал. Но об этом — позже. Пока рассказывай. Итак, в учебнике ты прочел, что первая задача следователя — определить круг версий и подозреваемых. Узнал латинское выражение *qui prodest**. И полезное слово «дедукция». Ну, и чем она, дедукция, тебе помогла? Какие ты сформулировал версии?

Карл вздохнул с облегчением. Отправляясь в дальний путь, он не был уверен, что потратит время с пользой. Вдруг Сильван не захочет говорить откровенно — или, может быть, ему нечего сказать. Но, кажется, поездка не будет зряшной.

— В учебнике перечислены основные мотивы, по которым в прежние времена люди убивали себе подобных. — Он заглянул в блокнот. — Корусть; месть; устранение потенциальной угрозы (например, опасного свидетеля); «роковая» страсть; политическое или государственное преступление; и самое трудное — когда жертва случайная. Всё это какая-то бесполезная архаика. Корусти сейчас не бывает. Месть и роковые страсти — это из древней художественной литературы. Политическое убийство — что-то из истории. Шпионы? Есть, конечно, Империя, но после Двухчасовой войны она уже не та, что прежде. Из космоса они за нами подглядывают, но на земле ведут себя прилично. И уж точно никого не убивают. Это совершенно невообразимо.

Южно-Атлантическая Империя, включающая часть Африки, часть Южной Америки и Австралию, в прошлом веке, за счет богатств Антарктиды

* [Ищи] кому выгодно (лат.).

и ее шельфа, соперничала с Евразией. По типу государственного устройства это была военная диктатура, иерархическое общество тотального типа. В начале нынешнего века угроза мировой войны стала такой серьезной, что Федерации пришлось потратиться на дорогостоящую систему защиты. Она называлась «Бумеранг».

1 января 2114 года Империя нанесла удар: выпустила из гигантских орудий сто ракет, которые, пролетев несколько тысяч километров, должны были вдребезги разнести Оранжерею и остановить жизнь в Евразии. Но сработал «Бумеранг». Через час после пуска все ракеты развернулись обратно и полетели туда, откуда были запущены. Все сто артиллерийских баз Империи вместе с военным персоналом взлетели на воздух. Это была последняя война в мировой истории. И самая короткая: она продолжалась ровно два часа.

— А что сейчас происходит в Империи? — спросил Сильван. — Я тут со своими елками совсем перестал следить за мировой политикой.

— Там уже пятый год идут реформы. Молодой император Мумбаса IV провозгласил курс на модернизацию и либерализацию. У них появилась независимая пресса, оппозиционные партии. Дворянство и чиновничество, конечно, ворчат, но даже они понимают, что в двадцать втором веке по-старому жить нельзя. Думаю, эпоха конфронтации с Империей закончилась. Да и в прежние времена — зачем бы они стали убивать человека вроде Старицкого? Он давно отошел от дел, только председательствовал на заседаниях Совета Старейшин. Сто семьдесят восемь лет ему было!

— Хорошо, Империя исключается. А если вернуться к мести? Старицкий прожил долгую жизнь. Мало ли что там было. В учебнике криминалистики говорится, что следователь должен как можно детальнее восстановить прошлое жертвы.

Карл пожал плечами:

— Ты просто не знал Максима Львовича близко. Он никогда никому не делал зла. Когда его кусал комар, Старицкий не хлопал по нему, а желал приятного аппетита. Говорил, ему не жалко миллиграмма крови, комару тоже нужно как-то жить.

— А версию с психопатом ты изучил?

— Ты же знаешь. Все психически проблемные сотрудники Федерации находятся под постоянным наблюдением. У меня в бюро ими, как и в твои времена, занимается целый профиль.

«Профилями» назывались профильные отделы ФСБ. Поскольку люди с врожденной склонностью к насилию или социопатии представляют опасность для себя и окружающих, Система распознает их еще в раннем возрасте, в ходе регулярного тестирования. Если болезненное состояние усугубляется, а терапия не помогает, такого сотрудника официально берут на учет, а при необходимости ставят на него датчик, регистрирующий все перемещения и уровень нервного возбуждения.

— У Мики Дельфина, который отвечает за профиль индучета, таких «клиентов» на сегодняшний день по стране 328 душ, — сказал Ветер. — И каждого мы, конечно, проверили. Нет, это сделал не психопат.

— Ты хочешь сказать «не зарегистрированный психопат». Что если Система кого-то пропустила?

— Маньяка, способного отрезать живому человеку голову, Система пропустить не может. Исключено. Сам подумай: нас всех тестируют с трехлетнего возраста, когда еще и притворяться-то не умеешь.

— Ладно. В учебнике написано, что следующий после мотивации пункт расследования — метод и почерк преступления.

Карл тяжело вздохнул.

— С этим вообще тупик. Следов никаких. И, главное, непонятно: как кто-то мог войти и выйти, не замеченный дверным регистратором «входа-выхода»?

— Может быть, через окно?

— Как это? — удивился Ветер. — То есть технически это, конечно, не очень сложно, но... странно. Люди не пользуются окнами для того, для чего есть дверь. Зачем? — И стукнул себя по лбу. — Я понял! Чтобы обмануть «умную дверь»! Но тогда... тогда мы имеем дело с субъектом, мыслящим неординарно. И, значит, очень опасным... Войти не через дверь, а через окно — это еще надо додуматься... В общем, одни загадки. Зачем убивать? Зачем отрезать голову? И куда она делась? Бред.

— Тебе легче. — Сильван сделался совсем мрачен. — У тебя хоть есть тело, пускай безголовое. У меня и тела не было. — Его брови сдвинулись, глаза смотрели мимо собеседника, в стену. — Ладно, коллега. Ты ведь приехал издалека не для того, чтобы рассказывать, а чтобы задавать вопросы. Про академика Томберга, верно? Ты изучил досье и обнаружил то, что тебя заинтриговало. Валяй. Спрашивай.

ДЕЛО ИЗ АРХИВА

Ветер покинул столицу в самый разгар «расследования» (пора было привыкать к этому слову) и отправился в один из самых глухих уголков страны вот по какой причине.

Вдруг вспомнил, что тринадцать лет назад, когда он еще не работал в ФСБ, произошло нечто похожее. При обстоятельствах, так и оставшихся невыясненными, погиб уважаемый человек, большой ученый, главный конструктор Системы академик Томберг. У многих тогда возникло ощущение, что газеты чего-то недоговаривают. Группа депутатов Федерального Парламента даже делала запрос, но заседание по нему проходило в закрытом режиме и публике ничего дополнительного не сообщили, а потом, как всегда, были другие

события, другие новости — и Ветер не мог вспомнить, чем история закончилась.

В его нынешнем положении поднять дело из архива было нетрудно. Карл начал листать папки — и очень скоро его охватила нервная дрожь.

История была, мягко говоря, странной.

Академик Томберг решил уйти. Он был совершенно здоров и не в таком уж продвинутом возрасте, под сто тридцать, но усталость от жизни у людей наступает в разное время.

В Федерации ведь как? Каждый человек с рождения находится под медицинским контролем и по закону обязан проходить регулярные проверки состояния организма. При необходимости врачи заменяют изношенные или проблемные элементы тела. Поэтому физически никто не дряхлеет. Люди прошлого ошибочно представляли себе жизненный цикл в виде этакой горки: сначала все вверх-вверх, а потом вниз-вниз. У них в ходу была поговорка «старость не радость», которая сегодня кажется парадоксом. А что же тогда, если не радость? И потом, не «старость», а «зрелость».

Личная эволюция индивида не прекращается до самого финала. Предки по невежеству принимали замедление и угасание гормональной деятельности за начало конца. Теперь же всякий школьник знает: так называемый репродуктивный период — не более чем вторая стадия роста, следующая после физиологического созревания. Во времена, когда люди неправильно жили и питались, у женщин детопроизводительный возраст обычно заканчивался на пятом десятке, у мужчин мог продолжаться до седьмого. Сейчас границы переместились лет на двадцать, но главным завоеванием антропологического прогресса стало даже не это, а открытие великих возможностей постгормонального периода, когда освободившийся от древнего инстинкта мозг разворачивает

свои интеллектуальные способности в полную силу, желания становятся разумными, отношения ровными.

Лучшая пора человеческой жизни начинается после восьмидесяти-девяноста и длится до тех пор, пока в душе не накапливается усталость. Когда сеньор вдруг чувствует, что жизнь начинает повторяться, *что всё уже было*; когда ослабевает интерес к происходящему и любопытство к новому; когда хочется покоя и безмолвия — значит, пора уходить.

Ученые выдвинули гипотезу, что пресыщенность жизнью определена ограниченностью объема мозга — вернее, информации, которую он способен вместить и обработать. Устройство мозга — единственная часть организма, в которой медицина до сих пор так до конца и не разобралась, поэтому дальше гипотез дело пока не идет. Но факт есть факт: каждый человек, без исключения, начиная с определенного момента хочет уйти. Никуда не торопится. Ждет, когда это желание станет неодолимым. Говорят, оно сродни тому, как клонит в сон: сначала противишься, что-то лениво додумываешь, а потом уступаешь — ну, спать так спать.

Лет в сто пятьдесят, сто шестьдесят насытившийся жизнью сеньор со всеми прощается и, послушав приятных речей, выпивает бокал сладкого зелья (оно называется старинным словом «посошок»), после чего навсегда засыпает. Собравшиеся вздыхают, некоторые плачут, но не слишком горько. А бывает, что, взбодренный прощальными комплиментами, сеньор объявляет: пожалуй, проживу еще. И тогда все радуются, шутят, начинают нахваливать несостоявшегося покойника пуще прежнего.

Но у академика Томберга был особенный случай.

Из-за трагического стечения обстоятельств конструктор потерял жену. Они были в заграничной

поездке, в Северо-Американских Соединенных Штатах, и у сеньоры случилось обширное кровоизлияние в мозг. Отсталая американская медицина оказалась бессильна. Ученый затосковал, утратил ко всему интерес, слег. Врачи не находили у него никаких болезней. Просто иссякла жизненная сила. Томберг без посторонней помощи не вставал, не хотел есть, отказывался с кем-либо встречаться. В конце концов он объявил, что собирается уходить.

Ну что тут поделаешь?

В Системе обязанности главного конструктора стал по совместительству временно исполнять директор. Началась подготовка торжественного прощания с заслуженным ученым.

И тут произошло нечто загадочное.

Когда утром в день церемонии приехали за академиком, дом оказался пуст. Исчез и сам Томберг, и приставленный к нему медассистент.

Искали всюду. Тщательно осмотрели и дом, и сад.

Нашли нескоро, почти случайно.

Томберг любил антиквариат. У него все было по-старинному. В подвале стояла большая чугунная отопительная печь позапрошлого века — музейный раритет. И там, в золе, были найдены остатки сгоревших человеческих тканей. Сделали анализ — Томберг!

Дело вел сам Сильван. Судя по досье, безрезультатно. Парламентская комиссия решила сохранить обстоятельства смерти академика в тайне от публики — иначе вся нация была бы потрясена. Надо было подумать о детях, с их ранимой психикой. Человек, сожженный в печи, — это слишком страшно. В общем, аргументы были те же, что и теперь, когда Совет Старейшин постановил не травмировать людей сообщением об ужасной смерти Максима Львовича Старицкого — по крайней мере до тех пор, пока не будет восстановлена картина случившегося.

Тогда, тринадцать лет назад, всё так и затихло. В энциклопедиях написано, что академик Томберг скоропостижно скончался.

Директор ФСБ Сильван взял на себя ответственность за проваленное следствие, подал в отставку и уехал из столицы. Вот отпустил бороду, не смотрит новости, восстанавливает тайгу.

— Меня заинтересовало не то, что я обнаружил в деле об убийстве Томберга, а то, чего я там не обнаружил, — сказал Карл, произнеся частицу «не» с нажимом. Он смотрел на собеседника в упор.

— О предполагаемом убийстве Томберга, — поправил Сильван. — Теоретически Томберг мог сам залезть в печь и сжечь себя. Признаков преступления мы не обнаружили. Мотивов тоже. Всё, как в этот раз.

— Нет, не всё. У тебя был подозреваемый. Я имею в виду пропавшего Ван Мыня....

Неинтересные профессии вроде домашних помощников, уличных уборщиков, медицинских ассистентов в Федерации непопулярны, и на подобную работу обычно нанимают иностранцев. Томберга в последний период жизни обслуживал китаец. Этот Ван Мынь был единственным человеком, которого овдовевший академик к себе подпускал. Называл близким другом, о чем-то подолгу с ним разговаривал.

Куда делся китаец, ФСБ так и не установила.

Сильван вздохнул.

— Что ты хочешь знать про Ван Мыня?

— Не про него. Про тебя. Я выяснил, что, выйдя в отставку, ты не сразу уехал в тайгу. Сначала ты отправился в Китай и провел там несколько недель. Сказал, что поездка частная, по личным мотивам...

— Да. По личным. — Губы хозяина горько скривились под наполовину седыми усами. — Я ушел в отставку, потому что понял: я занимаю чужое

место. Нет у меня настоящего дара. Система во мне ошиблась, когда назначила руководить безопасностью страны. Такие ошибки хоть и редко, но случаются. Пока шла рутина, я неплохо справлялся. Но стоило произойти чему-то неординарному, и я оказался негоден. Обеспечение безопасности страны — это в том числе и нештатные ситуации. Мало ли что может случиться? А я потерялся... Не хватило ума, или интуиции, или не знаю чего — но не хватило... — В голосе Сильвана зазвучало ожесточение. — Лучше восстанавливать тайгу. Тут я бог и царь. Тарахчу с утра до вечера на своей лесосадке, высаживаю по сто стволов в день. И вижу, что существую не напрасно. Возродил почти четыре тысячи гектаров тайги. Есть чем гордиться... А тогда мне гордиться было нечем. Я чувствовал, что должен как-то погасить огонь.

— Какой огонь?

— Вот здесь.

Бывший директор стукнул себя ладонью по левой стороне груди.

— ...Скажи, Ветер, ты уже чувствуешь, как в тебе разгорается... ярость? Ярость от невозможности понять: как можно засунуть человека в печь? Или, в твоём случае, взять и отрезать голову? Как?! Какой выродок мог такое сделать?!

Карл кивнул. Вот как называется чувство, от которого шестой день сжимается сердце: ярость. Всякий раз, когда Ветер вспоминал Старицкого, его вечную легкую улыбку, негромкий голос, мягкий взгляд, внутри появлялась тянущая боль, не находившая выхода. Она многократно усиливалась, когда Карл начинал представлять себе, как кто-то отрезает голову, самую мудрую на свете. И тут появлялось очень странное, явно патологическое желание: найти монстра, который это сделал, и не отдавать его психиатрам, а... Здесь Ветер всегда себя останавливал. Но Сильвана он понял очень хорошо.

— Тогда не спрашивай, зачем я поехал в Китай. Я хотел найти Ван Мыня.

— Значит, ты был уверен, что это сделал китаец?

— Я ни в чем не был уверен. Но Ван Мынь загадочным образом исчез. Может быть, конечно, он просто испугался. Но в доме не нашлось ни одного отпечатка его пальцев. Вообще. Это странно. И потом, была запись визохроники... Ты ведь приехал из-за нее?

— Да. В досье под номером 132 значится: «Запись с камеры медицинского наблюдения», а самой записи нет. Судя по подписям, ты последний, кто заглядывал в эту коробку. В день твоей отставки.

— Да, — кивнул Сильван. — Я взял запись с собой. Дело все равно закрывалось, а у меня оставалась последняя надежда. Я собирался показать китайским коллегам фотографии Ван Мыня... Их запустили в идентификационную систему. Она, конечно, была не бог весть какая современная, однако все же установила бы личность — если этот человек когда-либо жил или бывал в Китае.

— И что?

— Ничего. Ван Мынь никогда не бывал в Китае. Хотя, по нашим документам, он завербовался на работу в Шанхае... Ты, наверное, хочешь посмотреть запись?

Они перешли в библиотеку. Вставляя маленькую визопластинку в проектор, Сильван объяснял:

— Камера была установлена для ночного наблюдения за Томбергом, когда ассистент спит. Врачи опасались, что у академика из-за общей вялости может произойти внезапная остановка сердца. Вели наблюдение прямо из клиники...

На экране, крупно, появилась постель. На ней с открытыми глазами лежал седой человек со странно застывшим лицом, смотрел вверх, в потолок.

— Звука нет, чтобы не были слышны разговоры. Правила невторжения в частную жизнь, — говорил Сильван, проматывая запись. — Вот... с этого места. Смотри внимательно.

Карла можно было об этом не просить — от напряжения он приподнялся со стула.

Лежащий вдруг перевел глаза с потолка в сторону. На лице появилась слабая улыбка.

— Сейчас появится Ван Мынь. Ну, то есть, вероятнее всего, что Ван Мынь. Лица мы не увидим, но больше никому...

Черноволокный человек в зеленой куртке — было видно только спину — подошел, наклонился. Поднял руку, сделал какой-то жест. Или, может быть, показал какой-то небольшой предмет? Было не видно, спина загоразивала.

Томберг, улыбнувшись шире, пошевелил губами.

Черноволокный ткнул пальцем назад, через плечо — в направлении камеры.

Томберг кивнул, поглядел прямо в объектив. Потянулся к лежащему у подушки пульту. Изображение погасло.

— Это он отключил камеру. Сам. Вот и вся запись.

— Покажи еще раз. С замедлением, — попросил Ветер.

Посмотрели снова, и снова, и снова.

— Что говорит Томберг? Не пробовали прощечь по губам?

— Конечно, прочли. Сначала он сказал: «Ну-ка, ну-ка». Потом — видишь — Ван Мынь ему что-то показывает. В правой руке держит. И тут Томберг говорит нечто очень странное. Ты не представляешь, сколько мы бились над этой короткой фразой. «Стало быть, вот она, моя коробочка».

— Что-что?

— «Стало быть, вот она, моя коробочка». Слово «коробочка» старинное, означает «маленькая

коробка». Мы долго ломали голову. Потом запустили фразу в Систему, в автоматический поиск. По всем информационным массивам. «Коробчонка» встречается только в сказке про царевну-лягушку, помнишь из детства? Как Иван-царевич пустил стрелу наугад, чтобы найти невесту, а стрелу подобрала лягушка. Потом лягушка приехала во дворец в коробчонке и оказалась Василисой Премудрой. Или Василисой Прекрасной, толком не помню. Мы не знаем, что значили слова Томберга. И значили ли что-нибудь вообще...

— Бред? Помутнение рассудка? — предположил Ветер. — Взгляд у него какой-то чудной. Глаза блестят. И эта улыбка... Ладно, пластинку я возьму.

Поднялся. Больше делать здесь было нечего.

От предложения пообедать отказался. Нужно было возвращаться в столицу, это пять часов дороги, только к вечеру доберешься.

— Мне кажется, ты найдешь, — сказал Сильван, пожимая руку. — У тебя ноздри раздуваются, как у собаки. Возьмешь след и не собьешься. У меня этого дара не было... Ничего, зато у меня дар высаживать сосны, ели и пихты.

На том и расстались.

МАТЕРИНСКИЙ ДЕНЬ

— Здравствуй-здравствуй, Жорик, — гнусаво сказала мать, подставляя щеку.

На всем свете только она называла Карла именем, которое он так ненавидел в детстве. В метрике у него значилось «Георгин» — мать любила пышные цветы без аромата. Она была очень привередлива по части запахов. Гнусавила из-за бархатной прищепки на носу — чтобы не мучило аномально чувствительное обоняние.

— Рад тебя видеть, Эсмеральда.

Ветер обреченно наклонился. Предстояла обязательная неприятная процедура.

Мать сняла прищепку и принялась, делая головой быстрые и мелкие кошачьи движения.

— Ты прямо с поезда... Ел морскую капусту и что-то соевое... Пил апельсиновый сок... И от тебя по-прежнему совсем не пахнет женщиной. Как был бирюком, так и остался.

У Эсмеральды была редкая специальность — дегустатор парфюмов. От ее чуткого носа ничего нельзя было утаить.

подавив привычное раздражение, Карл подумал: если бы запустить в Систему их данные, балл совместимости получился бы ноль процентов. Но сыновний долг есть сыновний долг. В первый понедельник месяца изволь явиться, и никакая занятость, никакие дела от этой повинности не спасут. Попробуй только пропусти — выйдет себе дороже.

Он действительно приехал сюда прямо с экспресса, даже не заглянув домой. Знал по опыту, что Эсмеральда испортит настроение и высосет всю энергию. Потом нужно будет освежиться и часок поспать — только тогда вернешься в рабочее состояние.

Вошли в гостиную.

У матери дома все было стерильно, аккуратно. Каждый предмет на своем месте, всюду идеальная симметрия. А чистота такая, что ужасно хочется бросить на пол бумажку или тихонько плюнуть где-нибудь в уголке на пол. Эсмеральда с утра до вечера попеременно то занималась сложными косметическими процедурами, то охотилась за пылинками, чудом залетавшими в ее наглухо загерметизированное жилище.

— Сядь ровнее, — сказала мать, когда он опустился на стул. — И положи руки как следует. Не видишь — скатерть комкается? Куда ты ездил на поезде? Зачем?

Ветер знал, что отвечать необязательно. Эсмеральда любила говорить сама.

— Не понимаю людей, которые уезжают из Центрограда. Я была так рада, когда ты наконец начал работать в столице! А ты всё куда-то едешь, едешь. Так где ты был на этот раз?

Сама она за девяносто шесть лет жизни выезжала из Центрограда разве что на курорт, а к так называемой «провинции» относилась с подозрением и презрением.

— Извини, я не знал, что тебе привезти. — Он полез в карман. — Давай ты сама себе купишь какой-нибудь подарок.

— Какие глупости. Не нужно мне никаких подарков. Мне довольно того, что приехал мой сыночек.

Этот обмен репликами тоже был всегдашним ритуалом — Эсмеральда уже доставала кокетливый кассатор, разукрашенный ее любимыми изумрудиками. Она зарабатывала своим феноменальным носом намного больше, чем директор ФСБ, но вечно сидела без денег.

В Евразии все необходимые товары дешевы, а большинство услуг бесплатны. Роскошествовать немодно, пускать пыль в глаза богатством — тем более. Это в старые времена модники и модницы платили втридорога за этикетку на штанах или на пальто, либо же (невероятно!) отдавали целое состояние за кусочек шлифованного углерода на пальце. Теперь большие деньги нужны только тому, кто имел неосторожность обзавестись затратным хобби — как Ветер с его глубоководными погружениями.

Эсмеральда ничем подобным не увлекалась и все же умудрялась вечно оказываться на мели.

Карл, как обычно, скинул ей на кассатор сто рублей.

— Швыряешь деньги направо и налево. Весь в отца, — одобрительно заметила мать.

Это, впрочем, была фигура речи. Когда-то Ветер пытался задавать вопросы об отце. Эсмеральда отвечала рассеянно и все время по-разному. Не потому что утаивала, а потому что не помнила. Любовь родителей длилась недолго, и потом было много других мужчин.

Когда Карл начал жить в пансионе, ему было удивительно, отчего другие дети плачут и просятся домой. Он-то чувствовал себя вырвавшимся на свободу и ждал каждого воскресенья с тоской.

Еще в конце прошлого века, когда обновляли Конституцию, в самой первой ее статье было провозглашено: главная забота государства — воспитание подрастающего поколения. Педагогика стала считаться самой важной и престижной из профессий. Всякий дилетантизм исключался. Ребенок оставался в семье до пяти лет, а затем попадал в пансион и навещал родителей только по выходным и в каникулы: пускай изредка балуют — не страшно. Всё главное так или иначе происходит в пансионе. К каждому малышу приглядываются опытные специалисты, постепенно выясняют его склонности и способности, бережно ведут из класса в класс. Неуспевающих и отстающих не бывает: ребенка учат тому, что его занимает, шаг за шагом расширяя зону этих интересов. Не бывает и хулиганов — непоседливые и непослушные попадают к таким же шибутным наставникам, которых воспринимают как старших товарищей.

Какое счастье, что в Евразии детей воспитывают не родители, в миллионный, наверное, раз подумал Ветер, уныло слушая и кивая.

Мать, как водится, рассказывала про козни врагов и завистников с парфюмерной фабрики. На работу Эсмеральда не ходила, образцы ароматов ей доставляли на дом, и все же каким-то образом вечно с кем-то конфликтовала.

Тут можно было на время отключиться.

«Сижу еще двадцать две минуты. Потом домой. Пятьдесят, нет, сорок минут поспать. Душ.

Потом на работу. Мика, как обычно, сидит допоздна. Подключу его к...»

Мать что-то спросила, а он не расслышал.

— Что, прости?

— Как тебе день стрекозы?

Карл моргнул. Иногда он совсем ее не понимал.

В глазах Эсмеральды сверкнули искры — так бывало перед скандалом.

— Не хочешь же ты сказать, что он тебе не понравился?

О чем речь, лучше было не спрашивать. Могло выйти хуже.

— Ну что ты, — трусливо осклабился Карл. — Ужасно понравился. Я прямо в восторге.

Господи, какая еще стрекоза? Нужно было скорее менять тему.

— У тебя новое приобретение?

Он показал на яркий картонный коробок, лежавший в старинной хрустальной вазочке странной формы (Ветер знал — это так называемая «пепельница»).

Мать опять сняла прищепку и поднесла картонку к носу, блаженно принюхалась.

Она курила табак — редкостное чудачество. Даже во времена Карлова детства курильщиков уже почти не осталось. Табак давным-давно перестали выращивать, табачные плантации исчезли, но Эсмеральда покупала у коллекционеров за немалые деньги нераспечатанные пачки папирос, сигарет, сигар — и устраивала себе праздник.

— Вот раньше были запахи, — мечтательно молвила она. — Простые, мужественные, сильные. Я говорю идиоту-заведующему: нужно возвращаться к классической простоте, к истокам, а эти бездари меня не слушают... — Мать всплеснула рукой с длинными алыми ногтями. — Ой, какая я свинья! Я тебя не угостила чем-нибудь вкусеньким!

— Я поел в поезде. Ты всё правильно определила: соевый шницель, салат из тихоокеанских водорослей, апельсиновый сок...

Не хватало еще у Эсмеральды съесть «что-нибудь вкусненькое»! Ее пристрастия в еде были экзотичней, чем привычка загрязнять легкие дымом.

Словно подслушав, мать воскликнула:

— А помнишь икру? Как ты тогда... — Не договорила, зайдясь мелким смехом.

Еще бы не помнить... Лет пятнадцать назад во время такого вот визита Эсмеральда торжественно подала кусочек хлеба, намазанный какой-то черной зернистой пастой, солоноватой и странной на вкус.

— Представляешь, я купила на антикварном аукционе консервную баночку настоящей икры. За целый век она не испортилась!

— Баночку чего? — переспросил Карл. А когда узнал, что его накормили засоленными рыбьими зародышами, сто лет назад вынутыми из живота убитого осетра, его вырвало прямо на стол...

Перестав смеяться, мать посмотрела на сына жалеюще:

— Бедненький, ты за всю жизнь ни разу не попробовал ни рыбки, ни колбаски. А меня бабушка в детстве угощала копчененькой... Как это было вкусно!

Ветер не сразу вспомнил, что такое «колбаска». О боже. Это же мясо свиньи вперемешку с жиром, утрамбованное в кишки... Его замутило.

— Когда же наконец у тебя появится любовница? — строго спросила Эсмеральда.

Карл закатил глаза, а она хищно подалась вперед.

— Ага! Мелькнуло что-то живое! У тебя есть женщина! Познакомь нас!

Представив встречу бесцеремонной Эсмеральды с невежливой Каролиной, Ветер содрогнулся.

А мать опять сдернула прищепку и наклонилась, втягивая носом воздух.

— Но почему нет запаха? У тебя с ней *настоящие* отношения?

— Мы не «спим», если ты имеешь в виду это. — Он иронически употребил пошлое слово из ее лексикона.

— Мон дье... — Мать пригорюнилась. — Иногда мне кажется, что я тебя не родила, а нашла в холодильнике. Сколько раз тебе говорить: мужчины и женщины существуют для того, чтобы заниматься любовью, а не для того чтобы...

Он поднялся.

— Знаешь, мне пора. Устал с дороги. И очень много работы.

Всегда одно и то же. Сколько ни настраивайся, сколько ни запасайся терпением, она непременно доведет до белого каления. Ничего, следующий визит только через месяц.

В прихожей, уже прощаясь, Эсмеральда воткнула еще один шип:

— Я тебе одно скажу, сынуля, и уж можешь мне поверить. Если баба тебе не дает, значит не любит. Гони такую к черту.

Он поморщился. До чего же она вульгарна. А каков лексикон — «дает»! Это что-то из позапрошлого века.

— Оставь ты свою глупую гордость, — прогундосила мать. — Воспользуйся Системой. «Соска» для того и существует, чтобы помочь болванам вроде тебя найти пару.

— В юности этого не делал, уж как-нибудь и теперь обойдусь, — буркнул Ветер.

СПАС И «СОСКА»

Злился он еще долго. Впрочем, как всегда после «материнского дня». Сел в свободное такси, набрал на пульте домашний адрес, поехал через центр, а всё не мог успокоиться.

Значит, он должен воспользоваться «Соской», а? В свои шестьдесят, кошкин хвост, девять лет! Да кем она его считает?

Главное достижение научно-технического прогресса, без которого жизнь ЕФ уже невозможно представить, называется СПАС — Система Персонального Анализа и Содействия, или попросту Система. Это мощная счетно-учетная машина, вернее, целый комплекс «мониторов» и блок-агрегатов разного назначения.

Каждый сотрудник Федерации, появляясь на свет, немедленно регистрируется СПАСом, который потом сопровождает человека через все стадии жизни, следя за его здоровьем и приходя на помощь в самых разных ситуациях.

Медицинским контролем ведает МЗ (Монитор Здоровья), аккумулирующий все данные и напоминающий об очередной проверке.

МРЛ (Монитор Развития Личности) тоже регулярно направляет людей на тестирование, но не физиологическое, а личностное. У детей подобные переаттестации происходят каждую школьную четверть, корректируя индивидуальную программу обучения и развития каждого пансионера и лицеиста. У студентов — раз в семестр. Выпускнику лица или университета МРЛ подсказывает перечень профессий, к которым у человека есть склонность и призвание.

Став взрослым, сотрудник постоянно имеет дело с МТД (Монитором Трудовой Деятельности), функция которого — оптимально совмещать навыки, способности и интересы человека с выполняемой работой и занимаемой должностью. Основной принцип организации труда в Федерации прост: каждый должен любить свою профессию. Все работы, лишенные потенциала развития или неспособные приносить радость, давно выполняются машинами. Бывают, конечно, сложные случаи, когда МТД не может подобрать ничего подходящего, но это лишь означает, что профессии, которая увлекла бы данного конкретного сотрудника, не существует. Тогда Система ее изобретает,

приспосабливаясь к данным, собранным Монитором Развития Личности. На свете не бывает людей, которые совсем ни к чему не пригодны. Все время возникают какие-то новые специальности, и каждая оказывается полезной, даже если сначала выглядит диковинно. Например, пару лет назад появилась вроде бы несерьезная профессия: играть с домашними животными. Однако очень быстро она стала популярной и востребованной. Ведь все в стране трудоголики, все любят свою работу и занимаются ею допоздна, не считая времени. А кошке, или собаке, или попугаю дома тоскливо. Ими нужно заниматься, с ними нужно играть. Теперь же есть специалисты самого разного направления: кто-то плавает с лабрадорами, кто-то умеет играть в норную охоту с таксами, кто-то учит попугаев разговаривать и петь. Вроде бы чепуха, но объем счастья и праздника в обществе стал чуть больше, чем прежде, а не это ли, в конце концов, самое главное?

В армию и флот Система направляет тех, кто адренолинозависим и имеет повышенный уровень психологической агрессии. В прежние времена такие люди могли бы стать преступниками, а сейчас расходуют свою избыточную энергию и потребность в риске на полезное дело: охрану страны. Но в офицеры и генералы Система определяет людей совсем иного склада — хладнокровных и взвешенных. Никто не обижается, потому что в ЕФ не существует понятия «карьеры». Монитору виднее, кому на какой должности находиться. И вовсе не факт, что быть начальником приятнее или интереснее. К тому же зарплата зависит не от должности и не от звания, а от опыта и заслуг. Рядовой сотрудник, давно и хорошо выполняющий свою работу, может получать в несколько раз больше молодого директора.

МФ (Монитор Финансов) — нечто вроде единого банка, где у каждого учреждения, у каждой

фирмы и у каждого сотрудника имеется свой денежный счет. Туда поступают прибыль, бюджетное финансирование, зарплаты. Оттуда же производятся все выплаты. Купюры, монеты, кошельки, бумажники теперь можно найти только у антикваров. Человек набирает на кассаторе свой номер, прикладывает палец — и операция совершена.

В смысле государственном самый важный компонент Системы — МНВ, Монитор Народной Воли. Раньше, в эпоху примитивной демократии, существовала нелепая и оскорбительная для человеческого достоинства система принятия общественно значимых решений, при которой каждый, вне зависимости от жизненного опыта и личных достижений, имел один голос. Люди выбирали депутата, губернатора или президента, полностью передавая им все права по управлению городом, областью или страной. При таком положении дел в руководящие органы, разумеется, попадали только те, кто стремился к власти, а вовсе не те, кто должен ею обладать по своим качествам. Эту проблему помог решить Монитор Трудовой Деятельности, который назначает человека на руководящую должность в соответствии со способностями — вплоть до регулятора всей Федерации. Отказываться нельзя — это общественная обязанность, закреплённая в законе. Отработал срок губернатором, мэром или министром — свободен. Дальше живи как хочешь. Бывало, что МТД вдруг вытаскивал в федеральные регуляторы, на высший государственный пост, какого-нибудь совсем неожиданного сотрудника — школьного учителя, врача, один раз даже пожарного. И всегда оказывалось, что Система выбрала верно. На то она и СПАС.

Но Монитор Народной Воли занимается не кадровыми назначениями, а референдумами, с помощью которых в стране решаются все мало-мальски важные вопросы. Достигнув совершеннолетия в тридцать лет, сотрудник получает

стартовый электоральный капитал — 10 бюлей (от слова «бюллетень»). Впоследствии этот капитал растет — в зависимости от опыта и заслуг. У Карла в его нынешнем возрасте и положении накопилось 77 бюлей, а есть почтенные сеньоры и выдающиеся личности, чей электоральный капитал доходит до 200.

Референдумы бывают разных уровней — для жителей квартала, поселка, автономной республики, всей федерации. Депутаты только формулируют вопросы, по которым нужно принять решение, и назначают день голосования. И каждый сотрудник может использовать свой капитал в поддержку того или иного решения. Для этого повсюду установлены кабинки. Набираешь персональный номер, прикладываешь палец — и твои бюли учтены.

Уча непутевого сына жизни, Эсмеральда помянула еще один компонент СПАСа, так называемую «Соску» — СОС, Службу Оптимальной Сочетаемости. Эта ипостась Системы служит евразийцам вечным предметом шуток, но при этом является одним из главных гарантов душевного благополучия жителей большой страны.

Современная наука установила, что в античной легенде о разделенном андрогине, половинки которого ищут одна другую по всему свету, чтобы вновь соединиться, имеется рациональное зерно. Данные, накопленные Монитором Развития Личности в результате длительного и многократного тестирования, показали, что есть пары, сочетаемость психофизиологических параметров у которых стремится к 100 процентам. Собственно, иногда бывают и все сто, но редко: не более чем у 2 процентов населения. Согласно одной из гипотез, этот коэффициент неслучаен. В ЕФ живет одна пятидесятая человечества. Это значит, что с 98-процентной вероятностью твоя вторая «половина»,

увы, является иностранцем или иностранкой, и вы вряд ли когда-нибудь встретитесь. Разве что сказочно повезет.

Но для счастливой пары вполне достаточно и восьмидесятипроцентной совместимости. Обычно человек, желающий создать семью или просто завести романтическое знакомство, запускает в СОС свои параметры — и получает список сотрудников противоположного пола, которые ему больше всего подходят. Чаще всего знакомство между молодыми людьми в Евразии начинается именно так. Кто-то звонит по визофону и говорит: «Привет. Мне тебя порекомендовала “Соска”. Если ты свободна (или свободен), может, познакомимся?»

Но во времена Карловой юности у продвинутой молодежи прибегать к помощи «Соски» считалось не комильфо. Тогда была мода на так называемый «брак-праздник»: чтобы он и она жили поврозь, даже в разных областях страны, каждый занимался любимой профессией, а встречались в выходные, коротко. Считалось, что при таком сосуществовании любовь будет не буднями, а чередой коротких, но ярких праздников. Так Ветер и пропраздновал всю молодость. Девушки, а потом женщины ему попадались всякие, в том числе и совершенно замечательные, но ни с одной из них не хотелось жить под одной крышей или завести ребенка. Должно быть, «Соска» эти романы не одобрила бы.

И в ту самую минуту, когда Ветер, мчась по проспекту, качал головой, удивляясь, как это он столько лет прожил без настоящей любви, без *Каролины*, завибрировал визофон. И это, конечно, была она.

Каролина обладала поразительным даром звонить именно тогда, когда Карл начинал о ней думать.

А впрочем, ничего поразительного. Он думал о ней почти все время.

— Ну и? — сказал в ухо хрипловатый голос. Изображения Каролина не включила. Просить — Ветер знал — бесполезно. Ему ужасно, просто ужасно хотелось увидеть ее лицо. Но ладно. Хоть голос.

— Вернулся. Еду домой, потом на работу.

— Мм. Держи в ку.

И разъединилась. Манера разговаривать у Каролины была чудовищная. Мало того что никаких цирлихов-манирлихов, так она еще и фраз не заканчивала, а иногда не договаривала и слово, если считала, что и так понятно. Ветер долго не мог привыкнуть, а потом научился понимать и ценить этот обрывочный стиль общения. Он означал, что люди близки, что они понимают друг друга с полуслова или даже вообще без слов. Раньше ни одна женщина не умела понимать Карла без слов. У Каролины это получалось запросто.

— Да, это несомненно сто процентов, — пробормотал он, улыбаясь.

Но мысленно прибавил: «Во всяком случае, по психопараметрам. Насчет физиологических неизвестно». И нахмурился.

Около дома не сразу вышел из такси. Не открылась дверца — забыл расплатиться.

Устал. Надо немного поспать. Потом работай хоть всю ночь.

В ФСБ

Ученые доказали, что в старые времена люди тратили треть своей короткой жизни на сон, потому что неправильно спали — не умели. Для избавления от накопленной за день мозговой усталости ребенку требуется три часа, в гормональном возрасте нужно полтора, сеньорам же довольно и сорока минут. Только засыпать следует по определенной методе, гарантирующей глубокий, здоровый сон.

В 19.43 Карл переступил порог своей холостяцкой квартиры, которая, встречая хозяина, сама включила свет, закрутила под потолком вентиляторы и запустила обогреватель воды. Через семь минут жилец уже лежал в постели. Поочередно упокоил все участки тела, снизу вверх, с ног до головы, и провалился в уютный синий омут, а без двадцати пяти девять вынырнул обратно на поверхность. Привычно восстановил контроль: ноги, туловище, шея, голова. Легко поднялся. Вприпрыжку побежал принимать душ.

Можно снова работать.

На службу Ветер ездил не на общественном транспорте, а на собственной элтээске — ЛТС, личном транспортном средстве, предназначенном для недалёких городских поездок.

Это компактный прибор, уместающийся в небольшой планшет, который носят на плече. Оттуда вынимается подставка — легкая, но твердая пластина. На нее встают ногами и нажатием носка включают компрессор. Поднимается невесомая оболочка, внутри которой находится пассажир. Если дождь, можно замкнуть пленку над головой. В этом пузыре, способном летать на небольшой высоте, горожане обычно и перемещаются.

В старинных перенаселенных городах подобное средство передвижения, конечно, было бы невозможно — летуны сталкивались бы, мешали бы друг другу. Сталкиваются они, бывает, и сейчас, но ничего страшного не происходит — эластичные пузыри просто отскакивают один от другого, а пассажиры вежливо извиняются либо чертыхаются, это уж в зависимости от воспитания и настроения.

Пролетая над своей улицей, Ветер кивал знакомым. Кто-то шел внизу, по тротуару, кто-то тоже плыл в элтээске, поблескивая прозрачной сферой в ярком свете фонарей.

Карлу нравилась высота. Он поднялся на максимально разрешенные двадцать метров, глядя вниз на зеленые прямоугольники и овалы крыш. Жилые дома в столице не выше двух этажей, на крышах — газоны или клумбы. Сверху район похож на цветущее поле, всё состоящее из маленьких холмов.

В центре полагалось летать небыстро и ниже уровня фонарей, поэтому Ветер спустился до четырех метров и сбросил скорость.

По обеим сторонам проспекта располагались официальные учреждения, магазины, театры, рестораны. Карл любил столицу вечером, когда горожане празднично шатаются по улицам, разглядывая витрины и афиши.

В глаза ему бросилось огромное электрическое табло над кинотеатром. Там переливалось яркими красками название: «День стрекозы». Ах вот про что говорила Эсмеральда. Ну конечно! Она в прошлый раз рассказывала, да вылетело из головы. Ее пригласили консультантом на трехсенсорный фильм — это когда к изображению и звуку прибавляются еще и запахи. Зрителям показывают день стрекозы, летающей по полям и лугам, среди природных ароматов. Надо до следующего визита обязательно сходить, а то мать обидится.

Мысль мелькнула и исчезла вслед за людным проспектом — Ветер свернул в переулок.

Федеральная служба безопасности размещалась в обычном типовом строении для небольших ведомств: двор с распахнутыми воротами, в глубине поросший травой холм, склоны которого светятся окнами — будто многоглазое чудо-юдо.

На спортивной площадке, в белом искусственном сиянии ламп, азартно рубились в пинг-понг два сорокалетних разгильдяя — Макс и Рекс из АЦ, Аналитического Центра.

Заметив директора, Макс крикнул:

— Привет, Карл!

Рекс, коротко оглянувшись, махнул рукой.

— Работнички, — сурово сказал Ветер, проходя мимо. Разгильдяям нужно постоянно напоминать, что они разгильдяи, — теоретически это должно поддерживать в них правильный градус виноватости. Хотя виноватыми молодые люди не выглядели.

Предшественник Карла брал на работу в АЦ маньяков, обожавших возиться с аппаратурой. Они там что-то без конца налаживали и совершенствовались, отчего отдельные блоки без конца ломались или находились на профилактике. Ветер же нарочно взял лентяев. У них машины всегда были в полном порядке, а если ломались, Макс с Рексом быстренько устраняли неисправность и бежали играть в пинг-понг, к бильярдному столу или на баскетбольную площадку, устроенную на месте бывшей стоянки для спецтранспорта.

Были времена, когда ФСБ была крупной конторой, где работали тысячи людей. Но за последние десятилетия многое переменялось.

Первым, еще в прошлом веке, был упразднен Следственный департамент. Система СПАС с ее профилактикой психического здоровья и социальных аномалий постепенно искоренила преступность, что, с одной стороны, было прекрасно, однако имело и свои минусы, в чем сейчас убедился злосчастный директор, не имеющий понятия, как взяться за расследование убийства.

Давно исчезла Мобильная полиция, обученная молниеносно реагировать на любые опасные ситуации, при необходимости используя силу. Опасных ситуаций больше не возникало, а те, что происходили — аварии или стихийные бедствия, — перешли в ведение Службы спасателей.

Двадцать лет назад распустили Департамент контрразведки. Правительство решило, что он больше не нужен. Чем больше главный оппонент, Южно-Атлантическая Империя, будет знать

о планах и реальной жизни Евразийской Федерации, тем лучше. Большинство конфликтов и войн в истории возникали из-за недостаточной осведомленности о противнике и ошибочной интерпретации его действий.

Департамент разведки сократили уже на памяти Карла Ветра — за счет отказа от заграничной резидентуры. Раньше ФСБ тратила много времени и средств на внедрение секретных агентов, которые жили вдали от родины, добывая информацию о кознях врагов. Эти самоотверженные люди вели тяжелую жизнь в неприятном окружении, иногда «проваливались», гибли. Правительство решило: хватит. Во-первых, Империя перестала быть опасной. А во-вторых и главных, очень развилась техника дистанционного наблюдения, всеохватывающего и не связанного с риском.

Ею ведает один из трех сохранившихся в ФСБ департаментов — Внешний. Присмотр за Империей — его основная задача. Наблюдение ведется орбитальными космическими аппаратами и «телеперископами», тайно размещенными в стратегически важных точках чужой страны, в том числе в императорском дворце, в министерстве обороны, в генеральном штабе, на военных объектах и так далее. За нейтральными странами тоже присматривают, но в гораздо меньшем объеме, а государства, заключившие с ЕФ союзный договор, от негласного надзора освобождаются.

Во Внешнем департаменте шесть «профилей»: военный, политический, научно-технический, персональный (этот ведет наблюдение за иностранными деятелями, требующими особенного внимания), аварийный (на случай какой-нибудь технической катастрофы, представляющей угрозу для всей планеты) и космический (для наблюдения за иностранными летательными аппаратами). В каждом «профиле» по три инспектора, работающих посменно. Если наблюдающее устройство

регистрирует нечто тревожное или примечательное, инспектор вникает в суть дела и принимает решение сам либо докладывает начальнику департамента. Этим девятнадцать сотрудников вполне хватает, чтобы присматривать за порядком на планете.

Внутренний департамент и того меньше, всего три «профиля»: аварийный, транспортно-коммуникационный и персональный — последний приглаждает за психически проблемными соотечественниками, вернее за датчиками, реагирующими на нервное возбуждение объекта.

И еще есть Аналитический Центр — зал, набитый умными машинами и обслуживаемый двумя гениальными лентяями.

Вот и вся Федеральная служба безопасности. Плюс директор и, конечно, главный человек всякого солидного учреждения — администратор, в обязанности которого входит превращение места работы в земной рай, где каждому хорошо и комфортно, так что не хочется уходить домой.

Опытные администраторы нарасхват, ведомства и частные компании переманивают их друг у друга. У Карла администратор был просто чудо. То есть, не был, а была.

— Привет, Карл, — сказала Марта. — Я клюквенный кисель сварила. Обалденный! Будешь?

Она еще и прекрасно готовила, любила это занятие.

— Потом.

Марта семенила рядом, подстраиваясь к его быстрой походке.

— Макс с Рексом требуют поставить во дворе скалолазную стенку.

— Зачем?

— Не знаю. Лазить. Что ответить?

— Ответь: «Шиш вам».

— А я бы поставила. Ребята на работе практически живут. Жалко тебе, что ли?

— Ну поставь. Что ты меня спрашиваешь? У тебя бюджет, вот и распоряжайся... Мика на месте?

— Где ж ему быть? — удивилась Марта. — У себя. Дрыхнет. Дома у него близняшки орут, не поспишь.

— Если что, я у Дельфина.

Мика Дельфин был друг и начальник Внутреннего департамента. Имя он сохранил детское. Морскую фамилию взял, потому что всегда увлекался дельфинами. По образованию и опыту он был инженер лингвоаналитических машин: это такие устройства для автоматического перевода с языка на язык. Мика исследовал методы общения с дельфинами — большое, перспективное дело. Раньше он и Карл вместе работали под водой. Потом Ветер перешел в ФСБ и перетащил друга за собой. Мика не хотел, упирался, но он был слабый, чем Карл всю жизнь беззастенчиво и пользовался.

Сам-то Ветер был упрям, всегда поступал по-своему. Он не только отказался искать любовь через «Соску», но и стезю себе выбрал без подсказки. К Системе за помощью обращаться не стал. Потому и промахнулся с выбором первоначальной профессии, но никогда об этом не жалел. Любил повторять, что только ошибки делают жизнь полноценной.

После лица Карл не пошел учиться дальше, в университет, а поступил в школу подводного плавания. Он очень любил море и верил (ошибочно), что правильная специальность — та, при которой увлечение совпадает с работой.

Ерунда, конечно. Человек должен работать и должен отдыхать от работы. Смешивать два этих занятия нельзя. Периоды напряжения следует чередовать с периодами релаксации, иначе быстро выдохнешься и потеряешь вкус к жизни. Работа обязательно должна быть трудной. После нее

нужно чувствовать себя выпотрошенным и опустошенным. А когда день за днем порхаешь золотой рыбкой по волшебным морским глубинам, то непонятно, от чего отдыхать и о чем мечтать.

Поумнев, сорокапятилетний Карл перешел на самую тяжелую службу, какая только существовала в Евразийской Федерации — ЦУК, Центр урегулирования конфликтов. Там вечно не хватало кадров, очень уж нервное дело.

Вот вроде бы благополучное, по уму устроенное общество. Все сотрудники делают общее дело, собачиться не из-за чего. Как бы не так. Между собой конфликтуют ведомства и частные фирмы, соседи и коллеги, супруги и соперники в любви, наконец, просто люди с паршивым характером. Есть несколько инстанций, куда могут пожаловаться частные лица и организации, неспособные спокойно договориться. Сначала обращаются к мировому посреднику, потом в суд, а если совсем Ватерлоо-Бородино, тогда идут в ЦУК — это называется «цукаться».

В ЦУКе молодой Ветер насмотрелся на изнанку жизни, узнал человеческую природу со всех сторон.

Обычно ведь как? Все вежливые, улыбочивые, стараются быть приятными. А сколько за этим иногда таится раздражения, внутренних комплексов!

Работник ЦУКа должен понять каждого, ничего не упустить и быть в своем решении безупречным. Человек может уйти, недовольный решением, но ни в коем случае не оскорбленный и без ощущения несправедливости.

Руководил ЦУКом Максим Львович Старицкий, это была его последняя служба, прежде чем он ушел в отставку и стал членом Совета Старейшин. Всему, что Карл знал про жизнь, он научился, когда работал у Максима Львовича личным помощником. Ни за что не ушел бы от такого человека, находиться рядом с которым было просто счастьем. Но однажды шеф вызвал его и сказал:

— Карл, ты не на своем месте. Мне приятно с тобой работать. Я привык к тебе. Я тебя ценю и люблю. Выражаясь по-старинному, ты стал мне как сын. Но держать тебя при себе — с моей стороны эгоизм. Мы будем дружить, ты будешь часто приходить ко мне в гости, но человек должен заниматься тем, к чему у него призвание. Обращаться в СПАС за рекомендацией ты не хочешь — твое право. Но я думал про тебя. У тебя весьма необычное сочетание пристрастий и фобий. С одной стороны, ты ненавидишь рутину. С другой — терпеть не можешь непредсказуемостей, стремишься, чтобы всё в жизни было под контролем. При этом по-настоящему ты оживляешься, только когда возникает кризис и его нужно купировать с максимальной скоростью и наименьшими затратами. В прежние времена тебе следовало бы носиться на пожарной машине с насосом и тушить огонь. Ну, а в современной действительности... Иди работай или кинематографическим продюсером, или в ФСБ.

Ветер, конечно, сунулся на киностудию, но не устроился — слишком много желающих. Зато в ФСБ его взяли сразу. И там он наконец почувствовал себя на своем месте. Не так давно, из любопытства, загнал-таки свои данные в СПАС, и Система выдала заключение, где на первом месте значилось: «Рекомендуется деятельность, связанная с управлением сложными, высокотурбулентными структурами — в федеральном правительстве или структуре национальной безопасности».

А не был бы дурак — прошел бы тест четырьмя десятилетиями раньше и достиг бы в своей профессии большего.

Хотя и так грех жаловаться. За десять лет из рядового инспектора дорос до директора. Правда, и ведомство сильно усохло — главным образом благодаря усилиям самого Карла. Это он

оптимизировал и рационализировал структуру ФСБ до нынешнего алгоритма, лаконичного и эффективного.

Мика Дельфин в самом деле спал, положив ноги в стоптанных башмаках на стол. С толстой нижней губы свисала слюна, короткий нос уютно посапывал.

У Дельфина дома — большая редкость в Евразии — не переводились дети. Его жене нравилось ходить беременной и рожать. Мика говорил, что обожает возиться с пеленками и бутылочками, вдыхать запах грудничков, рассказывать малышне сказки. Одни дети подрастали и отправлялись в пансион, вместо них появлялись новые. По выходным и на каникулы у родителей собирались все дельфинята — не то девять, не то десять отпрысков, самый старший уже на четвертом десятке, мужчина.

— Эй, хватит дрыхнуть.

Карл бесцеремонно потряс помощника за плечо.

Тот потянулся, сладко зевнул.

— Венулся?

Мика не выговаривал букву «р», но не спотыкался на ней, а просто ее игнорировал. — Азнюхал что-нибудь полезное? Гушу хочешь?

И сам цапнул с блюда грушу — он всегда что-нибудь жевал.

Дельфин был настоящим сокровищем. Время от времени начинал угрожать, что однажды вырвется из Карловых щупалец и наконец займется настоящим делом: закончит словарь языка *Cephalorhynchus hectori*^{*}, но друзья не могли жить друг без друга. Во всяком случае Ветер без Мики точно не мог.

Это Дельфин изобрел инфосепаратор, позволивший Аналитическому Центру выделять

* Дельфин Гектора (лат.).

из миллиона единиц информации только ту, на которую должен обратить внимание инспектор. Дельфин же разработал ЛП-9, очень облегчивший работу профиля, который присматривал за проблемными жителями страны. Локатор перемещений, или «липучка», — это почти невидимый прозрачный датчик, который очень легко прицепить к человеку, и потом можно наблюдать за всеми его передвижениями. На каждом из 328 психически неблагополучных «клиентов» Внутреннего департамента присобачена такая «липучка», в большинстве случаев негласно, по рекомендации СПАСа.

— Я тут не все время спал, — важно поднял палец Мика. — Я изучал историю киминалистики и думал о нашей головоломке. Собиаюсь почесть тебе небольшую лекцию.

И стал говорить, что исторически существовало три типа уголовных преступников. Во-первых, социогенные, то есть продукты ненормального общественного устройства. Во-вторых, жертвы дурного воспитания. В-третьих, личности с психологической или психической патологией. Первая и вторая категории в ЕФ невозможны. Остается только третья. Это люди, по своей природе склонные к нарушению установленных правил; с садистскими инстинктами; с болезненной жадностью риска — и наконец, маньяки. Поскольку в Первой статье Конституции написано: «Всякая личность драгоценна и незаменима», СПАС находит место в обществе для каждого, даже для моральных и умственных инвалидов. Из садистов, например, получают отличные хирурги. Из разрушителей — деструкторы (специалисты по разрушению вышедших из употребления построек). Из бунтарей и ниспровергателей — люди искусства и изобретатели. Из мизантропов — летчики для одиночных космических полетов. И так далее. А что касается психиатрических, то те, кто может быть опасен и на кого не действуют медикаменты,

все под наблюдением и в период обострения сразу изолируются.

— Ты давай, к делу переходи, — поторопил лектора Ветер. — Уезжая, я оставил тебе техзадание: еще раз проверить твоих «клиентов» по четырем параметрам. Первое: тот, кого мы ищем, имеет профессиональные навыки конспирации и уничтожения следов. Второе: он мог совершить аналогичное преступление тринадцать лет назад. Третье: у него патологический интерес к заслуженным сеньорам. Четвертое: он испытывает какую-то странную ненависть к человеческому телу — может его сжечь, расчленить...

Мика кивал, после каждого пункта выкладывая на стол из карманов всякую чепуху: на первый пункт — ключ от дома, потом расческу, конфетный фантик и, наконец, с некоторым удивлением, детскую соску.

— Хм. Как она сюда попала? Маленькие дети такое счастье. Тебе этого не понять, — буркнул он, поймав красноречивый взгляд начальника. — Я, конечно, всех еще аз попустил чеез машину. Выловил двоих.

Карл оживился:

— Так-так.

— Есть у меня один пиоманьяк...

— Кто?

— Любитель огня.

— Ага, пироманьяк.

— А я что сказал? Жжет всё подъяд. Аботал фокусником в цике...

— Где? А, в цирке.

— Да. Значит, ловок. Уволился, потому что не пизнавал над собой никакого начальства. Говоиц, что все автоитеты дутые. Тьинадцать лет назад находился здесь, в столице.

Четыре предмета один за другим выстроились в ровную линию.

— А где твой пироманьяк был 20 сентября, во время убийства Старицкого?

— Сейчас посмотрю.... — Дельфин включил экран, поколдовал над кнопками. — «Липучка» показывает, что в это время он находился в Язани. СПАС напавил его на аботу по склонности: на завод по сжиганию мусоа.

— Тогда на кой ты мне морочишь голову своим пироманьяком? — свирепея, спросил Ветер. — У него же алиби.

— Это что такое?

— В словаре потом посмотришь. Второй у тебя кто?

Надувшись, Мика что-то проверил по системе и буркнул:

— Никто.

Должно быть, второй подозреваемый был такой же — с железным алиби.

— Ясно. Слушай, ты можешь проверить, нет ли у тебя среди «клиентов» людей с монголоидным разрезом глаз?

— Сейчас... Есть. Двенадцать человек. Два калмыка, один якут, один буют, два коейца, кигиз...

— Показывай всех! — перебил Ветер.

Жадно придвинулся к экрану, но скоро сник.

Никого похожего на Ван Мыня.

Он объяснил про исчезнувшего китайца и задал следующий вопрос:

— Как найти человека-невидимку, который существует или во всяком случае существовал тринадцать лет назад, но неизвестен Системе? Не понимаю, как можно жить в ЕФ, не имея личного номера? Ничего не купишь, никуда не поедешь, не воспользуешься ни одной услугой...

— Так же, как делали шпионы Импеии, пока мы их всех не пееловили, — предположил Мика. — С помощью фальшивых «пальцев».

Восемь лет назад Дельфин и ребята из АЦ запустили в Систему новую проверку, способную

сопоставить все денежные выплаты с зарегистрированными отпечатками пальцев, и оказалось, что по стране разгуливает восемнадцать «призраков», которые пользуются кассаторами, хотя на самом деле никогда не появлялись на свет. Оказалось, что инженеры Империи научились фальсифицировать коды и дактилоскопию. После этого всех шпионов, разумеется, очень быстро выловили и выслали домой — безо всякой контрразведки, к тому времени уже упраздненной.

— Знаешь что... — Ветер задумчиво потер переносицу. — Сделай-ка тотальную проверку на «призраков» еще раз. Сколько тебе понадобится времени?

— А когда надо?

— Завтра в десять утра я докладываю на Совете Старейшин о ходе расследования. Успеешь?

— Успею. Заночую на аботе, — с готовностью заявил Дельфин. — Ты только сам Нине позвони. Скажи: сочное задание, производственная необходимость. А Мика, скажи, посидит с близнецами потом. Завта.

Карл ехидно ухмыльнулся:

— Говоришь, маленькие дети — счастье?

НА СОВЕТЕ СТАРЕЙШИН

В повестке заседания отчет с туманным названием «О некоторых вопросах деятельности ФСБ. Докладчик К.Ветер» значился последним пунктом. У Совета Старейшин имелись дела помасштабнее.

Этот орган вообще мелочами не занимался. Он состоял из пятнадцати членов: по одному представителю от каждой из десяти республик, и еще пятеро старейшин избирались всей Федерацией. Люди штучные, заслуженные, прославленные. Девять — бывшие регуляторы, два деятеля

культуры и четверо ученых (после смерти Максима Львовича осталось трое). Всем, кроме одного, писателя Аврелия Бесконечного, уже за сто двадцать. Членство пожизненное, но на практике, готовясь к эвтаназии, утомившийся от лет старейшина добровольно уходил в отставку. Ну, или кто-нибудь скоропостижно умирал, как Старицкий, — но, конечно, не настолько экзотическим образом.

Совет не вмешивался в повседневную работу государственных органов и ничем не руководил, но, согласно Конституции, мог наложить вето на любое правительственное постановление, даже если таковое одобрено Парламентом. В истории подобное, правда, случалось только однажды — девяносто лет назад, когда депутаты захотели внести поправку в Основной закон, чтобы великий реформатор Щупов смог избраться регулятором на третий срок. Вся страна тогда ужасно разозлилась на упрямых ретроградов, потому что не представляла, как будет жить без Садовника. Но старейшины не поддались. Государством должны управлять не великие люди, а великие принципы, заявили они. И, конечно, были правы — для своей эпохи. С появлением СПАСа вопрос об ограничении полномочий регулятора отпал сам собой. Система бесстрастно и математически выбирала из ста миллионов сотрудников самого подходящего, и спорить с этой рекомендацией никому не приходило в голову.

Нынешний регулятор Степан Ножик, например, занимал свой пост уже в третий раз. Это был человек незаурядный. Первый раз Система назвала его имя, когда Ножику едва исполнилось семьдесят — он стал самым молодым регулятором в истории Евразии. Удивляться, впрочем, нечему. Ножик и в детстве был вундеркиндом. Он окончил лицей в двадцать лет; к совершеннолетию имел два университетских диплома. Тогда же, в канун

тридцатилетия, сделал себе гормональную блокаду, чтобы не отвлекаться от работы на романтические связи и семью. Отработав первый срок, долгое время директорствовал в СПАСе, введя в работу Системы множество усовершенствований — он был не только блестящим администратором, но и выдающимся ученым. Девять лет назад Ножик снова попал в регуляторы, а пятилетие спустя, небывалый случай, Система назначила его снова, второй срок подряд — по общему счету третий. Притом всего девяносто два года человеку, даже зубы у него, судя по желтоватости, еще собственные.

Мало кто сомневался, что потомки назовут Ножика, подобно Садовнику, великим. Новшество, которое Степан разработал и сегодня в очередной раз пытался провести через СС, было не столь громоздким, как идея Оранжереи, но, пожалуй, не менее грандиозным. Речь шла о деле не просто дорогостоящем и технически сложном, а о новой национальной идее. Осторожные старейшины сомневались, раз за разом возвращали проект на доработку. Настойчивый регулятор исполнял все требования и понемногу увеличивал число сторонников. Скептически все к проекту «Ангел» относился покойный Старицкий, но сегодня обсуждение проходило уже без него...

Карл скромно сидел у стенки, рядом с министром иностранных дел, который собирался убеждать старейшин принять в Федерацию скандинавов (те подавали заявку уже в третий раз). Докладчики ждали своей очереди. Старейшины пока внимали рационально-эмоциональному выступлению регулятора.

Ножик был оратор, что называется, от бога. Когда он говорил, хотелось смотреть и слушать не отрываясь — будто замороженно глядишь на жарко похрустывающий огонь в камине.

Голос у регулятора был глубокий, вибрирующий, жестикуляция энергичная, сияющий взгляд излучал почти магнетическое сияние. Произносить речи Ножик умел очень по-разному. Обращаясь к народу с экрана, был прост и серьезен — известно, что народ не доверяет руководителям, которые много улыбаются и шутят. Сейчас же, апеллируя к старейшинам, приправлял важные тезисы аккуратно рассчитанными дозами юмора — пожилые люди смешливы и лучше воспринимают аргументацию, если она подается не единым массивом, а дискретно.

Ветер много читал и слышал о новом проекте — вся страна обсуждала его уже второй год.

Степан Ножик предложил дополнить СПАС новым компонентом «Ангел-спаситель», или просто «Ангел». Эта реформа должна была коренным образом изменить не только главное назначение всей Системы, но и самую жизнь страны.

СПАС — это сложный комплекс счетно-аналитических машин. Именно *машин*, то есть устройств, управляемых и регулируемых людьми. «Ангел» же будет устроен принципиально иначе. Это своего рода сверхмозг, гибкий и живой, способный не только самостоятельно обновлять информацию и заменять свои устаревшие «клетки», но и в определенных случаях принимать молниеносные решения, даже проявлять инициативу. Самое главное — «Ангел» будет связан с каждым сотрудником страны напрямую, через крошечную пластинку, которая зашивается человеку под кожу в области затылка. Контакт с «Ангелом-спасителем» не прерывается никогда. Он будет знать про тебя всё, будет полностью осведомлен о твоих обстоятельствах и проблемах. Человек постепенно обзаведется навыками общения со своим верным опекуном, научится с ним мысленно разговаривать, а новые евразийцы, которым пластинка будет вживляться прямо с рождения, вероятно,

обогатятся неким «шестым чувством», которое станет для них не менее естественным, чем зрение или слух. (Вот оно — то, о чем говорил чеховский Тузенбах, вдруг подумал Карл, слушая, как регулятор живописует выгоды обладания «шестым чувством».)

— ...Это самый настоящий ангел, спаситель и хранитель, который никогда тебя не покинет и всегда придет на помощь, — говорил Ножик, ходя по комнате и умудряясь заглядывать в глаза каждому из присутствующих. — Тебе угрожает опасность, о которой ты не подозреваешь? «Ангел» предупредит тебя. Что-то не так с организмом? «Ангел» направит тебя к врачу раньше, чем ты ощутишь первые симптомы болезни. Не знаешь, как поступить в трудной ситуации? Подскажет. Да господи — просто хочешь найти адрес в незнакомом месте или заглянуть в энциклопедию? Задай вопрос своему «Ангелу», мысленно. И немедленно получишь ответ.

Последовала короткая, тщательно рассчитанная пауза, чтобы слушатели могли представить все перспективы.

Старейшины призадумались. Карл тоже — и не сказать, чтобы только о приятном.

Регулятор словно подслушал его сомнения:

— Журналисты и публицисты много пишут о том, как это неуютно: находиться под постоянным наблюдением. А как же, мол, приватность? При этом, хоть прямо никто этого не говорит, имеется в виду следующее. У каждого человека бывают мыслишки и делишки, которые лучше не афишировать. Всякий, кто крутит роман с чужой женой, увлекается порнографией или любит взять да слопать ночью полбатона ситного с маслом, тут же начинает ёжиться и переходит в лагерь противников «Ангела».

Старейшины засмеялись.

Но регулятор опять посерьезнел:

— Однако штука в том, глубокоуважаемые сотрудники и сотрудницы, что «Ангел» не способен тебя ни за что осуждать. И он ни с кем не поделится тем, что он о тебе знает. Он — твой друг. Верный и вечный, до гроба. Он *за тебя*. В любой ситуации, всегда. Если ты влюбился в чужую жену, он тебе поможет ее соблазнить. Захочешь нарушить диету — подскажет, как сделать бутерброд вкусней. Когда я объедаюсь своей любимой яблочной пастилой, мой мозг укоряет меня: ай-я-яй, Стёпа, хватит, остановись. — Смех в аудитории. — «Ангел» укорять меня не будет, но если на втором кило пастилы у меня подскочит сахар в крови — я немедленно об этом узнаю... Механизм общения человека с «Ангелом» такой: от тебя поступает информация-ламентация-апелляция, обратно идет ответ-совет-привет.

И снова серьезно:

— Не будем забывать и о том, что для развития стране необходима объединяющая идея. Оранжевая для этого больше не годится. Она уже построена, она перестала быть целью. Я предлагаю вам взглянуть на проект «Ангел» именно с этой точки зрения. Речь идет не более и не менее как о скачке в эволюции человека. В перспективе — всего человечества. Нас, живущих в этой стране, а когда-нибудь и всех жителей Земли, будет объединять единый источник информации и доброй воли. Мгновенное оповещение о чем-то важном или общепланетный опрос станут обыденным событием. Но еще важнее то, что никто и никогда не будет чувствовать себя одиноким и заброшенным! Да у меня просто не хватает воображения представить все потенциальные возможности «Ангела»! Они наверняка будут развиваться и обогащаться в зависимости от потребностей человека и новых технических возможностей. Это будет принципиально иной уровень как личного, так и общественного существования!

Поднял руку академик Латышев.

— На прошлом заседании покойный Максим Львович говорил о своих сомнениях и обещал сформулировать их письменно. Успел он это сделать?

— К сожалению, нет. — Регулятор развел руками. — Я связался с ним по визофону на следующий же день, попросил о встрече. Он засмеялся. Говорит: «Знаю я тебя, Стёпа. Ты меня уболтаешь, обаяешь и охмуришь. Лучше изложу свои соображения на бумаге». Увы. Через три дня... сами знаете, что произошло. Мы об этом поговорим чуть позже. Заслушаем директора ФСБ.

Все посмотрели на Карла. Он слегка поклонился.

— Давайте прямо сейчас, — предложил Абаев, бывший регулятор Татарской республики. — Я все время думаю про бедного Максима Львовича. Никакой «Ангел» в голову не лезет.

Его поддержали и другие.

— Давай, Ветер, выходи, — поманил регулятор, кажется, недовольный тем, что обсуждение проекта прервано. — Рассказывай. Что-нибудь прояснилось?

Ветер коротко доложил, используя терминологию криминалистического учебника, что ФСБ пошло по пути «отсеивания версий» — это звучало солиднее, чем признаться, что результат почти нулевой. Отпала версия, что преступление совершил психопат или социопат; отпала версия с иностранным агентом — «фальшивыми пальцами» в ЕФ никто не пользуется. Следствие сконцентрировалось на версии, что есть связь между убийством Старицкого и делом академика Томберга, погибшего тринадцать лет назад при не менее загадочных обстоятельствах.

— Пойдите, — воскликнул писатель Бесконечный. — Разве Томберг ушел не через эвтаназию?

Ветераны Совета объяснили самому молодому члену про специальное постановление, запретившее предавать факт убийства академика и сожжения его тела огласке.

Ножик взволнованно вскочил с кресла:

— Карл, ты считаешь, что есть связь со смертью Томберга? На каком основании? Неужели это тот же преступник? Ах, если бы его найти!

Возбуждение регулятора было понятно. Тринадцать лет назад он как раз директорствовал в СПАСе, где Томберг был главным конструктором. Вероятно, их связывала такая же дружба, как Карла со Старицким.

— Это пока только предположение. — Ветер заколебался — говорить ли про китайца. Решил, что пока не стоит. — Ко мне в руки попала одна запись... Возможно, удастся зацепиться. Я бы не хотел пока говорить больше.

— Хорошо, — сказал Ножик после паузы, изучающе посмотрев на директора ФСБ. — Тогда перерыв. Выпьем чаю-кофе и потом вернемся к нашему «Ангелу».

В буфете Карл подошел к регулятору, отвел его в сторону.

— Есть важное дело, о котором никому не нужно знать.

— Даже старейшинам? — прищурился Ножик.

— В особенности им... Статья 348-прим.

Регулятор нервно дернул головой.

— Даже так?

Статья 348, пункт 1 «Закона о государственном управлении» гласила, что в случае, если членам правительства, парламента и прочих высших органов страны угрожает опасность, регулятор имеет право принять меры по обеспечению их безопасности, не соблюдая положенные формальности.

— Членов СС нужно взять под негласную охрану. Мне не нравится пристрастие предполагаемого

убийцы к заслуженным сеньорам. Но знать про нашу заботу старейшинам ни к чему. Среди них, сам знаешь, есть люди упрямые, которые ни за что не согласятся. Однако без санкции регулятора мне тут не обойтись.

— Как ты это сделаешь, чтоб они не заметили?

— Прямо сейчас потолкаюсь меж столиков и прицеплю на каждого по «липучке». Обычно мы так делаем с проблемными субъектами, чтобы следить за каждым их шагом. Но сгодится и для охраны. Я посажу специального инспектора следить за четырнадцатью экранами. Если возникнет что-нибудь тревожное — немедленно примем меры.

— Ничего себе! Ты прав. Лучше перестраховаться, иначе еще кто-то может не дожить до эвтаназии... — Ножик поежился. — Чего я не понимаю, так это добровольного ухода. Лично я собираюсь жить вечно... Сделай всё, что нужно. И постоянно меня информируй. ...Погоди! — остановил он двинувшегося прочь Карла. — А ты-то сам что думаешь про «Ангела»? Старицкий с тобой это не обсуждал? Вы же с ним были не разлей вода.

— Не обсуждал. А про «Ангела» я подумал... Вдруг этот суфлер мне что-нибудь шепнет, а я не захочу?

— Не хочешь — не слушайся. Скажи ему: «Отстань, зануда». Он же тебе не начальник. Зато представь... Ну вот, например. Плынешь ты на своем батискафе по дну океана, и вдруг внутренний голос шепчет: «Полундра, Карлик! Дуй на поверхность! Сейчас начнется водотрясение!» Чем плохо?

— Да отлично, — признал Ветер.

— Хочешь плыть дальше — твое дело, твой риск. Я же знаю, ты у СПАСа не спрашивался, какую тебе профессию выбирать. Через «Соску»

подругу жизни тоже не искал. Ну и живи как жил. А большинству людей нужна нянька, без нее они, как слепые котята... Ладно, опричник. Иди, цепляй свои «липучки» и найди мне сукина сына. А я буду агитировать гранд-сеньоров дальше.

ЛЮБОВЬ XXII ВЕКА

Он стоял перед стеклянной стеной и смотрел на Волгу. Река текла вне Трубы, рассекая ее надвое. Коммуникации проходили в туннеле под руслом, а Волга оставалась такой же, как двести и тысячу лет назад. Там была ветреная осень. Вода топорщилась волнами, их сек дождь. Оленьего острова за пеленой было почти не видно.

Вот и катер. Он подпрыгивал, зарывался носом, в обе стороны летели брызги. Работники островной обсерватории, находившейся под открытым небом, могли добраться до берега только допотопным образом, на лодках. Снаружи на элтээске не полетаешь — сдует.

Каролина имела личное плавсредство и всегда ездила на нем одна. Ей была противопоказана работа в коллективе и жизнь с соседями — так вычислил СПАС. Есть люди, которые не любят других людей. Ничего особенного, просто такая психологическая конституция. Каролина говорила, что не любит людей, потому что они быстро и много говорят, а думают медленно и мало. У нее всё было наоборот.

Как-то раз она сказала Карлу, что он единственный, с кем можно общаться в нормальном темпе. Это был первый комплимент, который он от нее услышал. Из двух. Второго Ветер удостоился после продолжительной разлуки — когда вернулся из долгого инспекционного полета (две недели проверяли с Микой состояние аппаратуры на орбитальных станциях). «Мне с тобой лучше, чем без

тебя», — сказала тогда Каролина. Сказала с удивлением, будто сделала для себя открытие, и не очень приятное.

На Оленьем острове она и работала, и жила. Там у нее собственный бокс с телескопом и аппаратурой, изолированная комната, а больше ей ничего не нужно.

Каролина вела наблюдение за далекой планетой Новотерра, на которой есть начатки жизни: океан, огнедышащие горы, сотрясения почвы. Год за годом Каролина пыталась понять, что собой представляют странные прямоугольные объекты, в которых периодически что-то мигает. Вдруг они искусственного происхождения? Ученые еще сто лет назад установили, что в нашей Солнечной системе и на ближней периферии живых планет нет. Тогда же было решено, что тратить слишком большие ресурсы на освоение дальнего космоса нерационально, пока не вполне обустроена жизнь на Земле. Но наблюдение за отдаленными мирами, конечно, все равно велось.

Однажды Ветер спросил Каролину, мечтает ли она о чем-нибудь. Сразу ответила: о телескопе с миллионным коэффициентом и квинтофокусировкой. Вот тогда она точно разглядела бы прямоугольники.

Катер причалил к пирсу. Каролина перескочила на причал, закрепила швартов. Пошла по направлению к тамбуру.

Ветер прижался к стеклу. Каролина смотрела под ноги. Лицо у нее было сосредоточенно-задумчивое, на нем блестели капли дождя.

Распахнулась дверь для пешеходов, снаружи пахло рекой, холодом, небом.

Так же будет пахнуть и Каролина.

— Здравствуй! Дай вытру, — сказал он, делая шаг навстречу и вытаскивая платок.

Ужасно хотелось поцеловать ее мокрую щеку, но делать этого ни в коем случае не следовало. Хоть бы рукой коснуться.

Лицо Каролины на миг будто осветилось. Вспоминая про два комплимента, Карл забыл про этот — бессловесный, но самый драгоценный. Каждый раз при встрече она на него смотрела по-особенному. Потом, конечно, брала себя в руки.

Сейчас тоже оттолкнула платок, буркнула:

— Да ла.

Это означало «да ладно тебе». Каролина шутила, что со временем, когда они совсем привыкнут друг к другу, она станет разговаривать с ним исключительно аббревиатурами. Скажет: «вяхобу», и он поймет: «Ветер, я хочу булочку». «А совсем потом, — говорила она, — мы научимся обходиться вообще без слов и будем только пучить дру на дру глаза, как две ры».

Каролина всегда выражалась очень точно. Она заинтересовала его не с первого взгляда, а с первой фразы. Со второй фразы понравилась. С третьей очень понравилась. С четвертой Карл влюбился. И с тех пор любил все сильнее.

Когда-то у них с Максимом Львовичем был разговор на необычную тему — про любовь. Впрочем, со Старицким они могли разговаривать о чем угодно. Это был единственный человек на свете, которому Ветер не боялся задавать глупые вопросы.

Однажды спросил, что такое любовь. Он тогда как раз понял, что втрескался в Каролину по уши и что это большая проблема.

— Мне кажется, любовь — этап развития человеческой личности, — ответил Максим Львович. — Я имею в виду развитие не физиологическое — пубертат, половой инстинкт и всё такое, а духовно-интеллектуальное. Ты нуждаешься

в любви, когда ты еще в себе не разобрался и ищешь ответы. Внутри их не находишь, потому что пока не умеешь это делать, и тогда начинаешь искать их вовне, в другом человеке. Мужчина влюбляется в женщину, которая, как ему подсознательно кажется, поможет в этом поиске. Зрелость и взрослость означают, что человек наконец в себе разобрался и больше в помощи не нуждается. Тогда и проходит потребность в любви. А наше естество устроено так, что как раз к этому времени исчезает и физиологическая зависимость. Тут-то настоящая полноценная жизнь и начинается.

Ветер выслушал очень внимательно и опечалился. Судя по тому, как действовала на него Каролина, вопросов к самому себе у него накопилось очень много, и все они прямо с ножом к горлу требовали немедленных ответов.

— А впрочем, нашел кого спрашивать, — рассмеялся Максим Львович. — Я вечно пытаюсь всё рационализировать, даже там, где это совсем не нужно. Моя последняя жена, уходя от меня, — девяносто лет назад дело было — обозвала меня «мозг на ножках».

— О чем ты думала, когда шла от причала? — полюбопытствовал Ветер. — Лицо у тебя было такое, словно ты не здесь, а на Новотерре.

Каролина всегда думала о чем-нибудь увлекательном. Вокруг Карла хватало ярких личностей, но по-настоящему интересно ему было только с двумя людьми: с Максимом Львовичем и с Каролиной. Теперь вот только с ней...

Только? Он внутренне усмехнулся. Да если выбирать: всё человечество без Каролины, или одна Каролина, но без остального человечества... Он не позволил себе додумать эту мысль, неприемлемую для директора Федеральной службы безопасности Евразийской Федерации.

— Угадал. Я думала, что до Новотерры двадцать световых дней — больше пятисот миллиардов километров. Я смотрю в телескоп и вижу не то, что там происходит сейчас, а то, что было двадцать суток назад. А оттуда, может быть, кто-то точно так же смотрит на Землю. Вот я иду от причала, а с Новотерры это увидят только двадцать дней спустя. Теперь представь планету, до которой пятьсот или шестьсот световых лет. Цивилизация там более развитая, чем наша, и телескопы у них в сто или тысячу раз мощнее моего паршивого ТА-532. Смотрят они сейчас сюда, но видят не Центроград, а Стеньку Разина, плывущего по Волге на струге...

Каролина была молодая, только сорок восемь. Коротко стриженные черные волосы эффектно отливали ранней сединой. Но стриглась Каролина не для красоты, а исключительно для удобства. Косметику она считала глупостью. Поэтому из-за жизни под открытым небом кожа у нее была обветрена, а губы вечно шелушились.

Все-таки невыносимо хотелось их поцеловать...

— Ну? — сказала Каролина, что означало: куда отправимся?

Обычно после разлуки они гуляли в каком-нибудь малолюдном парке или сидели в полупустом кафе — если Карл не предлагал что-нибудь поинтереснее.

— Поедем ко мне. Хочу тебе кое-что показать.

На стоянке было только одно такси, и к нему уже направлялась другая пара.

Каролина без колебаний перешла на бег и первой открыла дверцу.

Мужчина и женщина оторопели. На лицах у них появились одинаковые растерянные улыбки — именно так обычно реагируют на хамство воспитанные люди.

— Что, съели? — ухмыльнулась им Каролина и помахала Карлу рукой: — Эй, Пассат, шевелись!

Она вечно выдумывала ему всякие ветряные прозвища. То Сирокко, то Трансмонтана, то Зюйд-Вест, то еще как-нибудь.

— Вы, наверное, очень спешите, — предположила женщина. — Ничего, мы подождем другую машину.

— Ага, подождите, — беззаботно бросила нахалка. — Не мусоль, Муссон! Садись.

Красный от смущения, Ветер юркнул в кабину. С одной стороны ему, конечно, было стыдно за Каролину. С другой... Какой же свежестью веет от человека, который никогда не притворяется лучше, чем он есть.

— Все-таки ты жуткая хамка. И перестань звать меня Муссоном, а то я буду звать тебя Мусей.

— Только попро.

Мусей ее звали в детстве — однажды, страдальчески морщась, она про это рассказала. Вот, кажется, единственное, что Ветер знал про ее ранние годы. Расспрашивать было бесполезно.

— А почему ты стала Каролиной? Между прочим, ты знаешь, что это женская форма от Карла? Интересно, что мы с тобой выбрали одно и то же имя, да?

— Потому что Каролина значит «Свободная».

— И Карл тоже? Хм. Странно.

— Странно в шестьдесят девять лет узнать смысл собственного имени? — как обычно, безошибочно поняла она. — Так чего ты от меня хо?

— Я много чего от тебя хо, — искренне признался Ветер. — Очень многого. Но в данном случае совета. Собственных мозгов не хватает.

Советы Каролина всегда давала отличные. Карл подозревал, что она умнее его.

Пока ехали, рассказал про расследование. Со всеми подробностями. Уж кто-кто, а она никому не разболтает.

Дома, едва войдя в прихожую, Каролина внезапно взяла его за ворот, притянула к себе и коротко прижалась щекой к груди.

— Как мне этого не хвата...

Задрожав, он осторожно провел ладонью по ее волосам. Ни на что большее не осмелился. Сердце сжалось, запрыгало, снова сжалось.

— Если тебе нравится меня... касаться. Значит, физически я тебе не противен... Почему же тогда...

У него срывался голос.

Каролина отодвинулась, точным движением приложила палец к его губам, что означало: замолчи.

Палец был твердый, с коротко остриженным ногтем. Не поцеловать его было невозможно.

Она отдернула руку, словно от ожога.

— Опять? Мы ведь уже тысячу раз. Видимо, недоста. Ладно, давай снова.

— Давай, — обреченно кивнул он.

Все равно о расследовании говорить сейчас он не смог бы — когда она так близко, и сердце еще не успокоилось.

— Сначала — шаг назад. А то у тебя взгляд бессмысленный.

Он повиновался.

— Я тебя люблю, Зефир. Никогда не говорила вслух, но ты знаешь...

Каролина нахмурилась, видя, как у него изменилось лицо. Нет, Ветер этого не знал!

— Ну так знай, — опять без слов поняла она. — Это для меня новое. И у меня такое ощущение, что это надолго. Что мы созданы дру для дру. Даже не ощущение. После нашей первой встречи я сделала запрос в «Соску».

— Что?!

— Сто процентов.

— Правда?!

— Да. Мы — те самые две идеально совместимые половинки. Мы вытащили лотерейный билет.

Он затряс головой, чтобы перестала кружиться.

— Почему ты мне про это раньше...

— Потому что всему свое вре. И сейчас оно, кажется, пришло. Я готова. Ты, по-моему, тоже. Закроем эту тему. Чтобы больше к ней не.

— Тему настоящей любви?

— Вот именно: настоящей. А не постельной. Настоящей любви двадцать второго века.

Ветер вздохнул:

— Объясни мне еще раз, почему мы не можем любить друг друга во всех смыслах.

— Только давай, юный Вертер, без страданий. Вопрос первый. Мы хотим иметь детей? Нет.

Он промолчал.

— Дети — единственное, ради чего имело бы смысл спариваться. Но нам они не нужны, мы оба живем слишком интенсивно. Вопрос второй. Когда человек становится зрелым и полноценным? Правильно: когда выходит из гормонального возраста. Мы с тобой собираемся любить друг друга долго. Целый век. Но лет через десять чувственность тебя покинет. А мы привыкнем к физической любви. Я привыкну. И возникнет ощущение потери. Будто мы чего-то лиши. Я ведь застряну в гормональной стадии лет на двадцать дольше тебя. Так давай сразу, с самого начала выведем эту чепуху за скобки. Для нас ее существовать не бу. Мы уже зрелые. И такими останемся. Радуйся, дурак, что я такая нечувственная.

Тогда он осмелился задать вопрос, давно его занимавший:

— И ты никогда ни с кем не...?

Каролина пожала плечами.

— Попробовала, конечно. В юности. Что сказать? Приятно: механическая стимуляция нервных

окончаний, сигнал в мозг, но в сущности ничего особенного. Больше проблем. Овчинка выделки... — Вдруг она рассердилась. — Ладно, Буран. По твоей физиономии вижу, что это все-таки не последний разговор... Тогда на сегодня хва. Идем, показывай свою запись.

Просмотрела раз, другой, третий.

На четвертый сказала:

— Здесь стоп.

Застыл кадр, где лежащий Томберг смотрит на Ван Мыня, которого видно со спины.

— Да, я тоже все время здесь останавливаю. Странное выражение лица.

— Дело не в выражении. Где у тебя тут масштаб?

Он показал на кнопку.

Каролина увеличила картинку до предела. Теперь весь экран был занят глазом академика.

— Смотри. Что это?

Ветер вгляделся.

— Отражение. Китаец что-то ему показывает... Помнишь про «лягушонку», да? Эх, рассмотреть бы. Черт, мелко!

— Для тебя мелко, для меня нет. — Каролина распрямилась. — Давай мне пластинку, Тайфун. Запущу ее в телескоп. Двухсотпятидесяти тысячного увеличения и квадрофокуса, я думаю, для этой цели хватит.

— Каролина, я тебя люблю, — потрясенно молвил Ветер. — Ты, конечно, мозг на ножках. Но какой!

ВСЁ РАЗЪЯСНЯЕТСЯ

На следующее утро, приехав на работу, Ветер увидел, что у двери его кабинета топчется взволнованный Дельфин.

— Я нашел его! Вдуг осенило, стал искать, и...

— Китайца?! — подался вперед Ветер, забыв, что ничего не говорил помощнику про Ван Мыня.

— Почему китайца? Какого китайца? Я нашел убийцу!

— Где?

Мика потыкал себя в лоб:

— Здесь, в глубинах интеллекта. Мне пишло в голову пеешестить кандидатов в клиенты.

— Перешерстить? — не сразу сообразил Карл. — Каких еще кандидатов?

— Я собиаю данные на людей, котоые пока еще ничего на натвоили, но обатили на себя внимание Системы и были отпавлены на дополнительное обследование. Я сидел всю ночь, посматьивал матеиалы. Погляди, что я нашел...

Мика торжествующе повел Карла внутрь, где в проектор уже была вставлена визозапись. С неподвижного кадра смотрел юноша или, может быть, молодой мужчина с нервным лицом и воспаленным взглядом.

— Некто Данко Сен-Жюст. Откуда имя «Данко» не знаю, а Сен-Жюст, если ты помнишь, был одним из самых молодых вождей Фанцузской Эволюции. Возраст тут имеет значение, сейчас поймешь... Записан азгово с психологом. Слушай...

Он нажал кнопку.

Ровный, приятный голос (психологам такой ставят специально) спросил:

— Так все-таки, чем тебя не устраивает меритократия, Данко?

Лицо молодого человека пришло в движение.

— Потому что это обман! Красивый термин! На самом деле у нас в стране не меритократия, а геронтократия! У кого больше бюлей, тот всё и решает! А больше бюлей у тех, кто дольше живет! Вот и выходит, что обществом распоряжаются старики!

— Не старики, а сеньоры. Зрелые люди.

— *Перезрелые!* В них уже иссякли все жизненные соки! Они ничего не хотят, ничего не могут! Ты посмотри, какого возраста все наши министры и депутаты! Ни одного, кому меньше девяноста лет! А ужасней всего, что мы заложники полудохлого Совета Старейшин! Ни одно важное решение не принимается без согласия этих мафусаилов, этих сушеных мумий! Меня трясет, когда я вижу по радиовизору эти морщинистые рожи!

— Старики были раньше, пока человек не научился правильно жить, — спокойно возразил психолог. — Тогда у дряхлеющего человека ослабевала мозговая деятельность, сейчас же она с возрастом только развивается. Чем ты старше, тем ты мудрее. Обществом и государством должен управлять не тестостерон, а разум и опыт.

Мика поднял палец: внимание!

— Да ты знаешь, сколько лет самой древней из этих мумий, Львовичу-Старицкому? — выкрикнул Данко. — Он родился в середине XX века. *Двад-ца-того!* У него от старости башка задеревенела! Деревянная башка решает, чего мне делать и чего не делать!

Тут Дельфин затряс пальцем: сейчас, сейчас!

— ...Пилой отпилить такую башку! Топором оттяпать! Вместе с ее фальшивыми зубами и синтетическими глазами!

Нажав на кнопку, Мика остановил запись.

— Дальше он п'о дугое, неинтеесно. Но обрати внимание на дату. Эта беседа состоялась за месяц до сме'ти Стаицкого.

Дельфин покровительственно похлопал начальника по плечу.

— Только не говори, что я гений. П'осто поклонись в пояс, этого будет достаточно.

Карл смотрел на юное, без единой морщины лицо геронтофоба, застывшее на экране.

— Сколько ему лет?

— Сейчас посмотрю... Двадцать семь. Двенадцатый класс лица. А что?

— Идиот ты, а не гений! Сколько ему было лет во время убийства академика Томберга? Твой Робеспьер еще под стол пешком ходил!

Мика сник.

— Да... Я так ободовался, что совсем забыл п'о Томбега... Но согласись, этот тоже очень подоз'ительный.

— Сам ты подозрительный! Шерлок Холмс из тебя, как из какашки звездолет!

Помощник обиделся:

— Сам ты! Хоошего человека Калом не назовут.

Открылась дверь.

На пороге стояла Каролина.

В первый миг Ветер просто обрадовался — тому, что видит ее. Потом понял: она что-то выяснила, что-то очень важное. Каролина никогда раньше к нему на работу не заезжала.

— Поговорим, — сказала она, выразительно покосившись на Мику. — Вдвоем.

Тот с любопытством пялился на неожиданную гостью и, конечно, выходить не собирался.

— Мика Дельфин, гений, — сказал он. — Очень пиятно. А ты кто, пекасная незнакомка?

Каролина молча показала ему направление движения: в коридор.

— Иди, иди, — подтолкнул приятеля Ветер. — Потом познакомитесь. Дай нам поговорить.

От двери, из-за Каролининой спины Мика показал большой палец, закатил глаза, облизнулся и лишь после этого удалился.

— Что-то срочное? — спросил Карл, сдерживая волнение.

— Да.

— Почему не позвонила?

— Сам поймешь.

Она подошла к проектору. Вынула Микину пластинку, вставила другую — ту, которую вчера ей дал Ветер.

Он встал рядом.

— Получилось?!

— Да.

— И что отражается в зрачке Томберга?

— Не что, а кто. Смотри. Я сняла для тебя процесс увеличения и фокусировки...

Лицо лежащего Томберга сначала расплылось зернистым пятном, потом из точек образовался большой круг — зрачок. Внутри него, бликуя, темнел силуэт. Изображение опять замутилось, экран потемнел. Вдруг проступил контур: человеческая голова, плечи. Картинка закачалась, выравниваясь.

— Убираю искажение за счет выпуклости, — пояснила Каролина.

— Это не Ван Мынь! — воскликнул Ветер, жадно наблюдая за тем, как проступают черты. — Это вообще не китаец... Глаза не раскопые... Погоди... Это же... — Он схватился за ворота и не договорил.

С экрана, опустив взгляд, будто сверху вниз, на него смотрел Степан Ножик, только не бритый, а с гладко расчесанными волосами.

Карл вспомнил, что брить голову регулятор начал во время своего второго срока, а тринадцать лет назад щеголял черной, без единого седого волоска шевелюрой, подчеркивая свою молодость.

— Что это значит? — растерянно оглянулся Ветер на Каролину.

Она была невозмутима.

— Думай.

— Томберга убил... Ножик? Но... зачем?

— Думай, — повторила Каролина. — Я уже. Разжевывать не бу.

Тринадцать лет назад Ножик был директором СПАСа, где Томберг состоял на должности

главного конструктора. Потом Степан какое-то время совмещал оба поста. Пока СПАС не выбрал его регулятором...

Ветер ахнул.

— Понял? Тогда ответь мне на технический вопрос. Возможно ли манипулировать Системой? В случае, если она находится под твоим единоличным контролем?

— Я не знаю... — прошептал Карл. — Такая возможность никогда никому... Главное — зачем?

— Не будь идиотом, Ветрило. СПАС дважды, подряд, выбрал Ножика регулятором. И очень возможно, выберет еще. Теперь ведь ограничение двумя сроками снято.

— Я не знаю, — повторил Карл. — Никто не разбирается в СПАСе так, как Ножик... Он и сейчас курирует разработку «Ангела», не вылезает из инженерного центра... — И вскрикнул: — Черт! Максим Львович единственный в Совете возражал против «Ангела»! И единственный, кто мог остановить проект!

Каролина подняла ладонь, что означало: успокойся и сосредоточься.

— Смотри, что получается. Тогда, тринадцать лет назад, на пути Ножика к полному контролю над Системой стоял Томберг. Сейчас препятствием являлся Савицкий.

— Но... зачем отрезать голову?

— Понятия не имею. Кажется, «Ангел» каким-то образом имитирует или даже использует структуру человеческого мозга? Может быть, не только методологически, но и, не знаю, биологически? Я совсем в этом не разбираю.

— А... зачем? — тупо повторил Ветер всё тот же вопрос. — Ради чего совершать такие ужасные вещи?

— Ты книжки в детстве читал? Исторические? Про то, как честолюбие и жажда власти толкали

!!!

всяких там Наполеонов и Сталиных на злодейства. Почему мы так уверены, что, сделав жизнь удобнее и приятнее, мы до конца изменили человеческую натуру?

Карл вдруг вспомнил выражение лица Ножика, когда тот сказал: «Лично я собираюсь жить вечно».

И вдруг увидел мир, совсем не похожий на нынешний.

Мир, в котором СПАС раз за разом выбирает одного и того же регулятора. И никто в стране не возражает. Потому что у каждого сотрудника и каждой сотрудницы в голове сидит добрый ангел и убеждает, что это хорошо и правильно. Черт знает этого ангела, что он будет нашептывать еще. И о чем будет докладывать в Систему. Может быть, читать мысли и доносить о них? Один Ножик знает, какими возможностями на самом деле будет обладать его изобретение...

На лбу выступила испарина.

Неужели вся мучительная эволюция человеческого рода, все свершения и жертвы, все благородные порывы и великие прорывы, все подвиги были для того, чтобы на Земле установилась невиданная прежде диктатура — диктат, идущий из собственного мозга? Неудивительно, что Максим Львович с его мудростью возражал против проекта «Ангел»! Он не знал о том, что Ножик убийца, но что-то почувствовал, что-то заподозрил своей мудрой, своей бедной, обреченной головой!

— У Ножика ничего не выйдет, — твердо сказал Ветер. — Это прямая угроза национальной безопасности. На такой случай закон предоставляет директору ФСБ особые полномочия. А те, которых закон не предоставляет, я возьму сам. Немедленно соберу экстренное совещание всех департаментов.

— Нельзя. — Каролина оглянулась на дверь. — Ты не понимаешь. То, что затеял Ножик, раньше

называлось «заговор». Такие вещи в одиночку не делаются. У Ножика наверняка есть сообщники и помощники. В том числе и здесь, в ФСБ. Он не мог оставить службу безопасности без присмотра. До какой степени ты тут всем доверяешь?

Карл задумался. Нахмурился.

— Ты права. Лучше пока буду действовать один...

Она молча смотрела. Не мешала ему думать.

— ...Я знаю, с чего начать, — наконец медленно проговорил он.

Каролина просто кивнула, ни о чем не спрашивая. Знала: хотел бы сказать — сказал бы.

Ветер сделался собран и деловит — кризис и опасность всегда прибавляли ему энергии.

— Пойдем, я провожу тебя.

В коридоре ждал изнывающий от любопытства Мика.

— У вас шуы-муы, да? — спросил он. — На абочем месте, в абочее вемя? Сотудница, должен тебя педупедить как гуманист, что этот человек любит только акул и осьминогов. — Шутливо шлепнул Карла по плечу. — Познакомь же нас, собака!

— Поди принеси мне еще десять, нет двадцать «липучек». Быстро! — приказал Ветер.

От его тона Дельфин моментально посерьезнел.

— Зачем? Кто-то еще коме стайешиин в опасности?

— Да. Потом расскажу. Живо, живо!

Мика убежал.

— Не звони, не приходи. Пока я сам с тобой не свяжусь, — сказал Карл любимой на прощанье.

Она двинулась к выходу. Ни женского кудахтанья, ни бессмысленных заклинаний «будь осторожен, береги себя». Оказала неоценимую помощь — и сразу ушла, чтоб не отвлекать и не мешать.

Удивительная, единственная!

Ветер приступил к действиям час спустя.

Это время ему понадобилось, чтобы установить, кто тринадцать лет назад занимался техническим обслуживанием модуля Системы, ведающего выбором регуляторов. В тот самый период, когда Ножик совмещал должность директора с должностью главного конструктора.

Половина этих людей, одиннадцать человек, работали на прежнем месте. С каждым Ветер собирался провести конфиденциальную беседу — о том, возможно ли с технической точки зрения манипулировать выборами регулятора.

Во время беседы посадить на собеседника «липучку».

Потом проследить, кто свяжется с Ножиком, чтобы рассказать о тревожном визите директора ФСБ.

Разговор записать.

Запись предъявить президиуму парламента и Совету Старейшин — инстанциям, которые по конституции полномочны смещать регулятора.

План был простой, ясный и легко выполнимый. Ветер мог собой гордиться.

Перед поворотом с тихой улицы на проспект он механически поглядел в ретровизор и прищурился от яркого блика. Сзади какой-то болван летел на элтээске с зеркальной тонировкой, что вообще-то противоречит правилам уличного движения, но некоторые пренебрегают, форсят.

Карл направлялся в соседний Наукоград, где располагались все исследовательские институты и учреждения, в том числе центр технического обслуживания СПАСа. Туда было быстрее добраться на метро, поэтому, долетев до станции, Ветер сдул элтээску, сунул в чехол и снова надул ее, когда через четверть часа вышел на остановке «Спасская», в пятидесяти километрах к востоку от Центрoграда.

Кампус Системы раскинулся на территории в пару сотен гектаров, причем техцентр находился в самом дальнем конце. Пешком идти получилось бы долго, а Карла подгоняло нетерпение.

Он полетел по центральной аллее, свернул налево, направо, перед каждым маневром поглядывая в ретровизор.

Вдруг сзади опять что-то блеснуло. Это из-за вереницы обычных прозрачных элтээсок снова мелькнула зеркальная кабина.

Раньше Ветер не придал бы этому значения, но тут насторожился.

Маловероятно, конечно, но...

Вспомнил фильм про старинную жизнь, где герой-агент на смешном железном драндулете проверяет, нет ли за ним слежки.

На пробу свернул в узкий переулок.

Сверкающий эллипс сделал то же самое, сохраняя дистанцию в сто метров.

Тогда Карл пролетел через двор какого-то учреждения, насквозь, к параллельной улице.

Кажется, оторвался. Или же вообще померещилось.

Он снова вырулил в нужную сторону, но полминуты спустя откуда ни возьмись, из зазора между двумя домами, снова сверкнула глянцевая кабина.

Это не могло быть случайностью!

Кто же там сидит такой привязчивый, за непрозрачной пленкой? Посмотреть бы.

Ветер пару секунд подумал — и сообразил.

Полетел обратно к станции метро. На тротуаре вышел из элтээса, сложил его, вошел внутрь.

Станционный павильон был стеклянный. Улица оттуда превосходно просматривалась.

Карл спрятался за билетный автомат, стал смотреть.

Зеркальная капсула спустилась на землю. Стенки опустились.

Внутри стоял коренастый человек в черном облегающем костюме, но лица было не видно. Человек смотрел назад, подавал кому-то знаки рукой.

Подлетели еще два аппарата. Там тоже оказались люди в черном.

Они подошли к первому, и он стал им что-то говорить. Коротко обернулся к павильону, показав на него пальцем.

Ветер дернулся, стукнувшись лбом о стекло.

Лицо у коренастого было скуластое, узкоглазое, знакомое.

Ван Мынь!

(ИЗ ФОТОАЛЬБОМА)



Улица Кирова была по раннему времени пустая, ни души, а магазины все открыты, и нигде ни одного хвоста, даже в «Колбасах». Надо бы заглянуть, вдруг товар выкинули, да жалко времени нет. Филипп ехал быстро. Торопился. Но на углу Мархлевского — не поверил своим глазам — стояла автолавка «Мосголовубора», весь прилавок в кепках, шляпах, зимних шапках, и тоже почти без очереди. Три человека всего! Видно, только что открылись. Не расчукали еще граждане. Уж такую удачу пропускать было никак нельзя.

Филипп притормозил, стал прикидывать: вон ту котиковую за 51.50 (считай, даром) и восьмиклинку за 19.50, это для себя, а детское что-нибудь у них есть? Есть! Тюбетеечка как раз подходящего размера, и кроличья с ушами. Надо брать.

— Граждане, кто последний?

Никто не обернулся, будто не слышали.

Вообще было удивительно тихо. Продавец вроде что-то говорил дамочке в горжетке, шевелил губами, а ничего не слышно. Сзади проехала машина — мотор не фырчит, шины не шуршат. Что за чудеса?

Но заявиться было некогда. По тротуару уже бежали какие-то, гурьбой. Филипп кинулся занимать.

— Эй, товарищ, я за вами!

Мужчина не обернулся. Хотел Бляхин тронуть его за плечо, но рука наткнулась на воздух, оказавшийся твердым и плоским, будто стекло. Зашарил и понял, почему так тихо. Филипп был внутри прозрачного шара, в котором давеча и несся вдоль улицы. И как из шара выбраться, было невдомек. Уж и вертелся, и тыкал куда ни попадя — никак.

— Граждане, выньте меня отсюда! — закричал Филипп.

Какое там. Никто не повернулся, все пихались, занимаемая очередь, и она всё росла, росла.

Вдруг ударило: «ТТ» служебный! Вот он — на боку, в кобуре. Филипп вытащил пистолет, снял предохранитель, ткнул дулом в прозрачную пленку, приготовился оглохнуть от выстрела, но раздался не грохот, а звон: дзззз, дзззз, дзззз.

Вскинувшись, ничего не соображая, Бляхин несколько секунд хлопал глазами на подрагивающий от усердия телефонный аппарат.

Елки! Читал до глубокой ночи, только раз ходил за чаем, совсем засвинцовел. Решил минутку отдохнуть, положил голову на скрещенные руки и, оказывается, провалился. Что сейчас — ночь или день? В середине октября не поймешь — за окном сумерки.

А часы-то на что? Без пяти восемь.

Лишь теперь окончательно проснулся, потянулся за трубкой.

Звонил городской. Это еще ладно. Должно быть, снова Ева, из дому. Будет ругаться, что ночевать не пришел. Хотя на нее непохоже. Во-первых, он часто до утра на работе, а во-вторых, Ева отроду так рано не встает.

— Алё... — И, прочистив горло, еще раз, уже не так хрипло: — Алё.

— Дядя Филипп, это я...

Голосок звонкий, но с дрожанием и гулкий, как бывает, если трубку прикрывают ладонью.

— Фима? Я же тебе сказал: звони, только если крайнее ЧП.

Всхлип.

— У меня ЧП... Крайнее... Я из директорского кабинета, тайком. У вахтера из ящика ключ спер...

— С ума сошел! А прознают? Какое такое ЧП?

— Дядя Филипп, меня вычистили...

Голосок сорвался.

— Как это вычистили?

— Отчисляют. Переводят. Уууу...

— Куда переводят?

— В Софрино... В Лесную школу.

— Не имеют права! Ты объясни толком...

Малой понес что-то сбивчивое про собрание, про какие-то бюллетени — давился рыданиями, ни черта не поймешь, но, кажется, дело было неерундовое. Филипп быстро прикидывал.

Сейчас восемь. Раньше двенадцати Шванц на службе не появляется. Другое начальство тоже. Режим на всей Лубянке такой: часов до четырех утра всяк на своем месте, потому что ночью самая работа и могут сверху позвонить. Известно, что товарищ Сталин, а значит и товарищ нарком не ложатся до рассвета. Ночью не спать — дело привычное. Когда Бляхин состоял у Патрона — было то же. Зато утром все ответработники дрыхнут. Самое спокойное время.

До Сокольников сгонять, разобраться с фимкиным ЧП, потом вернуться и галиматью эту дочитать, там немного осталось. Вроде поспеваётся.

— Короче, так, — перебил он пацанчика. — Будь у забора. Жди.

Десять минут спустя уже гнал по почти пустой, как в недавнем сне, Кировской. Остановил таксомотор, предъявил шоферу бордовую книжечку. Сказал: «Не дрожи, ты мне не нужен. Мне в Сокольники, быстро!» И погнала.

Филипп не просто так сидел — осмыслял ситуацию.

Как это — в Лесную школу? С чего? В Лесную школу из коминтерновского интерната сплавляют тех, чьи родители оказались врагами. В последнее время часто случается, такой уж интернат. Но Фимку-то за что? У него ни отца, ни матери.

Сосредоточиться на проблеме мешал страх, все время сбивавший мысли. Филипп сейчас сильно рисковал. А если Шванц рано придет? Или позвонит?

Но Фимка — единственный на всем белом свете, ради кого можно и рискнуть.

Вообще-то его звали Серафим. Мать назвала, в честь своего родителя, попа. Записывала в ЗАГСе сама, бляхинского мнения не спросила. Они тогда уже поврозь жили. Софья была дура, каких поискать. Вовремя он ее

от себя отставил. Не было бы ему с такой женой никакого хода. Во-первых, соцпроисхождение, во-вторых, дура.

Хотел вычеркнуть ее из жизни к чертям. Но когда прознал, что народился сын, екнуло что-то. Захотелось посмотреть. Съездил, посмотрел — и вошел в сердце гвоздь. Даже не гвоздь, а шуруп. И нет такой отвертки, чтобы вывинтить. А главное, не хотелось вывинчивать.

Сначала уговаривал по-хорошему: отдай парня, ему со мной лучше будет, чем с тобой, поповской дочерью. А Софья тихая-тихая, но если упрется — трактором не сдвинешь.

Решил тогда сделать по-другому. Организовал ей высылку как чуждому элементу, за сто первый километр. Расчет был какой? Помыкается среди чужих людей, на безденежье — сама попросит: заberi дитё, только дай жить. Он и заберет, но с условием: чтобы носа не казала. Фимке знать такую мать незачем.

Но вышло иначе. Проще вышло. Софье на сто первом километре, в бараке, жилось тяжело, она к такому существованию была непривычная. Первой же зимой померла от пневмонии, хорошо ребенка не застудила. Жалко было дурищу — не сказать как. Филипп даже всплакнул, когда узнал.

Забрали было сиротку в собесовский Дом малютки, но пробыл там Фимка недолго.

Филипп развернул целую операцию. Чистосердечно во всем повинился товарищу Мягкову — да тот все равно знал, что Бляхин раньше крутил любовь с поповной. Ну, будет еще один поводок на шею, какая разница. Филипп и без того перед Патроном на задних лапах ходил, хвостом вилял. По должности работал он тогда еще у Рогачова, но от того в подобном тонком деле помощи ждать не приходилось.

Товарищ Мягков отнесся с сочувствием, всё устроил.

Тогда как раз геройски погиб мягковский порученец Цигель — холостой, одинокий. На ночной кубанской дороге обкомовский автомобиль изрешетили волчьей картечью с нескольких обрезов. Еще живому Цигелю насыпали в рот пшеницы, разрезали брюхо, туда тоже напихали — жри. Патрон организовал так, что Фимку,

у кого в метрике заместо отца стоял прочерк, переписали сыном героя-большевика Абрама Цигеля и определили в самый лучший воспдом — дая детей коминтерновцев и партийцев, находящихся на секретной закордонработе.

Хорошее место, очень правильное. Во-первых, уход по высшему разряду — питание, одежда, ни в чем нет нужды. Во-вторых, кузница кадров. Выпускники интерната имени Парижской коммуны (так воспдом назывался по-официальному) поступали в лучшие вузы и военучилища. И бытъ им потом, когда войдут в возраст, в государстве на самых первых местах. Все вместе жили и учились, навроде братьев, будут друг дружку продвигать. Как у барчуков из Пажеского корпуса было, при старом режиме. Чего сам Филипп в жизни не доберет, не достигнет, то сыну достанется.

При всякой возможности, если удавалось выкроить хоть два часика, Филипп гонял в Сокольники, так что Фима знал родителя всю свою жизнь, сколько себя сознавал — хоть и считал, что это товарищ его геройского отца. Когда подросток, мальчонка часто спрашивал — каким он был, большевик Абрам Цигель. Приходилось выдумывать, потому что Филипп видал покойника, может, пару раз, и то мельком. С мамашей обошлось проще: была красавица, вот и фотка с девичьими косами, померла от горя, потерявши горячо любимого супруга. Коротко и ясно. Зато про страшную гибель липового бати Филипп расписывал в подробностях, чтоб пацанок сызмальства понимал суровость жизни и ненавидел врагов советской власти.

Когда Бляхин думал про Фимку, а это бывало часто, под ложечкой делалось тепло, трогательно. Добротный получился парнишка — неболатливый, сметливый, с хорошей хитрецей. По-немецки лопочет, как на родном, — у них в классе половина ротфронтовцев, недавно затараторил еще и по-испански — навезли много республиканских детишек. А ведь одиннадцатый год всего! Способный.

Прямо перед опушкой Сокольнического леса Бляхин велел таксисту предъявить документы и переписал себе данные. Теперь никуда не денется.

— Стой здесь. Дождидайся. Я скоро.

Прошел коротким путем, через рощу, к зеленому забору. На углу, в самом дальнем и глухом краю широкого интернатовского сада, Филипп когда-то выдернул пару гвоздей, чтобы отодвигалась доска. Тут они с Фимкой обычно и встречались.

В урочные-то часы никак не выходило, потому что самая работа. Единственное время, когда Бляхину удавалось вырваться, — с восьми до девяти вечера. В воспоминании у ребятишек свободный досуг после ужина, а Патрон как раз, покушавши, ложился подремать перед бессонной ночью — здоровье-то неважное.

Отлучиться получалось далеко не каждый день. Но Фимка в условленное время был на месте всегда. Уж так радовался, если не зря прождал! Никогда в жизни никто бляхинскому появлению так не радовался. Только Жучка, но это давно было, в детстве, и потом, одно — дворняжка, и совсем другое — родная кровь.

Конечно, Филипп старался не с пустыми руками приезжать, а с гостинцем, хоть это было непросто. От Евы много не утаишь. Но сын ждал Филиппа не за-ради гостинцев. Когда ничего не удавалось привезти, радовался точно так же. Это дорогого стоит.

На новой службе с отлучками стало труднее. Только по вторым дням шестидневки, когда всё начальство на совещании у наркома, а в прошлый раз вообще не вышло. Филипп переживал, беспокоился — как там малой? Не зря, выходит, беспокоился.

— Дядя Филипп!

Фима первый его заметил. Высовывался меж досок, махал рукой.

Был он невысокий, узколицый в покойницу мать, однако нос бляхинский, картофлей, и взгляд тоже в отца, шустрый. Посреди лба острым углом льняная челка — форс у них такой сейчас, у мальчишек.

Никогда Филипп сына не обнимал, хоть иногда очень хотелось. Сам в детстве без этого существовал, и Фимку к нежностям приучать незачем, немужское занятие. Но такой он сейчас был зареванный, несчастный, что Бляхин не сдержался — легонько ткнул кулаком в скулу.

— Здорово, Фимка. Чего нос повесил?

Эх, жалко не из дома ехал. Там, в сложенном френче, куда жена не полезет, припасена коробка печенья «Счастлирое детство» и шоколад «Советский полюс» — из цеховского распределителя.

Раньше сын на такое приветствие сказал бы обычное: «Я не Фимка, я Цигель». Своего имени парень стеснялся, требовал, чтоб в интернате все звали его по фамилии. Она ему нравилась. По-немецки Ziegel — «кирпич». Филиппу-то, понятно, называть родного человечка чужой фамилией не хотелось, вот и собачились.

Но сейчас малой и Фимку проглотил.

— Не хочу я в Лесную, дядя Филипп! В Лесной... плохо.

Губы ходуном, глаза мокрые — сейчас снова разревется.

— Докладывай по порядку. — Бляхин посадил сына на пенек, на обычное ихнее место. — Напортачил что-нибудь? Наозорничал? Я с тобой давеча беседу проводил. Сделал, как велено?

На позапрошлой шестидневке, вдруг заметив, как Фимка вытянулся за лето, решил Филипп, что пора учить парня жизненной науке. Мальчонка слушал очень внимательно, вопросы задавал толковые. Бляхин остался им очень доволен. Будет из человека прок — видно.

— Сделал. Потому оно всё и вышло...

— Как это? — поразился Филипп. — Не может такого быть. Я тебя плохому не научу. Я тебе чего говорил?

— Что умный человек наперед не лезет, перед товарищами не выставляется, а налаживает контакт с руководством. Чтоб оно ценило. Для этого надо свой этот... доверительный канал строить. Я и стал строить. Директору товарищу Шумскому начал рассказывать, чего он не знает. В порядке информации.

— Всё правильно, — признал Бляхин. — Неужто директор не оценил?

Мальчонка вытер рукавом нос. Понурился.

— Оценил. Молодец, говорит, Цигель, правильный взял курс, держись его. Я и держался...

— Ну?

— Проинформировал, что Мишка Кляйн про него сказал, что он, товарищ Шумский, двурушничает: у самого в шкафу на видном месте собрание сочинений товарища Сталина, а страницы в половине томов неразрезанные — Мишка специально проверял. Товарищ директор Мишку в кабинет вызвал, стал при нем листать и говорит: где неразрезанные, где? А Мишка мне потом: это, говорит, он сначала разрезал, а после, говорит, меня позвал. И вообще, говорит, откуда Шумский прознал, я никому, кроме тебя, не рассказывал...

— А ты чего?

— Чего я? Почему мне знать, говорю. Может, подслушал кто.

Филипп одобрил:

— Молодец, не растерялся. Дальше что было?

— Дальше... Ребята из шестого отряда договорились ночью в беседке сигару курить. К Пашке Санчесу батя приезжал, из Барселоны, он там министр, если Пашка не врет. Ну Пашка сигару у него и спер, по-тихому. Я проинформировал. Их застукали, вечером всех без кино оставили. Это позавчера было. Позавчера с утра все вокруг только об одном: кто стуканул, кто стуканул? И тут на линейке товарищ Шумский стал рассказывать, как мы будем отмечать двадцатилетие великого Октября, и вдруг говорит: а знамя понесет Серафим Цигель из пятого отряда, он заслужил. А чем я заслужил? Не отличник, ничего... Ну и стали все на меня смотреть... нехорошо стали смотреть. Ничего не говорят, но подойду — уходят. Может, обошлось бы как-нибудь, я даже придумал как...

— Что придумал? — с интересом спросил Филипп. Положение у парнишки в самом деле получилось аховое — потому что Шумский этот идиот, нельзя так источники палить.

— У нас есть Федька Ким, кореец. Я придумал, шепну, что это он... Его все равно никто не любит, он плакса. Но не успел я. Потому что вчера было четырнадцатое, а по четырнадцатым у нас «чистка».

— Чего-чего?

— Месячное собрание, по «чистке». Товарищ Шумский завел. Для поддержания критически-товарищеской атмосферы и чтоб подтянуть дисциплину. Раз в месяц в каждом отряде критикуют недостатки, а потом голосование, тайное. На кого больше всего бюллетеней с крестом, того переводят в Лесную школу... Меня на собрании никто не критиковал, а стали из коробки бумажки доставать — всё я да я... — Фимка заплакал. — Главное, вслух никто ничего, ни одного плохого слова... Товарищ Шумский говорит: ничего не поделаешь, Цигель, демократия, воля народа. Не расстраивайся, в Лесной школе воздух хороший. Я на тебя положительную характеристику дам. И всё... Там у них в Софрине, как в тюрьме. Всё строим. Чуть что — карцер. Форма серая, кормежка паршивая. А еще там новеньких «звездят». Пряжкой со звездой по заднице лупят, пока звезда не пропечатается. А кто заорет — попадает в «денщики». У-у-у...

Уткнулся носом в ладошки.

Филипп боролся с желанием погладить круглый затылок с торчащими, как стерня, волосами вокруг маленького кружка белой кожи.

Паршивые дела. «Денщик» — нестрашно, для воспитания характера даже неплохо. Но ведь не наездишься в Софрино. Машины нет, а на электричке туда-обратно полдня уйдет. Значит, не видеться?

И так заныло сердце, что хоть сам рыдай.

Главное, ничего ведь не сделаешь. Патрон бы эту детскую неожиданность быстро устранил, но нету его, Патрона. И времени нет. Вон, девять часов уже, а еще повесть дочитывать.

— Ты это, ты погоди плакать. Главное, не надуй там, директору не нахами. Веди себя тихо. Я порешаю вопрос. А ты давай, беги.

И все-таки притянул к себе сына, обняв за худое плечико. Фимка весь в бляжинскую грудь вжался. Пискнул оттуда, снизу:

— Дядя Филипп, боюсь я в Лесную...

— Сказано: порешаю вопрос. Дуй!

Качнулась доска, встала на место. И не стало никакого Фимки, один глухой забор.

Шел Филипп назад к таксомотору мрачнее тучи.

Легко обещать — порешаю. Сверху на директора надавить — ресурса нет. Придти к нему, припугнуть? А он спросит: вы, товарищ, ребенку кто? Да еще жалобу напишет, как раз к Шванцу попадет. Вот этого не надо. И вообще. Самого бы не вычистили, в лесную школу не отправили — лес валить. Или того страшней...

— Давай на Дзержинского, — велел шоферу. — Жми на все восемьдесят. Светофор, не светофор — гони. Я отвечаю.

Милиционер остановит — сунуть удостоверение. Откозыряет, только и делов.

— Товарищ начальник, а вы мне бумагу дадите? Я же на работе. У меня смена.

— Расписку я с тебя возьму, о неразглашении. Ясно? — шикнул на него Бляжин. — Давай, Трофим Иванович Макаренков, номер 4367, газуй!

Все равно опоздал. Хуже, чем опоздал.

Остановились на углу улицы Дзержинского и Фуркасовского переулка. Шофер, дубина полуграмотная, минут, наверно, десять кряхтел над подпиской, Филипп уже вылез, подгонял, нервничал — и тут мимо, на скорости, с тормозным визгом завернула знакомая черная «эмка», встала. И из нее круглый, как мяч, выкатился капитан Шванц! Рано ему было приезжать-то, пол-одиннадцатого только, а он вот он.

Неулыбчивый, рожа мятая. Сказал лишь: «Богато живешь, Бляжин» — и в подъезд. Перед самой дверью обернулся, крикнул:

— Через пятнадцать минут чтоб был у меня!

Филипп за эти четверть часа весь измучился. Хотел сначала поступить по старому умному правилу: если

в чем крупно проштрафился, не отпирайся, а признавайся, но не в истинной своей вине, а в чем-нибудь другом, мелком. Уводи в сторону. Нельзя, чтоб начальник узнал про сына. Покажешь свое незащищенное место — всё, будет веревки вить. Еще на Фимке как-нибудь отыграется. Решил так: скажу, что к жене гонял, очень она переживает из-за товарища Мягкова.

А уже перед самым шванцевским кабинетом стукнуло: он ведь, черт глазастый, мог номер такси запомнить. Ну, как проверит?

Так, ничего не придумав, и вошел весь на нерве.

Но капитан про такси ничего не спросил. Сидел над развернутой газетой задумчивый, дул на стакан с чаем.

— «Правду» видал? На-ка вот, ознакомься.

Бляхин взял, стал смотреть.

Сверху, крупно и жирно, сообщение о пленуме ЦК. Принято решение по очередным выборам. Так. Передовица на ту же тему: «Сплоченная, счастливая, могучая идет страна к выборам в Верховный Совет СССР». Это ладно, можно не читать... Мероприятия к грядущему двадцатилетию... Тоже не то... Новости из Испании. Артиллерия мятежников подвергла интенсивной бомбардировке Мадрид. К северо-западу от Аранхуэса... Черт с ними, пускай воюют. Успех Народного фронта во Франции... Над Кремлем зажглась четвертая рубиновая звезда... Это, что ли? В Московском зоопарке обнаружено вредительство: персонал засорен классово чуждыми сотрудниками. Да нет, чепуха.

— Куда глазами в низ листа полез? — нетерпеливо сказал Шванц. — Наверх смотри.

Перегнулся над столом, ткнул пальцем в извещение о пленуме, в самую нижнюю строчку, которую Филипп пропустил.

Оказывается, там было не только о выборах. «Ввести в состав кандидатов в члены Политбюро секретаря ЦК народного комиссара внутренних дел тов. Ежова Н.И.»

— Ого! — только и сказал Филипп.

Такого не бывало со времен товарища Дзержинского — чтоб руководитель органов был в политбюро.

— То-то, что ого. Вчера решилось, вечером. Ни на каком, конечно, не на пленуме. Досылали «молнией» по редакциям, в уже готовое сообщение. Ты, поди, Бляхин, сколько-нисколько ночью подрых, а я до утра с большими звездастыми начальниками квасил. И сказал мне Малютка, сильно пьяный и сильно счастливый: «Я должен высокое доверие Вождя оправдать. К годовщине Октября положу ему на стол дело эсэровской организации "Счастливая Россия". Полностью доследованное и готовое для суда. Не подведи меня, Шванц. Не то я тебя подведу. Под статью». Я, как положено, весь затрепетал. «Будет исполнено, товарищ кандидат в члены Политбюро! К 7 ноября доложу и представлю».

Пока что Филипп чувствовал одно облегчение — не про такси разговор. Но облегчался он недолго.

— Стало бытъ, нынче пятнадцатое. — Капитан глядел на календарь с ровными столбиками шестидневок. — Считаю по-старому, у нас три недели с хвостиком. Связь идейно-теоретического центра с эсэровским подпольем и заграницей мне обеспечат другие сотрудники, там процесс идет, сбоя не будет. А вот с самим центром у нас закавыка. Главаря-то всё нет. «Брата Илария» нужно добытъ, срочно. И этим займешься ты. Такое тебе задание.

— Я?! — Филиппа аж качнуло. — Да где я его найду? Как? Мы даже имени не знаем!

— Знаем, знаем, — отмахнулся начальник. — Это Кроль думает, что не знаем. Бах Иннокентий Иванович, из дворян, 1877 года рождения. И прежний адрес установлен, и всё прочее. Из того, что я про него выяснил, похоже, что гражданин Бах очень для нас подходящий. Такой христосик, который сам на себя всё возьмет, выкручиваться и на других валить не станет. Ты мне только его сыщи, Бляхин, а как его обработать, я уже придумал.

«Сыщи», обреченно подумал Филипп. Нашел сыщика! Вот, значит, как он придумал меня извести. Стрелочником поставить. Не будет главаря — станут виноватого искать. А кто виноват? Оперуполномоченный Бляхин.

— На Кролля надо давить, — сказал он тихо. Встре-
пенулся. — И на писателя! Я повесть уже почти дочел.
Скоро буду готов к допросу.

Шванц вяло поморщился.

— С Кроллем только время терять. Из писателя всё
что можно выжали. Ты, конечно, попробуй, но он не
знает. Иначе дал бы показания...

Сочные губы капитана скривила усмешка, маленькие
глаза из-под очков глядели хитро.

— Есть еще одна ниточка, более перспективная. Ты,
наверно, всю башку себе изломал, на кой я тебя привлек
к такому козырному делу? Ни опыта у тебя, ни сноровки.
Пришло время объяснить. Не в твоих психологических
дарованиях дело и тем более не в сыщических способ-
ностях. Ясно, что ты не Нат Пинкертон. Но, восстанав-
ливая передвижения «брата Илария», мы выяснили,
что накануне исчезновения он виделся с неким челове-
ком и долго с ним о чем-то толковал. Этого человека ты
хорошо знаешь. Ну, или раньше хорошо знал.

— Кого это я знал? — напрягся Филипп. Не было и не
могло у него быть знакомых, которые с монахами и кон-
триками водятся. Ой, погибает Шванц, в засаду как-
кую-то заводит.

— Некто доктор Клобуков, Антон Маркович, 1897-го
гэ рэ, главный анестезиолог Университетской клиники
на Пироговской.

— Кто?

Не сразу и вспомнил.

— А-а, да. Был такой. Давно когда-то, на Граждан-
ской, вместе служили...

Проглотил «у Рогачова», вовремя остановился. Но
Шванц сам подсказал:

— У Рогачова, тогдашнего члена РВС Югзапфронта.
Причем служили вы бок о бок и, наверно, корешили.

— Не то чтобы... Я — рабочая косточка, а Клобуков
был интеллигент, мямля.

«Тревога! Тревога!» — колотилось в мозгу.

— Это хорошо, что мямля. Это очень хорошо. Но со
мной он не мямлился. Я ведь с Клобуковым встречался,
неформально, просил помочь следствию. Нет, говорит,

не рассказывал мне Иннокентий Иванович, куда уезжает. А я по глазам вижу: врет.

— Почему неформально-то? — не понял Филипп. — Почему не арестовали?

— Нельзя было. Он известный анестезиолог, светило. Недавно участвовал в операции наркомюста Крыленко, и тот остался очень доволен. После истории со смертью наркомвоенмора Фрунзе все они жутко боятся наркоза. Крыленке скоро снова на операцию ложиться, он теперь в Клобукова этого, как в бога, верит. Тут надо тебе еще одно обстоятельство знать. Для полноты картины. Учти: информация сверхсекретная. Сообщаю как доверенному сотруднику. Крыленко находится у нас в разработке. Если взять Клобукова, близкого к нему человека, нарком насторожится, а этого нам не надо...

— Товарищ Крыленко — в разработке?! Он же первый революционный главковерх!

— Не нашего ума дело. Велели разработать — разрабатываем. Хотя, опять-таки по секрету, скажу тебе, что у Крыленки война с товарищем Вышинским, прокурором СССР. Очень возможно, что Вышинского сейчас в другом подразделении тоже разрабатывают. Тут чья возьмет. Но думаю, что прокурор наркомюста схарчит.

— Да кто такой Вышинский против самого Крыленко?

— Ноль без палочки, — согласился капитан. — Но есть у Вышинского одно важное преимущество. В семнадцатом году, при Временном правительстве, он в Петрограде командовал милицией и подписал приказ об аресте товарища Ленина.

— Какое же это преимущество?

— Дурак ты, Бляхин. Вышинский знает, что на волоске висит. А Крыленко о себе много понимает. Сейчас много о себе понимать вредно. Спокойней на волоске висеть — если, конечно, волосок в правильной руке.

И подмигнул, с намеком. Неужто уже нашел у Мягкова снимок? Нет, времени у него не было.

— Однако, раз мы в цейтноте, деликатности в сторону. Сегодня возьмем Клобукова. Я с ним, конечно, по своей методе поработаю, но если не получится, мне

понадобиться ты. Как старый его друг и хороший психолог. Подумай, чем его взять. Вот сведения на Клобукова, прогляди.

Раскрыв тощую папку, Филипп сначала посмотрел на фотографию. Солидный, в шляпе. Постарел. Сколько же это... шестнадцать, нет, семнадцать годов не видались. Так. Супруга — Мирра Носик, 1903 года, в графе «отчество» почему-то прочерк. А, незаконная, понятно. Тоже врач, кафедра челюстно-лицевой хирургии. Дети — ишь, двоих настрогал. Сын Рэм, на полгода младше Фимы. И дочь, маленькая, четыре года... Интересно: инвалид детства.

Спросил:

— Что у него с дочкой?

— Не выяснял. Какая разница? — Шванц сощурился. — Ты что лоб наморщил? Соображения имеешь? Выкладывай.

Соображения у Филиппа имелись, но про них капитану знать было незачем.

Когда Шванц возьмет Антоху Клобукова в оборот, всё до доньшка вытрясет. Чего было и чего не было. Антоха — не Кроль. Пару раз съездят по рылу — напишет всё, что надиктуют. А уж Шванц такой возможности потопить его, Филиппа, не упустит. Через рогачовскую-то службу — милое дело. Сто процентов выяснится, что Бляхин еще с 1920 года тайный враг советской власти — шпион, вредитель или еще что. В протокол попадет — не вырубешь топором. Это еще хуже, чем фотография формуляра. Ту Шванц, если найдет, припрячет, чтобы за горло держать. А протокол не спрячешь...

От напряжения прямо уши заложило. Шевели мозгами, Бляхин. Спасай себя! И о сыне подумай. Пропадет без тебя мальчонка...

— Я так полагаю, что не надо Клобукова арестовывать, — спокойно, раздумчиво сказал он вслух. — Это будет ошибка. Вы его правильно определили. Не такая уж он мямля. На себя наклепать — это они, интеллигенты, могут, а давать показания против других — им проще сдохнуть. Опять же — не мое дело и вам виднее, — но наркомюста Крыленку тревожить не надо бы.

Переполошится, пойдет жаловаться к товарищу Сталину, поломает вам всю разработку. Еще и от товарища Ежова огребете. По-другому надо с Клобуковым. По-умному.

— Ну-ка, ну-ка?

— Не его надо взять, а жену.

— Почему? Объясни. — Шванц смотрел с интересом. — Ну возьмем, и что нам с той жены?

— Не в жене дело. В детях. — Филипп заговорил уверенней. — Человек как устроен? Чего перед собой не видит, того вроде как и нету. В тюрьму посадим Клобукова — упрется. А тут он дома, с сыном, с дочкой. Они плачут, спрашивают, где мамка. Упираются, когда родные дети плачут, труднее. Пусть Клобуков подумает, кто ему дороже — какой-то там Бах или жена с сыном-дочкой. Опять же очень хорошо, что у него дочь инвалидка. Таких больше любят, сильнее жалеют.

Шванц молчал. Один глаз зажмурен, второй — холодный, неподвижный — не отрывался от бляхинского лица.

— ...Да, полезный ты человек. Психологически расчет тонкий. И с Крыленкой ты прав. За самого врача он вступится по полной, из-за операции, а за жену навряд ли. Максимум — позвонит, поинтересуется. Наврем ему что-нибудь... Решено. — И ладонью по столу, бодро. — Прямо сейчас берем жену. Денька три-четыре дадим Клобукову дойти, а там и дождем. Молодец, Бляхин. Награда тебе за смекалку: иди, читай увлекательную беллетристику. Готовься к встрече с автором. Эту линию мы тоже пока отпускать не будем.

(ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА)

В ЧИНКЕ

Дожил почти до семидесяти лет, Марк Ветер не знал, что такое страх, так-то не доводилось бояться. Один раз в Северном Ледовитом заглох двигатель, а через некоторое время заворочался заново, и батискаф начал медленно спускаться. Подумавшись, отстраненно так: а вдруг в компрессоре закончился аварийный запас воздуха раньше, чем меня найдут? И стало неприятно. Но ничего такого, о чем пишут в старинных романах — стух дубов, гелиевая дрянь, волосян дыбом (они тогда еще были, волосян) — с Карлом не случилось. Он решил, что это не области художественных преувеличений.

Но при виде китов, за которыми Ветер так истошно гонялся, он испытал не охотничий азарт, а нечто очень похожее на земный ужас. Задрожали и осклабясь галечи, в глазах потемнело, а не ослепнув пробегала некая — если б были волосы, то, может, и выпавшая бы.

Спокойно, сказал себе Марк, Спокойно. Мне страшно, потому что я думаю: я охотник и иду по следу, а на оном деле здесь многожизней меня...

Можно накатить огневой вылова муниципальной полиции — все красной рыщет, около автоматов. Но что делать?

Китыц и двое остывших одети в черные костюмы — так зыкну-дуются окрест внешнн должностных лиц. У них наверняка олушебные значки, и полиция просто возьмет под козырек. Закончил так, что задержат самого Марка. И никто никогда не узнает о разговоре...

Нужно оторваться. Все остывало потом: собрался в шею, и выработал воюмй план... Потом.

Он кинулся вниз по эскалатору, отглядывавший через плечо. Ладен в черном был не видно. Замечкалось? Отлично!

Все, оторвался.

Куда теперь?

Перебрал несколько вариантов. Остановился на самом правильном. Е д и в о т в е н и о правильно.

Бел на зеленую ветку. Кошачьи ступни — "Речной вокзал". Там на катер и Каролине, за Олений остров...

Ветер отстал в конце вагона, напряженно размышлял, рассосно глядя через откинутую дверь в соседний тамбур.

Вдруг его замутило.

Так, ошмой, покачивался человек в черном. Глядел еще оди. И еще. Первый чуть повернул голову, осконд глаза. Глаз был узкий! Каят! Откуда?! Ведь несколько раз проверял — ослепки не было!

На прощан переогме заглянул в соседний вагон — чюто, никого! Кто эти люди, умеющие оследить тва, что от них неответляешься?

Наверное, бывшие работники Резидентур — управленческого отдела ФСБ, замомлаивер в Империи секретных агентов. Они проходили курс специальных дисциплин, которые теперь выгде не учат.

Но люди-то остывало. Со всеми своими извилинами. Везде естественно, что кто-то из них мог попасть в окрину регулятора.

Стоп. Может быть, они думают, что честно выполняют свои обязанности и учтостают в чем-то законно?

Мысль была ослепая, но долго не продержалась. За старшего у них Иван Миль, а этот уж точно преступник и убийца.

Карду впервые пришло в голову, что его тоже могут убить. Сегодня. И, может быть, очень скоро.

Он сплелся ошмоо удивился, пока тав не ошмоо рассоздал. Смигновом страха, со волком олуче, не ошутя.

А заодно придумал ошверчено гешяльнныи так, как избива-ола от "хвооте" (черт знает, из каких чулок вышиты или прочитавших в детстве книжек вышло это слово).

На предпоследней остановке, когда двери уже закрывались, придержал их и в ошмой последний инт выскочил.

Мимо проехал поезд. Из-за отекла ошерь близко, в петрового

В ЧАШКЕ

Дожив почти до семидесяти лет, Карл Ветер не знал, что такое страх. Как-то не доводилось бояться. Один раз в Северном Ледовитом заглох двигатель, а через некоторое время засорился запасной, и батискаф начал медленно опускаться. Подумалось, отстраненно так: а вдруг в компрессоре закончится аварийный запас воздуха раньше, чем меня найдут? И стало неприятно. Но ничего такого, о чем пишут в старинных романах — стук зубов, ледяная дрожь, волосы дыбом (они тогда еще были, волосы), — с Карлом не случилось. Он решил, что это из области художественных преувеличений.

Но при виде китайца, за которым Ветер так истово гонялся, он испытал не охотничий азарт, а нечто очень похожее на книжный ужас. Задрожали и ослабели колени, в глазах потемнело, а по скальпу пробежала щекотка — если б были волосы, то, может, и зашевелились бы.

Спокойно, сказал себе Карл. Спокойно. Мне страшно, потому что я думал: я охотник и иду по следу, а на самом деле здесь выслеживают меня...

Можно нажать сигнал вызова муниципальной полиции — вон красный рычаг, около автоматов. Но что дальше?

Китаец и двое остальных одеты в черные костюмы — так экипируется охрана высших должностных лиц. У них наверняка служебные значки, и полиция просто возьмет под козырек. Закончится тем, что задержат самого Карла. И никто никогда не узнает о заговоре...

Нужно оторваться. Всё остальное потом: обратиться с мыслями, выработать новый план... Потом.

Он кинулся вниз по эскалатору, оглядываясь через плечо. Людей в черном было не видно. За мешкались? Отлично!

Проехал две остановки, пересел на другую линию, потом еще раз.

Всё. Оторвался.

Куда теперь?

Перебрал несколько вариантов. Остановился на самом правильном. *Единственно* правильном.

Сел на зеленую ветку. Конечная станция — «Речной вокзал». Там на катер и к Каролине, на Олений остров...

Ветер стоял в конце вагона, напряженно размышлял, рассеянно глядя через стеклянную дверцу в соседний тамбур.

Вдруг его замутило.

Там, спиной, покачивался человек в черном. Рядом еще один. И еще. Первый чуть повернул голову, скосил глаз. Глаз был узкий!

Как?! Откуда?! Ведь несколько раз проверял — слежки не было! На прошлом перегоне заглянул в соседний вагон — чисто, никого!

Кто эти люди, умеющие следить так, что от них не отвяжешься?

Наверное, бывшие работники Резидентуры — упраздненного отдела ФСБ, засылавшего в Империю секретных агентов. Они проходили курс специальных дисциплин, которым теперь нигде не учат. Но люди-то остались. Со всеми своими навыками. Вполне естественно, что кто-то из них мог попасть в охрану регулятора.

Стоп. Может быть, они думают, что честно выполняют свои обязанности и участвуют в чем-то законном?

Мысль была славная, но долго не продержалась. За старшего у них Ван Мынь, а этот уж точно преступник и убийца.

Карлу впервые пришло в голову, что его тоже могут убить. Сегодня. И, может быть, очень скоро.

Он сначала сильно удивился, потом так же сильно разозлился. Симптомов страха, во всяком случае, не ощутил.

А заодно придумал совершенно гениальный трюк, как избавиться от «хвоста» (черт знает, из каких чуланов памяти или прочитанных в детстве книжек выплыло это слово).

На остановке, когда двери уже закрывались, придержал их и выскочил.

Мимо проехал поезд. Из-за стекла очень близко, с метрового расстояния, на Карла смотрел китаец. Его лицо было неподвижно, припухлые глаза поблескивали холодным, каким-то неживым блеском.

Ветер сосредоточенно посмотрел на часы, покачал головой — будто вспомнил о чем-то в самый последний момент, потому и выскочил на платформу. Деловито побежал прочь по перрону, словно бы к выходу.

Но когда поезд скрылся в туннеле, вернулся назад и сел на следующий. Доехал до «Речного». Сначала осторожно высунулся из вагона и только потом вышел.

До конечной доезжали немногие. Среди нескольких человек, направившихся к эскалатору, никого в черном не было.

Но успокоился Карл, только когда выбрался из Оранжевой наружу, к реке, и подставил лицо холодному ветру.

Теперь уж точно всё. На острове, у Каролины, никто его не найдет.

На обсерваторском катере тоже всё оглядывался.

Нет, никто за ним не плыл. И на причале никого не было.

Уф. Оторвался!

— Здесь что-то не так, — сказала Каролина. Она была в голубом рабочем халате. Стояла рядом со своей гигантской трубищей, направленной в небо, — словно жрица у подножия истукана. — Откуда взялся этот... как ты его назвал — «хвост»? Причем именно тогда, когда ты докопался до разгадки? И почему они безошибочно находили тебя вновь и вновь? Ну-ка, стой смиренно.

Она подошла к столу, уставленному сложной аппаратурой, и навела на Карла дуло какого-то прибора.

— Что это?

— Абсорбер. Улавливает сигналы с орбитальных телескопов. Принцип работы тот же, что у ваших устройств, которые присматривают за психами. Не дергайся!

Он застыл.

Каролина хищно присвистнула.

— Что и тре.

Подошла, пошарила рукой по его плечу. Наклонилась. Отцепила пальцами маленький прозрачный квадратик.

— Это же «липучка»! — поразился Ветер. — Как она могла сюда попасть?

— Думай. Вспоминай.

Он ахнул.

— Когда мы с тобой... в коридоре... Мика! Хлопнул меня по плечу! Как раз по этому месту! Мика?! Дельфин?!

У Карла снова, как при виде Ван Мыня, по скальпу побежали мурашки.

А Каролина была спокойна.

— Одной загадкой меньше. Понятно, как они тебя находят. Откуда узнали, что за тобой нужно следить, тоже ясно. Кто-то их предупредил. Скорее всего, твой губастый друг. Или же у тебя в кабинете прослушка.

— Мика? — пробормотал Ветер.

Это невообразимо... Но что тут вообще вообразимо?

— Ветер, ты весь белый. — Она смотрела на него с тревогой. — Тебе плохо?

— Мне очень плохо. Мир... совсем не такой, как я думал всю жизнь. Он... враждебный. Я не знаю, кому верить и доверять. Никому нельзя. Только тебе.

— Сюсюсю, — ответила грубая Каролина. — Давай обнимемся и поплачем. Только не сейчас, позже. Раз на тебе «липучка», они знают, где ты.

— Ты права! И про тебя знают! Ты тоже в опасности!

Ветер заметался по комнате, но в следующую секунду включился всегдашний внутренний механизм, возвращавший мозг в рабочее состояние даже при аварийной ситуации. Все-таки не зря Система направила Карла работать в службу безопасности.

— Нам надо немедленно убираться отсюда. Стать для них невидимыми. «Липучку» приклеим к столу. Пусть думают, что я здесь.

— Здорово, — восхитилась Каролина. — Тебя бы в старинные шпионские времена.

— ...Но куда нам спрятаться? И как?

Она сказала:

— Я знаю. Там не найдут. Идем.

Скинула халат, взяла со стула сумку и пошла к двери. Каролина не теряла времени на лишние слова — особенно когда следовало торопиться.

На стоянке турболетов, где брызгал октябрьский дождик и с крыш сердито каркали промокшие вороны, Каролина показала на самый маленький летаппарат:

— Мой — вон тот. Выдали, потому что я не люблю ни с кем. Но вдвоем поместимся.

— Куда ты на нем летаешь?

— На периферийные обсерватории. На Карпатах есть, на Кавказе, на Северном Урале. Мы полетим на кавказскую. Садись. По дороге расскажу.

Через несколько минут они уже летели через облако, в густом тумане, поднимаясь все выше и выше.

— Самая большая периферийка у нас на Эльбрусе. — Каролина говорила как обычно — короткими, обрубленными фразами. — Там Главный Телескоп. Я туда минимум раз в месяц. На день, на два.

— Но что ты объяснишь про меня тамошним коллегам?

— Они тебя не увидят. В обсерватории я только работаю. Не ночую. Ты же знаешь, я не выношу. Там на одной из соседних гор есть заброшенная метеостанция. Старинная, двадцатого века. Гора Чинаяк, 4700 метров над уровнем моря. Устроила себе там гнездо. Идеальное место.

— Ну допустим, мы спрячемся... — Карл прищурился от яркого солнца — полоса туч осталась внизу. — Что дальше?

— Что-нибудь придумаем. Вдвоем — наверняка. Нам нужен покой и нужно немного времени. Мы прилетим, поедем. У меня там полно припасов. Потом ляжем спать. Вдвоем, но без глупостей. Просто обнимемся и час поспим. А потом проснемся и на свежую голову разработаем план.

Он умолк, сам на себя поражаясь.

Стране угрожала страшная опасность, жизнь висела на краешке, но Карл представил, как лежит с ней, обнявшись, и всё остальное поблекло. Огромный мир сжался до размера двух человек — и странным образом не стал от этого меньше.

Через полтора часа прилетели в зону ясной погоды. Земля внизу была складчатая — начались кавказские предгорья. Потом вдали показались

заснеженные верхушки. Одна, раздвоенная, была выше других. Эльбрус.

— Вон она — моя Чашка.

Свободной рукой Каролина показала немного в сторону.

— Почему чашка?

— «Чинаяк» значит «чашка». Похоже, да?

Турболет завис над горой, которая издали выглядела тупоконечной, но вблизи оказалось, что вершина как бы немного вдавлена, с овальной впадиной на макушке.

— Скорее на блюдце.

— Должно быть, древние горцы не знали блюдца. Пристегнись. Сажусь.

От винта с камней взвилась пыль. Карл, перегнувшись, осматривался.

— Это же развалины.

Посередине «блюдца» стояла приземистая постройка без окон, с каким-то ржавым железным кругом наверху. Вероятно, когда-то там торчал метеозонд.

— Я снаружи не ремонтировала. Зачем? Но внутри удобно. Всё есть. Увидишь.

Спустились на землю, причем Каролина, проигнорировав предложенную руку, спрыгнула сама.

Остановились перед дверью. Она была новая, блестящая.

Что-то в стене звякнуло, стальная пластина отъехала в сторону.

— Автоматику поставила, — удивился Ветер. — Сама? Мастер золотые руки.

Внутри было темно, ничего не видно.

— Дура! — выругалась Каролина. — Сумку под сиденьем. Ты заходи, я сейчас. Выключатель справа от двери. Нашупаешь.

Он шагнул в дом, пошарил по стене, но кнопки не нашел, а тут еще дверь, должно быть, на самозакрывающемся механизме, с тихим щелканьем встала на место, и тьма сделалась кромешной.

Где чертов выключатель?
Через секунду свет зажегся сам собой.
Ветер зажмурился. Помассировал веки. Открыл глаза.

Он находился в совершенно голом помещении. Гладкие стены матово поблескивали.

— Пустовато у тебя здесь! — крикнул Карл, оборачиваясь. — Эй, Каролина! Ты что застряла? Ответа не было.

Подождав еще немного, Ветер толкнул дверь. Не отворилась. Поискал вокруг — ни рычага, ни кнопки.

— Каролина, как эта штука открывается?

Тишина.

— Каролина!

Он огляделся еще раз, с удивлением. Вдруг подумал: как это она могла в одиночку так капитально тут обустроиться? Постучал по стене — ого, сплошной металл. И ничего вокруг. Вообще ничего. Металлические стены, металлический пол, металлический потолок. И металл какой-то непонятный. Нет, не сталь.

— Каролина! Да где ты там?

Прошло много времени.

Он звал. Колотил в дверь. Долго отказывался верить.

Но поверить все-таки пришлось.

Ветер умолк. Прислонился спиной к стене. Тряхнул головой. Несколько раз повторил: «Нет. Нет. Нет. Не может быть. Этого. Не может. Быть».

Потом опустил на пол и закрыл лицо руками.

Мир Карла Ветра стал совсем пуст. Как эта комната.

(ИЗ ФОТОАЛЬБОМА)



Нашел у д. Ф.!!! Holy shit...

Не дочитал чуть-чуть, потому что мочи не было. Брюхо подвело до урчания и голодной тошноты. Еще бы! Считаю, сутки не жрамши, только чай пил. Надо подкрепить организм, а то неизвестно, будет ли потом время.

Короче, пошел в буфет. Отстоял сорок минут в длинной очереди, время было уже обеденное, зато покушал плотно, с запасом: суп харчо, битки с гречей, два бутерброда с краковской, компот. Думал колбаски еще взять — она была хорошая, жирная, но заглянул Шванц, пошарил взглядом по столикам, поманил пальцем. Черт знает, откуда он всегда знал, где Филиппа найти.

Капитан был в хорошем настроении, весь лоснился от довольности.

— Уже взяли, — сообщил он, хлопнув Бляхина по плечу. — Даже выезжать не пришлось. У меня сегодня Клобуков поставлен под наружное — я же хотел его брать. А он на вокзал отправился, как раз с супругой. В Кострому она собралась, операцию какую-то делать. Живо звоню в шестой, транспортный: так, мол, и так, помогайте, смежники. Поднимайте ваших, железнодорожных. У них опыт, сработали чисто. Муж с перрона ручкой помахал, поезд тронулся, а через десять минут на Сортировочной — техническая остановка. Сняли голубу под белы ручки и в машину. С минуты на минуту доставят. Пойдем потихоньку в приемный блок. Поглядишь, как я буду принимать мадам Носик-Клобукову по своей методе. Тебе понравится.

Про то, как Шванц принимает арестованных баб, если интеллигентка, или шибко заслуженная, или какая-нибудь фифа, Филипп слышал, но видеть не доводилось. Принцип тот же, что с мужиками: сразу сбить форс, на карачки поставить. Говорят, на женщин, которые много о себе понимают, это еще лучше действует.

Там ведь по правилам как положено, в приемном? Сначала задержанного помещают в «конверт» — узенький темный боксик, где не повернешься. Пока конвой оформит сдачу, пока то-сё. А человек сидит, трясется. Он еще тепленький, только с воли, ни хрена не соображает. В темноте-тесноте не очухаешься, с мыслями не соберешься.

Потом ведут на личный досмотр. Если баба — через женотделение. Приказывают догола раздеться и далее по инструкции: откройте широко рот — и пальцем в резиновой перчатке под язык, по деснам; встаньте на локти и колени — и тоже лезут, щупают. Мужик у в одно место, бабе в два. Культурной дамочке оно страшно и стыдно, даже когда обыск проводит сотрудница, а тут в самый пикантный момент открывается дверь и заходит Шванц. Дамочка пищит, хочет прикрыться, а ей: ни с места! И стоит она в характерной позе, на четвереньках, гузном и всем прочим кверху перед следователем, вся как есть, беззащитная и срамная. А Шванц не торопится, похаживает, задает ей разные вежливые вопросы. Налаживает отношения, выстраивает правильный контакт. Большинство, говорят, от стыда реветь начинают. И после этого можно уже не бить. Максимум — пару раз по щекам, для встряски. Оно и следователю приятней, чем в «Кафельной» говно нюхать.

Поэтому Филипп пошел за капитаном с большой охотой. Любопытно было поглядеть. И какая у Антохи жена, тоже интересно.

В кабинете у начальницы женотделения пришлось обождать. Она, старший лейтенант госбезопасности товарищ Баландян, вообще-то была женщина веселая, компанейская. Филипп ее раньше только в столовой видел — обязательно в окружении мужиков, всегда регочет, всегда папирота в зубах, но сейчас, при исполнении, встретила их строго.

— Не бойся, не опоздал, — сказала она Шванцу. — Оформляют еще.

К Бляжину обратилась официально:

— Садитесь, товарищ. Вы здесь первый раз, обязана взять с вас подписку.

Шванц подмигнул — непонятно, к чему.

Надо так надо. Филипп сел, обмакнул ручку.

— Пишите: «Я такой-то такой-то обязуюсь перед начальником женотделения Приемного блока ст. лейт. ГВ Баландян З.А. во время наблюдения за процедурой досмотра, под угрозой дисциплинарной и партийной ответственности...» Поспевааете?

— Щас... «партийной ответственности». Дальше что?

— «...слюней не ронять и не дрочить».

И заржали оба.

А, это у них хохма такая. Что ж, можно и похохмить за компанию. Почему нет?

Он спокойно дописал. И серьезно так:

— Каким местом подписывать, товарищ старший лейтенант?

Баландян загоготала, с размаху впечатала Филиппу ладонью по спине (ничего так, крепко) — и Шванцу:

— Наш человек!

— Наш-наш. Ты, Зоя, его часто видеть будешь. Как говорили в дореволюционную эпоху, люби и жалуй.

Филипп, опять шутейно, вскочил, щелкнул каблуками, поклонился что твой кадет.

Баландян неуклюже изобразила дамскую присядку — как в кино про бар: ноги раскорякой, руки врасстыпыр — будто оттягивают юбку.

— Тогда я ему свою визитную карточку дам. Ту, которая для своих.

— Ага, дай. Ему понравится. — Шванц рассеянно поглядел на часы. — Посмотрю, скоро ли.

Но пошел не к двери, а к стене. Там стоял фотоаппарат на штативе, зачем-то направленный объективом в зеркало.

А товарищ Баландян вынула из стола фотку — размером с почтовую открытку.

— На, Бляхин. Чужим не показывай. Только своим.

Это и была открытка, только самодельная. Но сделана хорошо, почти как типографская. Посередине в овальчике сама Баландян, а вокруг голые женские туловища,

без голов — три передом, одно задом. И надпись: «От Зои Б. с товарищеским приветом!»

И не боится, что стукнут. Хотя кому она нужна, с ее женотделением, на нее стучать? И потом, «свои» — это, наверно, всё начальство. Ушлая баба, сделал себе заметку Филипп, надо будет к ней присмотреться.

— Это я отсюда фоткаю тех, кто пофигуристей, — показала Баландян на аппарат.

Зеркало-то, оказывается, было не просто зеркало, а окошко из посеребренного стекла. Близко подойти — насквозь видно. Туда-то Шванц и смотрел.

— Завели. Раздевается, — сказал он. — Ну, я пошел. Любуйтесь отсюда. Не шумите только.

Старший лейтенант встала у стены, поманила Филиппа. Чего там, за окошком, он пока не видел — Баландян была дама в теле, загораживала. Но вот она нажала какой-то рычажок и отодвинулась. Стекло теперь стало совсем прозрачным.

Бляхин увидел комнату, почти пустую, если не считать стола, за которым сидела грузная тетка-сержант, что-то писала. Посередине еще стол, а перед ним — невысокая женщина с короткой стрижкой. Она была в лифчике, трусах, поясе.

— Чулки-то зачем? — спросила. — Что под ними спрячешь?

Голос был так хорошо слышен, что Филипп вздрогнул. Баландян приложила палец к губам, показала куда-то вверх. А, это она рычажком еще и какую-то заслонку открыла, ясно.

— Снимаем, снимаем, — буркнула сотрудница, не поднимая головы. — Всё как есть.

Филипп оглядел фигуру клобуковской супруги — ничего баба, подходящая. Молодая, лет тридцать. Плотненькая, но не жирная. Где надо широкая, где надо — тонкая. Наверно, спортсменка. Ноги только малость коротковаты. И мордашка не сказать чтоб особой красоты, однако ничего, с огоньком.

Ждал, что арестованная станет препираться. Ошибся. Пробормотав что-то сердитое, Мирра Носик быстро сняла всё, что оставалось.

Появилась возможность оглядеть ее женские места. Ну что сказать? Грудки подходящие. Не подумаешь, что дважды рожала. Снизу тоже такое аккуратненькое всё, ладное. Повезло Антохе.

— Разделась, и что? — подбоченилась задержанная.

Ого, сказал себе Бляхин, переводя взгляд на лицо. Свежедоставленные всегда бывают ошарашенные, бестолковые, перепуганные. Даже те, которые хорохорятся. Эта тоже была взъерошенная, но не напуганная, а злоющая. Глазами сверкает, зубы щерит.

С характером бабенка. Поди, вертела рохлей Клобуковым, как хотела. Ничего, Шванц тебя сейчас обломает.

Тетка-сержант лениво поднялась.

— Буду производить внутренний осмотр. Повернуться кругом. Встать на колени, опереться локтями на пол... Нет, головой туда.

Сотрудница мельком оглянулась на окошко, по каменной физии скользнула улыбка. Нарочно ставит так, чтоб развернуть всем хозяйством к фотоаппарату, сообразил Бляхин.

Арестованная встала, как велено.

— На, любуйся, проктолог-гинеколог.

От такого зрелища Филипп аж засопел, а Баландян пихнула его локтем в бок, тихонько хихикнула:

— Ширинка не треснет?

Тут и Шванц вошел. Деловой такой, энергичный.

— А-а, кандидат медицинских наук гражданка Носик! Извините, что вторгаюсь во время досмотра. Это для экономии времени. Я веду ваше дело, а оно у нас проходит как внеочередное по срочности. Позвольте представиться: капитан госбезопасности Шванц Соломон Акимович. Да вы не конфузьтесь. Мы с вами будем очень близко, даже интимно знакомы. Никаких секретов у вас от меня не будет.

В первую секунду Носик хотела подняться, но сержант с неожиданным проворством схватила ее за голову и пригнула обратно.

— Без приказа не вставать!

— Кыш отсюда, волдырь гнойный! — крикнула задержанная. — Кыш, я сказала!

Да как отпихнет сотрудницу! Вскочила на ноги, пошла на Шванца. Руки в боки, не прикрывается, рожа от ярости вся перекошенная.

— Вам чего от меня надо? Зачем с поезда сняли? В Костромской больнице девушка, ожоги третьей степени. Завтра не прооперирую, без лица останется. А ты, что ты сюда приперся, онанист слюнявый! Пялится, пузыры!

И на волдырь, и на пузырь Шванц был действительно похож. Опять же про слюнявость верно — губы у него всегда мокрые, потому что облизывает.

— Ни фиги себе, — шепнула в ухо Баландян. — Таких я еще не видела. Сейчас будет цирк с дрессировкой.

Сзади подскочила сотрудница, профессионально завернула Мирре Носик правую руку, но чертова баба двинула сержанта локтем левой поддых и высвободилась, а тетка согнулась пополам.

— Прекратить истерику! — Капитан влепил арестантке звонкую, сочную пощечину.

У той мотнулась голова, но полоумная докторша не сжалась, не попятилась. Наоборот, завизжав от бешенства, ринулась на Шванца. Тоже ударила — очки полетели в сторону, да и впилась ногтями прямо в лицо, в глаза.

— Гадина! — кричит. — Убью!

Заорал и Шванц, от боли.

Баландян побежала к двери, вопя:

— Конвой! В смотровую!

В комнату, толкаясь плечами, ворвались двое здоровенных бойцов. Еле оторвали докторшу от капитана, швырнули на пол, стали колошматить сапогами.

Шванц закрывал лицо ладонями, между пальцев стекла кровь.

— Глаз! Не вижу ничего! Сука!

Оттолкнул одного охранника.

— Пусти! Дай я!

И с разбегу лежащей носком по голове. А потом еще, еще, еще.

Филипп как прирос к окошку — ни отодвинуться, ни зажмуриться.

К ним туда вбежала Баландян:

— Соломон, убьешь! По башке не бей!

Схватила Шванца за ремень, кое-как оттащила.

Посмотрел Филипп на голое неподвижное тело и сразу понял: хана. Откинута рука вывернута, как у живого человека не бывает. Пальцы не шевелятся. Лицо черное и красное, и лужа растекается все шире. Вправду убил. Как быстро-то... Минуту назад был человек, говорил что-то, кричал, дрался — и всё, нету.

ЧП вышло. Настоящее ЧП.

Хорошо это для него, Филиппа Бляхина, или плохо — вот в чем вопрос.

Потом, в медпункте, когда врач зашивал Шванцу порванное веко, стало ясно, что ничего хорошего.

— Сука, сука, — все повторял Шванц, ойкая и матерясь. — Где твое обезболивание, коновал! Айй!

— Сейчас, сейчас. — Доктор работал иглой. — Постарайтесь не трястись, товарищ капитан. Это же глаз — не дай бог ткну. У вас травмирована роговица. Потом к окулисту сходите, обязательно. Нельзя запускать, может образоваться бельмо.

— Нет, ты видал вражину, Бляхин? — скрипел зубами начальник. — Ты свидетель. Напишешь в рапорте, как она меня пыталась убить.

— Напишу. Что вы ее толкнули в порядке самообороны, а она упала, стукнулась головой.

А ведь это у Шванца прокол, серьезный, внутренне ликовал Филипп, еще не догадываясь, чем всё закончится.

Перебинтованный капитан сделался малость спокойней — наверно, укол подействовал. Но оставшийся глаз сверкал лютой яростью, какой Бляхин у вечно балагуриющего начальника никогда не видывал.

— Короче, так, — сказал Шванц, когда они вышли. — План психологической обработки Клобукова через жену отменяется. Придется его все-таки брать, ничего не попишешь.

И бляхинское ликование сникло. Внутри всё сжалось, холодно вспотели ладони.

Пропадал Филипп, бесповоротно пропадал. Шванц не дурак, отлично понимает, что с арестованной Носик он крепко запопал и что Бляхин, несмотря на обещания, это ЧП против начальника обязательно использует. Теперь уж капитан точно вышибет из Антохи показания на старого знакомого. Железно.

— Погодите чуток, — как бы с задумчивостью в голосе проговорил Филипп. — Успеется. Хочу нажать на писателя. Есть у меня одна идейка. Прикажите его доставить на допрос.

Единственный глаз, не прикрытый стеклом (очки-то расколотились), впился, казалось, прямо в душу.

— Лады. Через полчаса Свободин будет у меня в кабинете. Попробуй свою идейку.

Никакой идейки у Филиппа не было, один только ужас. Отсрочить бы клобуковский арест, а там, может, что придумается.

Расставшись с начальником, Бляхин понесся к себе рысцой.

Полчаса... Дочитывать надо, скорей. Вдруг на последних страницах что полезное?

(ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА)

ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА

Неизвестно, сколько времени Ветер так проходил. Может быть, очень долго. А может быть, wenige минуты. Неизвестно измерить течение времени, когда ни о чем не думаешь. А с чем думать в совершенно пустом мире?

И был ему голос, и голос ответил:

— Брось, Карл. Я не тебе говорил. Люди сами придумывают себе любовь. Чаще всего она человеку ничего не об'ясняет, а только еще больше запутывает. Нужно на все сущностные вопросы находить ответ самому, без чужой помощи. Ты только что получила ответ на очень важный вопрос. Хорошо ли человеку существовать от другого человека? Плохо. Человек приходит в мир один, один же и уходит. Не то он и красота.

Голос был хорошо знакомый, Максим Лявонич. Сначала Карл принял тихий слезам, не отнял ладоней от лица. Он несколько не удивился, что заговорила мертвец. В другом мире могла приобщаться что угодно. В том числе ослепления обратного разговора на прощание с человеком, которого больше нет. Не самозабывшее слово "красота" заставило Ветра задрагать.

Он кончился.

И увидел лицо Старинного.

Оно было бохатым, почти во все противоположную сторону. Вернее, это было не все лицо, а только его часть от бровей до ушей. Судя по морщинам в углах глаз, Максим Лявонич улыбался. Глубоко и ослепительно, но в то же время и радостно.

— Ни то он и кто? — переспросил Ветер, уверенный, что неизвестно для себя ушел и видит сам.

— Красота, — вновь прозвучала странный голос. — Эти изменения они все различные существа, обитающие во Вселенной. Красоты могут быть разными угодно, но от других форм жизни их отличает два качества: способность к рациональному мышлению и к выбору. Первое без второго useless и лишнее. Второе без первого — живое.

— Кто "они"?

Какой страшный сон, подумал Карл. Не знакомый, совсем незнакомый. Слышать Максима Лявонича и смотреть ему в глаза было отрадно.

— Те, кто неслучайно возникли на Земле. Они тоже красота, но трудно об'яснить, как они выглядят, и в они она не привык. Они, собственно, не выглядят в ничем значимыми образом, потому что здесь несомненно имел система рецепция... — Старинный обмолвил, дернул бровь. — Конечно. Вот так. Видно, что их цивилизация гораздо более древняя и развитая, чем наша. И обитает они в другом... пространстве. Назову их условно "Имми". Имми невозможно увидеть и услышать — в нашем понимании. Нет, не об'ясню... Видишь ли, Вселенная устроена неподобно луковички, в которой много слоев. То, что называет "вселенной" люди, — только один из этих слоев. Наши космические корабли могут забираться по этой плоскости очень далеко, а в то же время освоить рядом, близко, расположенный соседний слой. Но мы не умеем в него попадать. И мы совсем не пошел в него измаришь... Я к вам пока не очень разобрался. Но у меня для этого теперь много времени. Лечесло.

Ничего это не сон, вдруг понял Ветер. Это на самом деле. Наряду мной являю, с него действительно говорит Максим Лявонич. Имми. Рассказывает паразитические, но никоим образом не брадманские вещи.

Карл поджался за ноги. Мир больше не был пустым. Не стал еще... страшным.

— И все-таки — какие они, эти Имми? Чего они... хотят? Нет, сначала скажи, где ты? Что с тобой произошло? Как это — "визуализировали"?

— Погоди, погоди, не все сразу... Сначала про то, какие они и чего хотят. Это главное...

ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА

Неизвестно, сколько времени Ветер так просидел. Может быть, очень долго. А может быть, меньше минуты. Невозможно измерить течение времени, когда ни о чем не думаешь. А о чем думать в совершенно пустом мире?

И был ему голос, и голос сказал:

— Брось, Карл. Я же тебе говорил. Люди сами придумывают себе любовь. Чаще всего она человеку ничего не объясняет, а только еще больше запутывает. Нужно на все сущностные вопросы находить ответ самому, без чужой помощи. Ты только что получил ответ на очень важный вопрос. Хорошо ли человеку зависеть от другого человека? Плохо. Человек приходит в мир один, один же и уходит. На то он и крсст.

Голос был хорошо знакомый, Максима Львовича. Сначала Карл внимал тихим словам, не отнимая ладоней от лица. Он несколько не удивился, что заговорил мертвец. В пустом мире могло прислышаться что угодно. В том числе окончание оборванного разговора из прошлого с человеком, которого больше нет. Но свистящее слово «крссст» заставило Ветра вздрогнуть.

Он вскинулся.

И увидел лицо Старицкого.

Оно было большим, почти во всю противоположную стену. Вернее, это было не все лицо, а только его часть от бровей до скул. Судя по морщинкам в углах глаз, Максим Львович улыбался. Грустно и сочувственно, но в то же время и радостно.

— На то он и кто? — переспросил Ветер, уверенный, что незаметно для себя уснул и видит сон.

— Крсст, — вновь прозвучало странное слово. — Так они называют все разумные существа, обитающие во Вселенной. Крссты могут быть какими угодно, но от других форм жизни их отличают два качества: способность к рациональному мышлению и к выбору. Первое без второго умеют и машины. Второе без первого — животные.

— Кто «они»?

Какой странный сон, подумал Карл. Но неплохой, совсем неплохой. Слышать Максима Львовича и смотреть ему в глаза было отрадно.

— Те, кто меня эвакуировал с Земли. Они тоже крссты, но трудно объяснить, как они выглядят Я и сам еще не привык. Они, собственно, не выглядят в нашем значении слова, потому что здесь несколько иная система рецепций... — Старицкий сбился, дернул бровью. — Неважно. Потом. Важно, что их цивилизация гораздо более древняя и развитая, чем наша. И обитают они в другом... пространстве. Назову их условно «Иные». Иных невозможно увидеть и услышать — в нашем понимании. Нет, не объясню... Видишь ли, Вселенная устроена наподобие луковицы, в которой много слоев. То, что называют «вселенной» люди, — только один из этих слоев. Наши космические корабли могут забираться по этой плоскости очень далеко, а в то же время совсем рядом, близко, расположен соседний слой. Но мы не умеем в него попадать. И он совсем не похож на наше измерение... Я и сам пока не очень разобрался. Но у меня для этого теперь много времени. Вечность.

Никакой это не сон, вдруг понял Ветер. Это на самом деле. Передо мной экран, с него действительно говорит Максим Львович. Живой. Рассказывает поразительные, но нисколько не бредовые вещи.

Карл поднялся на ноги. Мир больше не был пустым. Но стал очень... странным.

— И все-таки — какие они, эти Иные? Чего они... хотят? Нет, сначала скажи, где ты? Что с тобой произошло? Как это — «эвакуировали»?

— Погоди, погоди, не всё сразу... Сначала про то, какие они и чего хотят. Это главное... — Старицкий прищурился, подбирая слова. — Вспомни старинную концепцию Бога, в которого верили наши предки. Такая сверхсила, желающая человеку добра, всё могущая и всё знающая, но ни во что не вмешивающаяся. Мол, сам решай: грешить тебе или нет, спастись или пропасть, угодить в рай или в ад. Иные — что-то вроде коллективного Бога, можно их определить как-то так. Только, в отличие от Бога, они меняются и развиваются. Они иногда делают ошибки и потом учатся их исправлять. Но в целом они хотят того же, чего хотели Саваоф, Аллах или Будда: чтобы планеты, на которых есть разумная жизнь, двигались по пути цивилизации и в конце концов стали частью Вселенского Содружества. Это такая... ну, скажем, федерация, в которую входят планеты, достигшие Зрелости.

— А как ее достигают, зрелости? Почему Земля не член Содружества?

— Потому что есть определенный регламент. Зрелость определяется по десяти параметрам. Пока планета в полной мере не соответствует им всем, двухсторонний контакт с нею запрещен. Он может нанести молодой цивилизации непоправимый вред.

— И что это за параметры?

— Сейчас перечислю...

Старицкий поднял взгляд вверх — он всегда так делал, когда хотел сосредоточиться.

— Первое. Индивиды (пожалуй, это слово ближе всего к понятию «крсст») должны освоить принципы развития личности и целеустремленного существования. У каждого жителя планеты

должна быть главная, высокая цель жизни, придающая ей смысл. Не должно быть тех, кто существует бесцельно или ставит перед собой какие-то мелкие, низменные цели.

Второе. Индивиды должны искоренить любые формы общежития, чреватые диктатурой и несвободой.

Третье. Индивиды должны отучиться не только от бессмысленных поступков, но и от бессодержательных, безответственных слов — потому что слово, эмиссия информации, иногда приносит больше ущерба, чем действие.

Четвертое. При этом общество не должно чрезмерно увлекаться серьезностью и целеустремленностью, иначе оно становится слишком механистичным. Индивиды должны не только трудиться ради какой-то цели, но радоваться жизни, отдыхать, веселиться. Это очень важно.

Пятое. Должна существовать возрастная иерархия. Тот, кто дольше живет на свете, должен получать привилегии. Иначе дезориентируется и девальвируется движение по жизни от молодого возраста к зрелому.

Шестое. Само собой, должно быть полностью устранено истребление любых живых существ, в том числе и зверей...

— Постой! — перебил Карл, которому этот перечень всё больше что-то напоминал. — Я в лице хорошо успевал по истории земных цивилизаций. Это же в точности десять заповедей Божьих. Высокая цель — это «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Про диктатуру и несвободу — это «Не сотвори себе кумира». Про сдержанность в эмиссии информации — это «Не суесловь». Про обязательность отдыха и радости — «Чти день субботний». Про возрастную иерархию — «Почитай отца и мать». Потом «Не убий». Седьмое в Библии — «Не прелюбодействуй». А у Иных что идет седьмым пунктом?

— Седьмой параметр: «Индивид должен быть самодостаточен и ни с кем не объединяться в ложноединые союзы». В общем, то же самое... Хм, да и остальные параметры, в сущности... Какие там в Библии последние три заповеди? «Не укради», «Не лжесвидетельствуй», «Не желай чужого имущества»? Совпадает. «Индивид должен довольствоваться тем, что добыл собственными усилиями, и не покушаться на чужое». «Из отношений между индивидами должны исчезнуть ложь и притворство». «Индивиды должны не только отказаться от всякой агрессии во взаимоотношениях, но и перестать испытывать соблазн насильственной апроприации»... Очень возможно, что Иные внедрили эту программу в человеческую культуру еще в библейские времена. Я спрошу. Это интересно...

Ветер мысленно прикинул, почесал подбородок:

— Нет, мы пока не дотягиваем...

— По их расчетам, Земля будет полностью готова лет через сто. Если, конечно, не произойдет эволюционного отката или, того хуже, девиации. Девиация — это когда нормально развивающаяся цивилизация по той или иной причине вдруг необратимо поворачивает в сторону саморазрушения. Такое, увы, случается...

Ветер подошел к самому экрану, протянул руку и коснулся гладкой поверхности там, где над бровями должен был находиться лоб, не поместившийся в кадр.

— Мне трудно вот так сразу всё это понять. Голова кругом. Но как же я рад, что ты не умер...

— Да, я не вполне умер. — Глаза улыбались. — Мне просто оттяпали башку, доставили ее на космическую станцию и поместили в специальный... скажем для простоты, бокс. Человеческое тело целиком в этой среде находиться не может. Так что теперь я уже в буквальном смысле мозг без

ножек. — Савицкий смеялся, но смех был странный, беззвучный. — На самом деле я сейчас не разговариваю с тобой, у меня ведь нет голосовых связок. Я общаюсь с тобой посредством мысленного излучения, а твоя память преобразует этот импульс в звучание моего голоса. Ты тоже можешь молчать — я прочту твою реплику по глазам... Это вторая попытка контакта Иных с человечеством. Первая оказалась неудачной. Тринадцать лет назад они точно таким же образом пригласили к себе Томберга, и он согласился, но подвела технология. Я говорил: это не боги, у них бывают ошибки. Тогда считалось, что для сохранения личности голова целиком не нужна, достаточно изъять из черепа оперативный сегмент мозга и транспортировать его в небольшом контейнере.

Карл вспомнил «лягушонку в коробчонке» и кивнул: да-да, знаю. Он напряженно слушал, боясь что-то пропустить или не расслышать. Хотя как можно не расслышать, если это излучение мысли?

— Не получилось. Оказалось, что для нормального функционирования мозга нужна вся голова, с системой кровоснабжения и всей инфраструктурой нейросигнализации. Томберга не стало. Технологию пришлось дорабатывать, на что ушло еще тринадцать земных лет. Обратившись ко мне, Иные не скрыли, что операция рискованная и что я тоже могу умереть. Они не умеют врать — девятая заповедь. Но я ни за что не отказался бы от такого предложения. Во-первых, ты знаешь: я и так уже готовился к уходу, потому что жизнь перестала казаться мне интересной. Я в ней всё уже видел, всё испытал. И вдруг такой поворот! А во-вторых, я понял, что Иные правы: без посредника человечество может совершить непоправимую ошибку, оказаться в девиационном тупике... Иным жалко, что земная культура, прошедшая такой долгий путь и настолько близкая к зрелости,

может взять и погубить себя. Вот почему они нарушили регламент. Видишь, это еще и Бог, способный нарушать собственные законы.

— Посредник? — переспросил Ветер. Мысль не поспевала за ошеломляющим потоком информации. — Между кем и кем?

— Между Иными и людьми. Вступать в прямой контакт с человечеством еще рано, поэтому они хотят попытаться действовать через какого-то землянина, который будет всё знать и всё понимать.

— И они выбрали тебя? Это правильный выбор.

— Нет, они выбрали тебя, Карл. Посредником будешь ты. А моя функция называется «переводчик». Что я могу сделать, мозг без ножек? Только консультировать их и общаться с тобой.

— Я?! Но почему именно я?!

— Потому что ты лучше всех подходишь для этой роли. Иным известно, что в следующем году Система выберет тебя регулятором Евразийской Федерации, а это самый развитый анклав планеты Земля. От регулятора Евразии будет во многом зависеть, совершит человечество роковую ошибку или нет.

Ветер молчал, потому что это было уже чересчур. Слишком много всего сразу. Слишком много вопросов, которые перепутались между собой.

Но оказалось, что голова Савицкого умеет не только слышать произнесенные слова, но и разбираться в сумбуре путающихся мыслей.

— Ты хочешь спросить: откуда они знают, кого назначит Система на следующих выборах? Они наблюдают за функционированием этой несложной для них машины и могут просчитывать ее решения. Ты хочешь спросить: почему Система выберет регулятором именно тебя? На это мы тоже тратить время не будем — ответ очевиден: ты обладаешь необходимыми для этой работы качествами. Еще ты хочешь спросить: о какой роковой

ошибке идет речь? И вот на этом мы остановимся подробно, потому что тут — главное.

Раз шевелить губами и произносить слова было необязательно, Карл решил этого больше не делать. Дальше общались беззвучно — просто глядели друг другу в глаза.

— Иные очень обеспокоены проектом «Ангел». Степан Ножик готовил его в лаборатории много лет. Он чрезвычайно талантливый ученый. Его разработки встревожили наблюдателей еще тринадцать лет назад, когда оформилась концептуально-теоретическая стадия этой затеи. А сейчас, когда уже создана технология, ждать больше нельзя. Если не вмешаться, Совет Старейшин утвердит «новую национальную идею», и «Ангел» станет реальностью. Тогда-то и произойдет девиация. В истории Вселенной уже бывали подобные случаи, не раз. Всякая цивилизация, дойдя до определенного уровня технического развития, оказывается перед искушением взять каждого крсста под полную опеку — гарантировать ему стопроцентную безопасность и комфорт, избавить его от необходимости самому решать какие бы то ни было проблемы, даже самые мелкие. Это нововведение всегда диктуется наилучшими намерениями и всегда плохо заканчивается. У чрезмерно опекаемого индивида атрофируется главное видовое качество: способность делать выбор. Она превращается в атавизм и через некоторое время за ненадобностью отмирает. Потому что внутри тебя есть мудрый голос, который лучше знает и никогда не ошибается. Зачем же что-то решать самому? Цивилизация постепенно впадает в детское, а затем и в животное состояние. Пасется на зеленом лугу, щиплет сочную траву, и всем этим сытым безвольным стадом управляет машина. Рано или поздно в машине происходит какой-то сбой, она начинает давать некорректные команды,

и население планеты так же бездумно само себя уничтожает. Вот что такое девиация...

Старицкий на секунду прикрыл глаза, и в пустом помещении стало до гулкости тихо.

— ...Понимаешь, Карл, самая главная, самая трудная задача в жизни индивида и общества — найти правильное сочетание свободы и несвободы. Слово «свобода» красиво звучит, но у этой розы острые и ядовитые шипы. Свобода — это риск ошибки, несчастья, преждевременной смерти и даже глобальной катастрофы. Чем у индивида выше степень свободы выбора, тем он незащищенней. А несвобода — если она разумно и гуманно устроена — гарантирует уверенность и безопасность, оберегает от лишений и ударов, от лишних забот. Младенец в утробе имеет нулевую степень свободы и стопроцентную степень беззаботности. Утроба его кормит, греет, укрывает. Вся история человеческого общества — это поиск правильной пропорции между свободой и несвободой. Здесь одна крайность — анархия, другая — тоталитаризм. Искушение свободой велико, но велика и ностальгия по несвободе, когда нечто большое, утробообразное, знающее лучше спасет тебя от всех бед, удовлетворит все твои потребности и решит за тебя все проблемы. Исторические диктатуры Земли выглядят непривлекательно, потому что они были варварскими и эксплуататорскими. Но еще опаснее тоталитаризм добрый и благонамеренный, ибо он не вызывает протеста. А именно такое общество в перспективе создаст «Ангел», разработанный добрым и благонамеренным Ножиком...

— Он не благонамеренный! — воскликнул Ветер, вновь переходя на голос. — Ты не всё знаешь! И твои Иные тоже! Они ошибаются! Система не выберет меня регулятором! Она снова выберет Ножика! Он научился ею манипулировать! Он составил целый заго...

— Не трать зря порох, — перебил Максим Львович. — Тут всё известно. Я... мы наблюдали за всем, что с тобой происходило. Ты неправильно представляешь себе ситуацию. Отчасти потому, что тебя специально так вели... Ты уже знаешь, что ни Томберга, ни меня никто не убивал. Узурпировать власть Ножик тоже не собирается. Ножик не заговорщик и не махинатор. Он увлеченный энтузиаст, который хочет сделать как лучше.

— Да как же?! Он окружил меня шпионами, он...

— Не было никаких шпионов. За тобой следили — а вернее, изображали слезку — биомашины. Иные давно ими пользуются на Земле, много веков. Это такие ненастоящие, искусственно сконструированные люди, управляемые со станции. Иногда они выполняют какие-то задания, но главным образом просто ведут наблюдение за жизнью.

— Так, значит, китаец Ван Мынь...

— Не только он. Каролина тоже. Эта биомашина сконструирована специально под тебя. Иные взяли данные из нашей «Соски» и создали тебе идеального партнера, который всегда действовал и говорил оптимальным для твоих внутренних потребностей образом. У «Каролины» было задание аккуратно изъять тебя из привычной среды и доставить туда, где ты сейчас находишься. Это одна из баз, которые устроены Иными в разных потаенных уголках Земли для технических целей.

Карл опустил голову. Ему было трудно дышать.

Каролина — биомашина? А все события последних суток — инсценировка?

— А почему нельзя было со мной просто... поговорить? Зачем было «изымать» меня таким сложным и... душераздирающим образом?

Ответа он дождался не сразу.

— ...Потому что они хотели быть уверены в твоём согласии. Без этой встряски ты бы мог не согласиться. И вообще наш с тобой разговор

возможен только на базе. Не только по техническим соображениям.

— Ветер оглянулся на металлическую коробку, внутри которой находился.

— Другими словами... Если я не соглашусь, обратно мне не вернуться?

— Не вернуться. — Взгляд Максима Львовича стал печален. — Риск слишком велик. Людям рано знать об Иных. Это помешает естественной эволюции. Знать может только один человек. Посредник. И учти, что обмануть их невозможно. Согласие должно быть искренним.

— Они что же, меня убьют, если я не соглашусь?

— Нет, конечно. В их мире убийство невообразимо — заповедь номер семь. Но ты останешься здесь до тех пор, пока не передумаешь.

— То есть, меня посадят в одиночку?

— С тобой буду я. Мы будем разговаривать. И в конце концов ты поймешь, что это твой долг. Как понял это я. Обязательно поймешь. И вдвоем мы спасем Землю от девиации. Ты спасешь, а я тебе помогу. Они помогут. Ты даже не представляешь, какие у них возможности.

Ветер повернулся к экрану спиной. Он не хотел, чтобы Максим Львович — и кто там еще слушал разговор кроме Старицкого? — видели его глаза и читали по ним, как по открытой книге. Врать он не собирался. Просто не хотел, чтобы кто-то подглядывал за ходом его мыслей.

— ...Нет, — сказал он. — Я не согласен. Ты... они хотят, чтобы я стал их агентом. Чтобы я манипулировал теми, кто мне доверился, ничего им не объясняя. А Иные — через тебя — будут манипулировать мной. Если понадобится — опять подсунут какую-нибудь фальшивку или подошлют очередную... Каролину.

Обернулся, заговорил вслух и громко — хотел, чтобы звучала ярость.

— Они будут манипулировать моими чувствами, мыслями, моим сердцем. И что я тогда такое буду? Марионетка на ниточках? Чем это отличается от проекта «Ангел»? Что останется от свободы выбора? У меня. У человечества. Ты сам говорил: свобода — вещь рискованная, но без нее нет жизни. Да, земная цивилизация может свернуть не туда и погибнуть. Но на то она и свобода! Даже если мы повернем в тупик, это будет наша, а не навязанная кем-то судьба! Скажи им, что они могут запереть меня здесь хоть навсегда. Я не стану орудием ни в чьих руках!

Эн Брови на экране нахмурились.

— Я объяснял им, что с тобой будет трудно. И пытался отговорить их от операции «Каролина». Но, как ты знаешь, эта операция началась раньше, чем меня эвакуировали, и менять что-либо было поздно. Ты уже влюбился... — Веки дрогнули, сомкнулись. Но речь лилась дальше. — ...Значит, они обойдутся без тебя. Иные попробуют найти общий язык с тем, кого Система выберет регулятором вместо тебя. Это уже просчитано: если ты исчезнешь, главой государства станет директор одного новосибирского лицея, очень достойный сеньор. А мы с тобой будем следить за развитием событий со стороны. Я из своего бокса, ты с базы. У тебя там есть всё необходимое для жизни, включая доступ к аппаратуре наблюдения. Потом, когда проблема «Ангела» разрешится, тебя выпустят... Ты дорожишь свободой выбора — вот она. Выбирай. Действие или наблюдение? Неучастие и спокойная совесть — или общее благо и личный раздрай? Выбирай, Карл: как будет жить Земля — с Ветром или без Ветра?

— Есть и другой путь, — медленно сказал Карл и

— ...

(ИЗ ФОТОАЛЬБОМА)



Автор повести оказался тощим, кадыкастым, с вжатой в плечи лопухой головой. А раньше был пижон. В деле лежала открытка из набора «Советские писатели» с подписью на обороте «Писатель-орденоносец Артур Свободин читает газету с только что напечатанным рассказом о героях-полярниках» — так с фотографии он глядел вальяжно, сам с папироской во рту, в шляпе, в заграничном макинтоше.

Писатель он, конечно, был не из первых, не Всеволод Вишневский и не Александр Фадеев, но и не из последних. Филипп книжками не увлекался, а имя знал — потому что на слуху. Член Союза советских писателей, на льдину к полярникам летал, орден вон у него, «Знак почета». Деньжищ, поди, греб немерено. Какого, спрашивается, хрена человеку не жилось?

Теперь вон жметесь, дрожит. Вошел, увидел в углу, на стуле, забинтованного Шванца, изогнулся весь:

— Здравствуйте, гражданин начальник. — А тот и головы не повернул, закрылся листом «Известий». Капитан сидел по-прежнему смурной, злющий до багровости, но пообещал, что встречать в допрос не будет, — и не встречал.

Заметив за столом другого чекиста, писатель заморгал уже на Бляхина, не понимая, кто тут главней и кого больше бояться.

— Садитесь, Кумушкин, — нейтрально молвил Филипп. — Потолкуем. Бляхин моя фамилия. Есть к вам кое-какие вопросы.

Для разминки поспрашивал анкетное, приглядываясь тайком, исподлобья. Суетится, нервничает — это хорошо. Филипп же, наоборот, держался очень спокойно, даже сонно. Пару раз сделал вид, что подавляет зевок. Ох, нелегко это — прикидываться сонным, когда пульс

скачет и в темечке бьется мысль: это твой последний шанс, последний!

Ну, пора. С богом. Легонечко, на мягкой лапе.

Поднял наконец на подследственного взгляд, убрал из него бюрократизм, включил живой интерес и сочувствие.

Спросил простодушно, с человечинкой:

— Вот я интересуюсь, зачем вы, писатели, так любите от своего природного имени отказываться и берете чужое? Ну, Свободин заместо Кумушкина еще ладно, оно и красивее, и современнее. Но Артур-то зачем?

Подход был правильный. От неказенного и неопасного вопроса литератор прямо ожил:

— У меня природное имя «Лука». Плесень, а не имя. Я с детства люблю роман «Овод», оттуда и взял, по главному герою. А знаете, недавно перечитал — расстроился. Слабая литература.

— Это да, — согласился Филипп.

Шванц недовольно кашлянул, что означало: давай ближе к делу, время! Писатель испуганно оглянулся. Бляхин сделал вид, что смутился, и придал лицу официальное выражение. На самом деле они с капитаном заранее так условились: Шванц будет злыдней, а Филипп как бы тайно сочувствующим.

— Расскажите, при каких обстоятельствах вы стали членом контрреволюционной организации «Счастливая Россия», — строго сказал Бляхин.

Свободин с готовностью кивнул.

— Никита Илларионович... в смысле враг народа Квашнин подошел ко мне после встречи с читателями в клубе завода «Каучук». Восемнадцатого мая это было, в день рождения Карла Маркса. У меня роман есть, «Планета Маркс», — вы, может быть, слышали. Он довольно известный. Фантастический. Про построение коммунизма на планете Марс. Я его написал как творческую полемику с романом Алексея Толстого «Аэлита», в развитие темы.

Кино «Аэлита» Филипп видел, давно еще. Чепуха, но посмотреть красиво. Не знал, правда, что фильм сделан по роману.

Вот ведь хорошая работа — быть писателем. На службу не ходишь, дрыхнешь допоздна, государство тебе путевки выделяет, жиплощадь по льготной норме — и это не считая гонораров. Если повезет, еще и кино снимают. Тоже, надо полагать, не задаром.

— ...Говорит мне: «Интересное произведение, но слишком много идеологической риторики. Я понимаю, это продиктовано политической реальностью. А не хотите написать в том же жанре, но не про Марс, а про нашу страну? И, знаете, так, будто нет никакого Главлита. Безо всяких тормозов, а? Представьте, что вам эту рукопись не надо нести ни в редакцию, ни в издательство. Полная воля фантазии. Роман или повесть о такой будущей России, в которой вам самому понравилось бы жить. Неужто вам никогда не хочется сделать себе самый драгоценный писательский подарок — написать что-то не для читателей, а в стол?» Он долго про это говорил. Никита Илларионович обладал очень сильным даром убеждения. И вообще... Хотелось говорить с ним, просто быть рядом всё время. Очень интересный он человек... был. — Тут Свободин дернулся посмотреть на Шванца — но того за газетой было не видно, и писатель продолжил. — В общем, увлек он меня идеей. Я стал бывать у него на Маросейке. Познакомился с его друзьями... в смысле с остальными членами контрреволюционной организации. Сначала это были Кроль Сергей Карлович и брат Илариий, потом появился молодой физик Сверчевский. Но я его видел на Маросейке только один раз. Второй раз уже здесь, на очной ставке... Гражданин Шванц знает.

— Чего ж вы туда повадились ходить-то? — закручинился Филипп. — Неужто не понимали, в какой тряпине вязнете?

Капитан показал из-под «Известий» большой палец: так держать!

Писатель виновато повесил голову.

— Даже не знаю, как объяснить... Там, на Маросейке, ни о чем таком как-то не думалось. Что это нехорошо — наши разговоры. Или что опасно... Не знаю, как

объяснить. ...Словно другой мир, где всё... иначе. Разговаривали только о значительном, о... высоком. Ну, то есть мне так казалось, хотя на самом деле, конечно, разговоры были вражеские, — спохватился Свободин. Сбился. Зажестигулировал в поиске слов. — Все были... казались... очень умными, добрыми. Брат Иларий — тот просто божья коровка, светится весь. Сергей Карлович, правда, был злой на язык. И может быть, вообще злой. Но слушать его всегда было очень интересно. Вы поймите — я же писатель, мне всё интересно! Вражеского умысла у меня не было!

Последнее было адресовано не Бляхину, а безмолвному Шванцу.

Филипп постучал карандашом по столу, как бы в задумчивости. Это был знак, что капитану пора выйти — допрашиваемый дошел до правильной кондиции, готов к откровенным показаниям. А при Шванце он будет зажиматься, потому что боится. Капитан на первом допросе в порядке дрессировки ставил его на колени и бил грязным веником по морде. Еще заставил сто раз написать на листке «Я не писатель, а говно». Свободин плакал и потом несколько дней заикался.

— Продолжайте, товарищ Бляхин. Я скоро вернусь.

Капитан отложил газетку, вышел.

Повадка у Филиппа сразу изменилась. Он отодвинул протокол, наклонился над столом.

— Я, товарищ Свободин, вашу повесть прочел на одном дыхании. Оторваться не мог. Словно сам в будущее попал! Как вы там завернули, а?

Говорил вполголоса и быстро — типа пока начальника нет.

— Да?! — Писатель весь засветился. — Правда же там нет ничего антисоветского! Это ведь про далекое будущее, про двадцать второй век!

— Мировая книжка, совсем не вражеская, — подтвердил Бляхин. — Я считаю, вы за остальных отдуваетесь. Ужасно за вас переживаю. Я ваш читатель всегдашний. Подпишите мне, пожалуйста, на память, а то капитан вернется — при нем нельзя.

И — открытку на стол, из дела. Она все равно там без инвентарного номера лежала, между страниц.

Свободин взял авторучку. Бляхин застенчиво попросил:

— По имени можно? Меня Филиппом зовут... Я уверен, что всё обойдется. Разберутся. Так что пишите «товарищу».

— А гражданин Шванц говорил... говорил, что меня... расстреляют.

У Свободина задрожали губы, глаза налились слезами.

— Вы на него зла не держите. Он если кого считает врагом, прямо лютеет. У нас даже свои его боятся. А враги его ненавидят. Видали, у него голова перевязанная? Это товарища капитана гадина одна убить хотела. Но вы не нервничайте, Лука Трофимович, не дам я вам пропасть. Советская литература мне этого не простит.

Дверь была закрыта неплотно. Шванц стоял в тамбуре, слушал.

— Я с вами буду в открытую, — продолжал крутить шарманку Филипп. — Потому что верю: вы нашей родине не враг. Я помочь хочу. Только и вы мне помогите. Следствию не вы нужны, мы же понимаем, что вы увлеклись, оступились. Нам Иларий нужен. Вы вот говорите «божья коровка», а он куда как непрост. Улетела коровка-то, когда жареным запахло. На воле порхает, пока вы тут мучаетесь.

— Я знаю. Гражданин Шванц меня про Илария много раз спрашивал. Я бы сказал, но я честно не знаю.

— Верю. Но память у человека как устроена? Ее ворошить надо — глядишь, что и выплывет. Давайте вместе попробуем. Вспоминайте про монаха всё подряд.

— Сейчас... — Свободин сосредоточился, заскреб подбородок. — Ну вот, не знаю, пригодится или нет... Был один спор. То есть не спор, а... Брат Иларий никогда не спорит. Он так наклоняет голову, словно обдумывает слова собеседника, вертит их, осмысляет и поворачивает на собственный лад... Нет, правда, совсем ерунда. Даже не знаю, стоит ли?

— Рассказывайте, рассказывайте.

— Говорили про вечное русское — про смысл жизни. Я излагал свою всегдашнюю идею: что человек должен стараться быть самим собой, не подстраиваться под ожидания окружающих, не усреднять и не «стандартизировать» свою индивидуальность. Иларий сначала кивал, а потом говорит: «Но человек может быть не очень хорошим и даже совсем нехорошим. Разве это правильно, если он такую свою индивидуальность станет пестовать? Я полагаю, что назначение жизни не "быть собой", а "стать собой". Родился ты на свет, допустим, желудем, который может вырасти могучим дубом, а может и не вырасти. Попадет не в ту почву, или ствол искривится, или засохнет. Надо всё время помнить, что ты не просто желудь, а дуб. И дорасти до своего истинного размера». Я говорю: «А, может, я не желудь. Зачем мне становиться дубом?» «Ты, отвечает, все равно кто-то потенциально прекрасный, у Бога по-другому не бывает. Не желудь, так семечка плодоносной яблони или орешек корабельного кедра. Над помнить одно: то, что не растет, не имеет смысла, а что не выросло в полный рост, то пропало зря». Я потом долго про это думал...

Створка двери слегка качнулась. Это значило: теряем время, Бляхин.

А писатель, говорун, увлекся — не остановить.

— Еще брат Иларий однажды рассказал про себя историю, смешную. Как встретил на улице дворняжку, несчастную, голодную. Говорит: «У меня деньги не всегда бывают, а тут в кармане рубль лежал». Рядом продмаг, и очереди нет. Он зашел, купил на все дешевой колбасы, такой, знаете, «собачьей радости». Выносит, протягивает собаке, а та не привыкла от людей ничего хорошего ждать — и деру. Иларий за ней. Она — пуще. Через двор, через помойки какие-то. Он бежит, кричит: «Погоди! Гляди, какая вкуснятина!» Даже кинул ей кусок колбасы вслед — может, подберет. А собака решила, что камень, и припустила еще быстрее. Так он ее и не догнал. Подобрал колбасу, вытер рукавом. Съел сам. Говорит: «Не получилось собачьей радости, так мне вышло

в радость». Все засмеялись, а он удивился и обрадовался, что получилось смешно. Он совсем не умеет шутить...

Дверь снова нетерпеливо дернулась.

— А вы когда его последний раз видали, Илария? Расскажите подробно, до последней мелочи.

— Я уже рассказывал гражданину Шванцу до последней мелочи. Но я могу еще раз, если нужно. Для вас — постараюсь. Там рассказывать-то нечего. Значит, так... Это было за два дня до моего ареста, 29 июля... Я опоздал на доклад и пришел, когда Сергей Карлович спорил с новеньким, с физиком, про науку будущего, а брат Иларий уже уходил, торопился куда-то. Он стоял у окна с Квашниным. Я на них не смотрел, я заинтересовался спором... Погодите, погодите. Вспомнил! — Свободин встрепнулся. — Только сейчас вспомнил. Само выплыло! Я краем уха слышал, как брат Иларий сказал что-то такое про плацкарту. Точно! Что ему обещали плацкарту на поезд.

— Куда? — весь подался вперед Филипп.

— Не слышал... Квашнину, наверное, он сказал, но я не слышал. Ни куда, ни когда... Всё, я правду говорю.

Видно было, что правду и что больше из его памяти в данный момент ничего не выжмешь. В таких случаях методичка рекомендует сменить тему, а потом вернуться к интересующему предмету с какой-нибудь другой стороны.

— А чем у вас заканчивается, с Ветром-то? — Бляхин покосился на дверь.

Писатель обрадовался.

— Вам интересно? А прикажите, пусть мне дадут бумаги и карандаш. Я допишу, прямо в камере.

Ага. И крем-брюле тебе в хрустальной вазочке.

— Не положено. Расскажите пока так, коротенько.

— Коротенько трудно будет. У меня там еще много придумано. Сейчас, попробую... — Свободин уставился в потолок, прищурился. — Понимаете, у меня возникла гипотеза, что если Вселенная устроена на манер гигантской слоистой луковицы, то так называемая смерть — это не конец бытия, а перемещение нематериальной

субстанции, души, из одного слоя «луковицы» в соседний. Такое наслоение параллельных миров, понимаете? И вот мой герой попадает из одного слоя «луковицы» в другой...

Горе ты луковое, думал Филипп, пропадешь ни за что, и я вместе с тобой, потому что нет от тебя, болтуна, никакого проку.

Резко распахнулась дверь.

Шванц, за ним конвойный.

— Увести. Допрос окончен.

Филипп в панике вскочил. Как? Почему?

— Пожалуйста, това... гражданин Бляхин! Гражданин Шванц! — лепетал Свободин, которого охранник за локоть вел к выходу. — Разрешите мне закончить повесть! Пожалуйста! Гражданин Бляхин, объясните гражданину капитану!

Но Филипп на подследственного больше не смотрел, только на Шванца.

А тот выглядел уже не таким бешеным, как раньше. Даже довольным.

— Есть результат! Хорошо сработал, Бляхин. Теперь мы знаем, зачем Бах встречался с Клобуковым. Тот доставал ему плацкарту по своей университетской линии, это ясно. До какой станции билет, это мы установим, но пункта следования мало. Иларий обязательно должен был рассказать Клобукову, куда именно едет. Или к кому. — Начальник потер руки. — Сегодня изымаем доктора. Ровно в полночь. Из дома, по-тихому. Поработаю с ним по своему методу.

В грудь вступила ломота, под ложечку тошнота. Вот он, конец. Уже к рассвету будет у Шванца полный набор показаний на оперуполномоченного Бляхина. Сам капитан и сочинит, а Клобукова заставит подписать.

— Если скажет добром, где Бах, — отпущу под подписку о неразглашении, и наркомюст Крыленко ничем не обеспокоится. А коли заупрямится — будем обрабатывать по полной, и черт с ним, с Крыленкой. Тогда и тебя подклучу, с твоей психологией. Вон ты какой ловкач. Я прямо снова тебя опасаться начинаю.

И оскалился — вроде как пошутил, но в глазу веселости не было.

— Иди-ка ты домой, Бляхин. Рожа у тебя бледная, руки дрожат. Отдохни, поспи. Ты мне пока что не нужен. Я тоже до вечера отдохну. Той ночью не спал, в следующую тоже не прилягу. И здесь, зараза, стреляет. — Потрогал повязку. — Таблеток, что ли, пойти попросить? Ступай, Бляхин. Завтра придешь. Я тебе свой улов предъявлю. Накормлю барабулькой. Я в детстве на Черном море знаешь сколько ее добывал?

В коридоре Филипп уперся рукой в стену, а то пошатывало. Когда Шванц сказал про Черное море, вдруг вспомнил про Севастополь, как был там с Антохой и Рогачовым. Вот во что Шванц вцепится мертвой хваткой. Были в белом тылу — значит, завербованы врангелевской контрразведкой. А где Врангель, там и французы с англичанами. Нагородит Клобуков с три короба. Сам сгинет и его, Бляхина, за собой утянет. Сначала в «Кафельную», а потом в подвал, мордой в паклю...

Прямо почуял, как пахнет ею, паклей.

Но от ужаса, скрутившего брюхо, оттуда же, из самого нутра, сжатой пружинной завибрировало другое чувство — давнее, забытое, но, оказывается, живучее: врешь, судьба-сука, не возьмешь, не дамся, зубами выгрызусь!

До полуночи время еще есть. Мало, но есть.

Темно, дождливо, зябко. Середина октября, а холодище такой, что впору подштанники одевать. Хорошо хоть ветер не задувает — Филипп пристроился за летним киоском «Мороженое», сейчас заколоченным. Малый козырек крыши кое-как прикрывал от капель, но стоило чуть отодвинуться от дощатой стенки — и струйка попадала аккуратно за шиворот. Бляхин шепотом матерился, переминался с ноги на ногу. Подштанники не подштанники, а шерстяные носки уж можно было догаться взуть.

С другой стороны, это повезло, что непогода. Редко кто пройдет по аллее. За полчаса всего парочка и еще двое одиночных. Шагали все быстро, подняв воротники, не глядя по сторонам.

За Клобуковым наружка вела наблюдение весь август и сентябрь, устанавливая маршруты и привычки. Обычно он заканчивает в семь, в полвосьмого, и двигается с Пироговки домой, в Пуговишников переулок, всегда одним и тем же путем: по Трубецкой, а потом не через улицу Усачева, а непременно через парк Мандельштама.

Там Филипп и пристроился, в самом темном месте парка, под перегоревшим фонарем. Занял позицию в девятнадцать пятнадцать, только-только кончило смеркаться.

Стоял, тискал в кармане рифленую рукоять, жутко тряся — как он будет стрелять в живого человека, даже на войне не доводилось. Но сжатая пружина в животе тоже трепетала, и ее напор был сильнее страха.

А нету другого выхода. Или убить, или самого убьют.

Ничего. На Филиппа никто не подумает — зачем ему какого-то доктора Клобукова убивать? Пистолет не казенный, а собственный, еще с Гражданской. Потом в пруд кинуть, не същут. Для следствия выйдет только лучше, что подозреваемого грохнули. Значит, круг заговорщиков шире, чем предполагалось, а это верная отсрочка. Шванц даже рад будет. Брата Илария все равно рано или поздно по железнодорожному билету найдут. Между прочим, ниточку эту он, Бляхин ухватил.

Это Филипп себя подбадривал, чтобы не ослабеть от нервов. Сколько лет прошло, а по сю пору иногда снилось жуткое — из восемнадцатого года, про дядю Володю. Теперь еще и это будет сниться. Но лучше кошмар видеть во сне, чем попасть в него наяву. Тогда уж не проснешься...

Идет кто-то!

Прижался щекой к сырой занозистой стене. Сердце-то, сердце! Чисто барабан.

Нет, не он. Этот в кепке, а Клобуков в шляпе и с зонтом.

В самом начале восьмого Филипп его видел. Как Клобуков выходит на крыльцо клиники, раскуривает трубку. Из разработки известно, что он всегда так: сначала покурит, поболтает с уходящими, а потом уже идет. Бляхин смотрел на старого знакомого из телефонной будки, метров с пятнадцати.

Даже издали было видно, что и мимо Антохи годы не прошли. Вальяжный, малость раздался, очки на нем иностранные — в загранкомандировки ездит, всё у него в жизни ладно. С Иларием вот только не повезло.

Пока Клобуков курит, Филипп выдвинулся на заранее подготовленную позицию — в парк, за будку. Думал, ждать недолго, а уже почти восемь, и нету. Вот о чем психовать надо — что не придет, а не из-за выстрела. Всего и дела: поднял руку, нажал на спуск. И потом, упавшему, еще раз в голову. Это ни в коем случае не забыть от нервов. Это обязательно.

Внимание! Теперь точно он!

Неторопливый. Будто и не под дождем-ветром, а под ясными звездами. Остановился. Достает что-то из кармана. Книжечку? Ручку зонта зажимает подбородком, неловко. Пишет. И отвернулся — к свету соседнего фонаря.

Самое время! Лучше не будет.

Филипп выбрался из-за киоска, засеменял по мокрому асфальту на цыпках, стараясь не шуметь, хотя из-за дождевого шелеста все равно было бы не слышно.

«Браунинг», вылезая, зацепился за карман. Дернул со всей силы — порвал там что-то. Плевать.

Предохранитель снять, предохранитель!

С пяти шагов стал целиться, но прыгала рука. Ближе надо, в упор.

Нет, не выстрелю, вдруг понял Бляхин с обреченной, чугунной очевидностью. Кишка тонка.

Может, через секунду и преодолел бы слабость, но фигура в шляпе начала поворачиваться — Филипп едва успел спрятать оружие за спину.

Ему Клобукова было толком не видно, один силуэт, зато сам Филипп оказался лицом к фонарю.

— Пойдите, пойдите... — пробормотал знакомый, мало изменившийся голос. — Я вас откуда-то... Бляхин? Ты?!

— Кто это? — хрипло откликнулся Филипп. — Не разгляжу. Повернись-ка к свету, товарищ.

Клобуков повернулся, приподнял зонт, сдернул шляпу.

— Это я, Антон Клобуков! Двадцатый год, помнишь?

— Антоха, мать твою! — пробормотал Бляхин. — А я гляжу, кто это...

Он сейчас люто ненавидел себя. За слякучность. Мог выстрелить в спину — не выстрелил. Уж в лицо тем более не сможет. Тля, навоза кусок. Есть люди, которые жизнь за горло берут и вышибают из нее, что им нужно. А есть слабаки, твари никчемные. И он тоже из них. Сгинет — туда и дорога...

— Какая встреча, через столько лет! Ты откуда? Куда? — кудахтав Клобуков. — А я живу здесь, в пяти минутах. Слушай, пойдем ко мне! Расскажешь, как ты, что. Я тебя не отпущу! Пойдем. Хоть ненадолго.

Вцепился в руку, повел за собой, приговаривая: «Поразительно, просто поразительно!»

Филипп по-тихому спрятал пистолет. Шел, поддакивал: «Вот это да. Надо же. Как говорится, гора с горой».

А уже выйдя на улицу, вдруг остановился.

Ты что же натворил, дубина? Окончательно себя сгубил. Когда Шванц узнает от арестованного, что Бляхин накануне с ним виделся — этого ничем не объяснишь.

От страшной мысли снова схватился в кармане за рукоятку. Но поздно. Улица — не парк. Вон люди идут, и вон, и вон.

— Ты чего встал? Идем, дождь же.

Поплелся. Как овца на убой.

Квартира у Клобукова была хорошая. Отдельная, в новом доме, целых четыре комнаты. Правда, на последнем шестом этаже, в полумансарде и без лифта, а комнатки маленькие, по площади меньше трех

бляхинских, но все равно видно: Антоху недаром допускают лечить больших людей, ценит его государство. Пока поднимались по лестнице, Филипп порасспрашивал про жизненное — нельзя было показать, что внутри весь натянут, как струна. Про удобства спросил (домашний телефон у них, газовая колонка) и про семью — вроде как не знает. Клобуков ответил, что жена у него пластический хирург (черт знает, что это значит), звать Мирра, женаты больше десяти лет, живут очень хорошо, но она, жалко, в командировке, что у них двое детей, сын и дочка — про инвалидность не сказал и, упоминая о дочке, не пригорюнился. Привык, наверно.

На вопрос, где Филипп работает и жительствоует, Бляхин ответил только: «Живу в Москве, работаю на улице Дзержинского», а кем — говорить не стал, тем более что уже поднялись.

Дома у Клобукова было не шибко красиво и не сказать чтоб аккуратно. В узком коридоре два велика — большой и поменьше, три вешалки — высокая, средняя и низкая, и там чего только не повешано. На полу, Филипп чуть не наступил, валялись плюшевый медведь и мячик. Ну ясно, дети. Кабинетик, куда провел Антоха, тоже не ахти: книжки, книжки — ни вздохнуть, ни повернуться.

— Вот моя Мирра.

Клобуков взял со стола фотографию в рамке. На снимке покойница была совсем не такая, как сегодня в приемном. Во-первых, моложе, во-вторых веселая.

— Да, жалко, — вздохнул Филипп. — Ну, в другой раз познакомлюсь.

Антоха, как положено хозяину, суетился. Спросил, ничего, если они прямо тут, в кабинете. В большой комнате сын собирает планер, весь стол занял. Да не надо ничего, сказал Бляхин, поговорим просто, но Клобуков, конечно, не послушал. Бутылку коньяка и рюмки достал сразу, из шкафчика. Ушел на кухню собрать закуску.

Филипп быстро произвел осмотр на предмет какой-нибудь полезной информации.

На письменном столе лежало много бумаг, но всё медицинская чепуха. Что в ящиках?

Рылся, сам посматривал на открытую дверь. В очередной раз обернулся — замер. Там, откуда ни возьмись, появилась девчушка, маленькая. Бесшумно подошла.

Никакая не инвалидка. Руки-ноги на месте, мордашка кукольная, золотистые кудряшки до плеч. Смотрит внимательно, но не в глаза незнакомому дяде, а ниже, на пиджак (Филипп был в штатском, не в форме).

— Здравствуй, красавица, — сказал он улыбочиво, потихоньку задвигая ящик. — Я старый товарищ твоего папки. Давай, что ли, знакомиться. Меня дядей Филиппом звать. А ты кто?

Двинулся ей навстречу, нагибаясь и протягивая руки. Девочка продолжала глядеть в ту же точку, где Бляхина уже не было. Пошла — но не к нему в руки, а мимо, Филиппа вроде как и не видя. Задела ему колено локотком, но даже не повернулась.

Это она, оказывается, шла к высокому зеркалу, на него и смотрела. Остановилась перед ним, замерла. Потрогала ручонкой свое отражение.

Э, да она вот какая инвалидка-то, сообразил Бляхин. По психической части. Оно еще хуже, чем без руки или без ноги.

— Адочка — необычная девочка. Живет в своем мире. — Это Антоха вернулся, с подносом. — Подобные психические состояния пока плохо изучены медициной. Такой ребенок может идентифицировать очень небольшое количество людей — только тех, с кем постоянно общается, а остальных воспринимает как неодушевленные предметы или вообще не замечает. Для Ады в мире есть только я, мама и брат. Недавно купили ей черепаху, и Ада ее признала. Много часов на нее смотрела — и вдруг погладила. Огромное событие в Адиной жизни: население вселенной увеличилось еще на одно существо. С нами она почти никогда не разговаривает, а с черепахой часто. Правда, беззвучно, одними губами. Я много раз пробовал разобрать слова — нет, не понял. Адочка! Ада!

Девчушка обернулась. Опять прошла, задев Филиппа и не заметив, обхватила папашу за ногу. Антоха потрепал ее по волосам.

— Хорошо, что есть отец-мать, — посочувствовал Бляхин. — Без родителей такая пропадет. А сынок твой где?

Клобуков, обернувшись, крикнул:

— Рэм! Иди сюда! У нас гости!

— Щас! — донеслось откуда-то.

— Увлекающийся очень. Трудно оторвать. Не получается у него что-то с планером, но на помощь ни за что не позовет. Гордый, — объяснил Клобуков.

— Рэм? — спросил Филипп. — Что за имя такое? Я знаю «Лэм» — «Ленин, Энгельс, Маркс».

— А это «Революция-Электрификация-Механизация». — Антоха вздохнул. — Миррина идея. Долго с ней ругались, но ее не переспоришь. Сказала: следующего назовешь ты. Я хотел Ромулом, чтобы придать какой-то смысл, но родилась девочка.

Что за сокращение «Ромул», Филипп не спросил. Не хотелось сызнава показывать свою недогадливость.

— Дочку я назвал в честь матери моего отца — Ариадной. Красивое имя. А, вот и Рэмка.

Из-за двери высунулся мальчонка, примерно Фимкиного роста. Даже похожий — тоже скуластый и челка углом, а все же сразу видно: домашний, непутаный. Конечно, с отцом-то, матерью расти — не в интернате.

— Мой старый товарищ, с войны не виделись. Филипп... как тебя по отчеству?

— Просто дядя Филипп. Здорово, конструктор. Давай пять.

Парнишка вошел, пожал руку, задрал голову. Глаза — не Антохины пуговицы, а с небольшим раскосом, в мамку.

— Папа мне про войну и про Первую Конную никогда не рассказывает.

— А ты меня спроси. Мы с Антохой много чего повидали. Боевой у тебя папка.

Мальчишка начал сыпать вопросами:

— А у вас маузер был? А шашка? А вы товарища Буденного видели?

— Как тебя сейчас. И товарища Ворошилова видел. Да что Ворошилова с Буденным — я самого товарища

Сталина видал. Молодого еще, ни одной седой волосинки. Он тоже был член РВС Югзапфронта, как наш...

Спотыкнулся, не договорил про Рогачова. Помрачнел и Клобуков.

— Да-а, там много чего было, на войне. Не говорил тебе папаша, что я его от расстрела спас?

— Нет! Ой, расскажите, а?

Клобуков взял сына за ворот, подтянул к себе и толкнул к двери — ласково.

— Отстань от человека, Рэмка. Сначала я с ним поговорю, а потом уж отдам тебе на растерзание. Если у дяди Филиппа останется время. Топай к своему планеру. Воздушный флот сам себя не построит. Адочка, ступай за Рэмом.

Говорил Антон шутейно, а взгляд был серьезным. И, когда они остались наедине, заговорил про Рогачова.

— Как же он это, а? Вот уж про кого никогда не подумаешь. Я прямо сражен был, когда прочитал в газете. И ведь сам всё признал! Уму непостижимо. Мы с Панкратом Евтихьевичем после войны не виделись. Честно говоря, по моей вине. Он пару раз звонил, звал встретиться, а я уклонялся. Не мог его видеть после той ужасной истории с децимацией. Ты Рэму про нее не рассказывай. Не надо ему знать... А ты после войны с Панкратом Евтихьевичем общался?

— Доводилось. — Филипп повздыхал. — Что поделаешь? Меняются люди. В военное время орлы, а в мирное — вырождение и разложенчество. Сколько таких было? Вот и Рогачов не сдюжил. Потому я от него и ушел. Не было сил смотреть, как он разлагается.

— А где ты теперь?

Бляхин молчал. Думал: полдевятого уже. В полночь придут. Ну — или пан, или пропал.

— Так где? — переспросил Клобуков, расчищая полстола для тарелок с сыром и порезанным лимоном.

— В органах.

Рука, тянувшаяся за бутылкой, разлить коньяк, замерла.

— Сядь, Антоша. Выпивать-закусывать мы не будем. И встретились мы не по случайности. — Решившись,

Филипп больше не колебался. — Я тебя нарочно поджигал, в безлюдном месте. Предупредить хочу, по старой дружбе. Рискую головой. Да поставь ты бутылку. Сядь. Слушай.

Тот сел, будто разом окаменевший, но бутылку из руки не выпустил. Глазами захолопал. Погоди, сейчас еще не так захолопаешь.

— Твоя жена, гражданка Мирра Носик, не в командировке. Она арестована, — жажнул Филипп.

Подскочил.

— А?! Мирра?! Почему?!

— Сядь.

И сразу второй удар:

— Из-за тебя.

— Как из-за меня? В каком смысле?! Где она? Господи... — Клобуков не садился, а вроде как топтался на месте: шагок влево, шагок вправо. — Я поеду! Я с тобой поеду! Нет, я знаю что... Я позвоню одному человеку.

Бляхин ухватил его, рванувшегося, за рукав.

— Никому не звони. Не поможет твой Крыленко. Сядь ты, мать твою! Не мельтеши!

Усадил растерянного Антоху насильно, за плечи. Отобрал бутылку.

— Хочешь спасти жену, делай, как я говорю. Только надо быстро, пока машина не закрутилась. Закрутитесь — не выгатишь. Уж я-то знаю.

Наконец кончил дергаться. Стал слушать.

— С тобой капитан госбезопасности Шванц встретился. В августе еще.

— Кто?

— Про Баха расспрашивал, твоего знакомого.

— А, такой круглый, в очках, вкрадчивый. — Клобуков кивнул. — Но он как-то по-другому представился. Петровым, кажется.

— Неважно. Ты ему сказал, что не знаешь, где Бах.

— Я и не знаю. То есть Иннокентия Ивановича я знаю, много лет, но где он сейчас, не имею понятия.

Брехун из Антохи был паршивый — и сморгнул, и глаза на миг отвел, интеллигенция. В Филиппе мелкими

боржомными пузырьками забулькала надежда. Нажать надо было, надавить.

— Врешь, знаешь. Ты Баху через свою работу плацкарту на поезд пробивал. Из-за этого вранья и жену сгубил. Как только у нас стало известно про твое двурушничество, поступил приказ: арестовать ее.

— Но Мирра-то при чем? Арестовали бы меня!

— Ты поучи нас, кого арестовывать, — жестко сказал Бляхин. — Шванц торопится, на него сверху жмут. Ты заупрямишься, это ему ясно. Поэтому он решил сначала взять в обработку твою жену. Может, она знает. Как у нас обрабатывают, я тебе рассказывать не буду, не имею права. Одно скажу — согласно законам нашего сурового времени. — И, дрогнув голосом, по-человечески: — Знал бы ты, Антоша, что я каждый день на работе вижу... В газете про такое не напишут. Хуже, чем в двадцатом было... В страшное время живем, братуха. И служба у меня страшная...

— Но Мирра ничего не знает! Я ей не говорил!

— Это еще хуже. Ты про особые методы воздействия слышал? Секретное постановление вышло. Поскольку вражеские органы применяют особые методы воздействия против подпольщиков-коммунистов, у нас теперь тоже разрешается, в особых случаях. Этот случай — особый. Шванц не поверит, что твоя Мирра ничего не знает, пока не пропустит ее через все степени допроса, вплоть до третьей. Это, брат, не приведи господь. На третьей степени все раскальваются. И только когда твоя жена ничего не скажет даже после... не буду тебе говорить после чего, только тогда Шванц от нее отстанет, но выпустить уже не выпустит. После третьей степени мы не выпускаем. Тут уже, деваться некуда, арестуют тебя, наплюют на твоего наркомюста. Всё расскажешь как миленький, уж поверь мне. Так что кореша своего все одно не спасешь, зря пропадете вы с Миррой. Затем я к тебе и пришел. Чтоб тебя, дурака, спасти. Узнает Шванц, что я у тебя был, — хана мне. Скажи ты мне, где этот херов Бах. Прямо сейчас скажи. Пока у Мирры ночной допрос не начался.

— Что вам дался Бах! — Клобуков мигал часто-часто, лицо у него было всё пятнами — местами белое, местами красное. — Он совершенно безобидный человек... Я всю жизнь его знаю, с детства! Нет, нет... — Затряс башкой. — Невозможно. Я после этого жить не смогу. Нет!

— А после того, как собственную жену отдашь на муки и гибель, — после этого жить сможешь? Жизнь, Антон, задает человеку выбор. Он редко когда бывает хороший.

Это Филипп проговорил строго, печально.

— Но это будет подлость, гадость! Я не могу...

— Не будь ты дураком! — Бляхин перешел на свистящий шепот, потому что крикнуть было нельзя — в соседней комнате дети. — Все равно выбирать придется — никуда не денешься. Или Бах этот, которого ты никогда больше не увидишь, или жена. Про Баха ты забудешь, заставишь себя забыть. А если вдруг накатит — посмотришь на жену и скажешь себе: «Зато она тут, жива. Это я ее спас». Ну, или будешь всю жизнь вспоминать, как ты ради какого-то Баха собственную жену предал.

Клобуков косо поднялся со стула и пошел вбок тоже косо, в сторону окна. Рвал рукой ворот, бормотал невнятно:

— Не хочу... Не буду я выбирать... Лучше умереть, и всему конец...

Не сиганул бы, с шестого-то этажа, испугался Филипп. С дурака станется. А хватать за руки, останавливать нельзя. Сейчас удержишь — потом выпрыгнет.

Погоди-ка, а, может, оно будет к лучшему? — мелькнула быстрая мысль, но не задержалась. Сынок расскажет милиции, что чужой дядя приходил, именем Филипп. Вычислят.

— Что ж, давай, пожалей свою совесть, — сказал он в спину Клобукову. — Вот тогда ты будешь совсем из подлецов подлец. Жену не спасешь — Шванц ее без тебя тем более в фарш перемелет. И останутся твои детишки круглые сироты, без отца и без матери. На государственном попечении. Рэмка ладно, его возьмут в специнтернат для детей врагов народа. Там не сахар, но, может,

выживет. А про дочку убогую ты подумал? Каково ей одной будет, среди чужих людей?

Хорошо сказал. Клобуков остановился, опустил голову, а руки поднял. Плечи трясутся — плачет.

— Скажи ты мне, не упрямясь. В какую такую щель забился Бах? Я побегу к Шванцу, доложу: Клобуков не враг, всё мне чистосердечно рассказал. Капитану только Бах нужен. Ни ты, ни твоя жена ему не надобны.

Повсхлипывал Клобуков, пошмыгал носом. Прочистил горло. Сейчас заговорит.

Заговорил!

Филипп наострил уши.

— Представьте себе, что перед вами скопище людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь из них убивают на глазах у остальных, и все понимают — им уготована такая же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и без проблеска надежды. Вот вам картина условий человеческого существования.

— А?

— Это цитата. Из Паскаля. Сегодня прочитал, в перерыве между операциями... Условия человеческого существования... И все-таки. Как я потом буду жить, зная, что я подлец?

— Вот все вы такие, интеллигенты. Как что — только о себе! — чуть не плюнул от расстройства Бляхин.

И оказалось, что попал прямо в десятку.

Клобуков обернулся в ошеломлении.

— Это правда. Ты прав! Что я все про себя и про свои терзания! Пусть лучше я буду подлец, чем... Я скажу, скажу...

И опять не сказал, зараза! Прикрыл лицо руками, зарыдал.

Пять минут десятого. Ну как Шванц раньше выдвинется?

Схватил Клобукова, мучителя, за плечи, потрянул:

— Куда плацкарт? Говори же ты, скоро Мирру допрашивать начнут!

— До Горького...

— А там он куда?

— Если б Иннокентий Иванович знал, что его разыскивают и что из-за него других арестовывают, он сам бы к вам явился, — сказал Антоха, будто сам себя убеждая. — Никаких сомнений.

— Конечно. Он же монах. Для них самая сласть — муку принять. Так где он спрятался, в Горьком? Городище ого-го какой.

— Он не спрятался, — еле слышно прошептал Клобуков, на глазах бледнея. — Он уехал на богомолье. В Саровскую пустынь. Помолиться у могилы святого Серафима... Иннокентий Иванович очень его чтит. Потому что Серафим Саровский худшим из грехов называл уныние, во всяком событии видел одну радость. И всех приходящих к нему тоже так называл: «моя радость»... Мощей Серафима там больше нет, их увезли в атеистический музей, но Иннокентий Иванович сказал, не в косяках дело. В воздухе. Сказал, поживу там, пока из меня всё уныние не выйдет, а то я стал какой-то тяжелый... — И вцепился Филиппу в запястье. — Я почему тебе это говорю. Он все равно сам сдастся. Как только вернется и узнает об арестах!

Ну, успокаивайся этим, коли тебе легче, подумал Бляхин. Только кому надо, чтобы Иларий сдался? Хорош главарь эсэровского подполья, который сам добровольно является. Так всю картину поломаешь. И как его потом, при явке с повинной, под высшую меру соцзащиты подводить?

Но вслух ничего такого говорить, конечно, не стал.

— Проверим. Если ты сейчас правду сообщил — живи себе дальше.

Торопиться надо было. Филипп уже шел к двери.

Антоха догнал, не пустил.

— А когда Мирру освободят?

— Врать не буду. Так за здорово живешь отпустить ее нельзя. Канцелярия! Придется подождать. Пока дело закроют, да всякая бумажная волянка. А могут и впать срок. У нас просто так отпускать не любят. Считается, брак в работе.

— Как впать? Ты же говорил...

И вдруг жалко стало его, дурака. Это в Бляхине от огромного облегчения доброта проснулась. В таких случаях, как с арестованной Носик, когда человек загнулся на допросе или помер при следствии, обычно что делают? Сообщают родным: десять лет без права переписки.

Дал старому знакомцу совет, от чистого сердца:

— Ты за нее не переживай. Она врачиха. Медикам в лагере легко. Будет работать по специальности. А ты с ней разведись. Ради сына. Чтоб жизнь пацану не портить. — Про сына сказал с чувством. Потому что про Фимку подумал. — И вообще, Клобуков. Считай, легко отделался. По самому краешку прошел. Меня благодари. Ну, бывай. Пойду, доложу.

— По... пого... погоди! Да как... как же...

Не слушая клобуковского заикания, поскорее, прямо бегом, в коридор, на лестницу, по ступенькам.

Как сработано, а? За полчаса управился. А Шванц со своей касторкой черт знает сколько провозился бы. И не факт, что с результатом.

(ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА)

Церковь будущего

Какаясь бы председателем попросил меня изложить мои предположения касательно будущего церкви ит, вкратце, вкратце будущего. Сохранился ли она или, может быть, исчезнет за историческим? Если сохранится, то для какой цели? И останется ли она такой же, либо должна будет как-то переформатиться?

Попробую ответить на эти вопросы несколько иначе, чтобы не сползти на свой привычный разрыв, ссылаясь на будущее существование. Заранее напишу, что некоторые мои судьи могут пометить мои изложения как и для себя, как вкратце часто и бывает, когда габаритный аппарат не к руке, а к зубу.

Из беседы с Вами, дядя, слышавшими (не было еще «сарафанки», но слышавшими от Социалистич. фронта), я знаю, что две из Вас убеждены, что общество, один из них — это общество, но есть сомнения, а стало быть, там не будет, и мы должны продолжать с определенностью поддерживать религиозную идею, считая веру и церковь — я повторю — «полностью интерпретацией для поддержания истины и общественной ответственности».

Я думаю, что это критическое заблуждение вера в Бога нужна не для того, чтобы сказать «Бог есть истинно», а чтобы сказать истинно об ответственности за так называемые грехи. Если с развитием науки наших с Вами последовательной идеей не является Завтра когда-нибудь уберется издалека религиозии и гуманизма

ЦЕРКОВЬ БУДУЩЕГО

Уважаемый председатель попросил меня изложить мои предположения касательно будущего церкви или, вернее, церкви будущего. Сохранится ли она или, может быть, исчезнет за ненужностью? Если сохранится, то для какой цели? И останется ли она такой же, либо должна будет как-то перемениться?

Попробую ответить на эти вопросы последовательно, уповая не столько на свой посредственный разум, сколько на внутреннее ощущение. Заранее понимаю, что некоторые мои суждения могут показаться вам неубедительными и даже невнятными, как, впрочем, часто и бывает, когда говорящий апеллирует не к логике, а к чувству.

Из беседы с вами, дорогие сомысленники (не люблю слова «соратники», поскольку оно происходит от воинственной «рати»), я знаю, что двое из вас убежденные атеисты, один называет себя агностиком, то есть сомневающимся, а стало быть, тоже не верует, и лишь уважаемый председатель с определенностью поддерживает религиозную идею, считая веру и церковь — я цитирую — «полезным инструментом для поддержания личной и общественной нравственности».

Я думаю, что это принципиальное заблуждение. Вера в Бога нужна не для того, чтобы человек «вел себя прилично», страшась посмертной ответственности за так называемые грехи. Если в результате усилий наших с вами последовательней жизнь на планете Земля когда-нибудь

устроится идеально разумным и гуманным образом, люди и так станут «вести себя прилично», ибо исчезнут несправедливость, неравенство, принуждение, бедность и прочие жизненные обстоятельства, порождающие зло. Значит ли это, что Бог станет человечеству уже не нужен или, скажем так, *менее нужен*? Человечеству — может быть. Я не знаю про всё человечество. Но каждому отдельному человеку без Бога жить все равно будет невозможно... Нет, не то чтобы совсем невозможно — многие ведь и сегодня существуют без Бога... А будет тускло, бедно, приземленно. У неверующего что сегодня, что в отдаленном прекрасном будущем, жизнь — это тропинка от родильного дома до кладбища. И даже если она станет гладкой и тенистой, с чудесными видами на ландшафт, это все равно не более чем путь из точки А в точку Z. Более того, это очень (не могу подобрать точного слова) *мелочный* путь — словно путник следит только за тем, как его ноги делают шаг за шагом, не ломая себе голову над главным вопросом: а куда он вообще идет? И откуда? И зачем? Простите меня, но в такой жизни нет принципиального отличия от существования животного.

Ах нет, я неправильно говорю. Не про то! Я пытаюсь убеждать, рационализировать и заранее продвигу, что вы возразите мне с неменьшей рациональностью. Например, скажете, что конечность и краткосрочность жизни делают альтруизм неверующего человека еще более достойным и прекрасным: атеист творит добро не ради какого-то там Бога, который его вознаградит, а ради будущих поколений.

И это, конечно, правда. Я не отрицаю красоты атеизма, если он сознательно избран. Это одинокое, мужественное существование. Но, Боже, до чего же оно скучно! Все равно что украсть у самого себя самое драгоценное, или

отменить все краски мира кроме серой, или при сильной близорукости отказаться от очков — и видеть не далее, чем на три метра перед собой!

Чувство Бога — это переполняющая тебя радость. Это как... Ну вот в детстве, в рождественское утро заглядываешь в гостиную — а там чудо: сияющая елка и под нею подарки! И так всегда, каждый день, каждый миг! Ты всегда не один. Ты знаешь, что Мир неизмеримо больше, выше, торжественнее и значительнее того, чем он кажется! Что всякое происшествие неслучайно, всякий удар судьбы в конечном итоге пойдет тебе во благо... *Что всё хорошо кончится.* И это будет не конец книги, а всего лишь конец главы. А в последней строчке будет написано «Продолжение следует». Оно, это продолжение, будет таинственно и прекрасно. Потому что Тот, кто написал книгу, написал ее персонально для тебя, лучше самого тебя зная, чем тебя увлечь...

Меня нередко спрашивают, с любопытством: «А откуда вы знаете, что Бог есть, что Он не выдумка?» И я каждый раз теряюсь. Ниоткуда. Отовсюду! Просто знаю, и всё. Так же достоверно, как я знаю вкус воды и запах ветра. И даже еще более точно. Собственно, присутствие Бога — единственное, что я вообще знаю наверняка.

Больше всего на свете мне жаль тех, кто обделен верой. Честно говоря, я даже плохо себе представляю, как они живут и выживают. И я молюсь за то, чтобы каждый неверующий однажды поверил. Не ради «общественной нравственности», а ради самого себя.

Ответив, как умею, на первый из поставленных передо мною вопросов — «будет ли нужна» вера людям будущего, перехожу ко второму, более сложному: как будет, вернее, как могла бы быть устроена церковь в том земном раю, который

мечтают построить члены нашего кружка. Вопрос это уже не мистический, а скорее практический.

Нужно ведь различать понятия, которые подчас ошибочно смешивают: веру, религиозное учение и церковь.

Вера в Бога — это иррациональное, мистическое чувство, очень личное и сугубо индивидуальное.

Религиозное учение — именно что учение: религия учит тебя наилучшим образом пользоваться твоей Верой. Ведь если у путника есть компас, надо уметь по нему ориентироваться, а если у бредущего во тьме есть фонарь, надо знать, как он включается и куда направлять луч. Подобно всякой науке, религия построена на некоей сумме знаний, увеличивающейся и меняющейся с развитием человечества, и в этом отношении религия мало чем отличается от физики, химии или астрономии. Религиозные догматы, точно так же, как научные законы, могут и должны подвергаться периодической проверке на соответствие новым открытиям.

Наконец, церковь — это всего лишь общественный институт, выполняющий ряд конкретных функций: оформлять эволюцию религии; осуществлять посредничество между каждой душой и Богом; руководить духовными практиками, из которых состоит жизнь верующего.

Церковь не может слишком далеко опережать уровень развития цивилизации, иначе она отрывалась бы от действительности. Поэтому в темные времена она бывала темной, в нетерпимые — нетерпимой, в жестокие — жестокой.

В исторических трудах пишут, что нравы и идеи церкви улучшались по мере общего роста цивилизации, частью которой являлась церковь. Но здесь, по-моему, нарушена причинно-следственная связь. Да, церковь — часть общества, но часть наиболее возвышенная и духовно ищущая.

Перемены сначала происходили в сердцах и умах святых людей, вероучителей и подвижников, а уже затем распространялись шире, побуждая весь мир становиться лучше. Во всяком случае, так происходило и происходит, если церковь не изменяет главной своей миссии — напоминать человеку, что он не животное, а частица Высокой Силы. В самые мрачные эпохи, при тирании земных властей и даже при злодействе самих архиереев, в церкви все равно теплился негасимый огонек, согревавший души, — и чем чернее становилась ночь, тем он был ярче и драгоценней.

Позволю себе продолжить это неоригинальное, но очень точное уподобление христианства светильнику.

В древние времена люди умели только пользоваться огнем и довольствовались светом лучины, свечи или масляной лампы. Затем подчинили себе горючий газ и ввели газовое освещение. Сейчас, открыв законы электричества, делают лампы накаливания. В будущем, несомненно, будут изобретены и еще более действенные средства рассеивать тьму.

Эволюция религии — это освоение сначала простого огня, потом свойств газа, потом тайн тока.

Эволюция церкви — это изготовление свечек, газовых фонарей, электрических ламп. Скажу еще раз, что мистическое чувство Веры — собственно «свет» — при этом в основе своей остается тем же, но по мере усиления «освещенности» Вера делается все более и более зрячей; человечество движется от пугливого детского суеверия к мудрому и спокойно-радостному принятию Бога. Я говорю «движется», а не «пришло», потому что мы пока лишь на середине этого долгого и непрямого пути.

Но кое-какие открытия и озарения, предстоящие христианству в будущем, можно предугадать уже сегодня.

Уверен, что наша религия окончательно избавится от древнего атавизма — дискриминационного отношения к женщине как к человеку «второго сорта». У души нет пола, и все равны перед Господом. Появятся женщины-богословы и женщины-священницы, однако о метаморфозе духовного сословия я скажу отдельно.

Продолжая тему пола, предположу, что так называемый «проклятый вопрос» физиологических отношений совсем выйдет из области забот церкви. Секс перестанет считаться чем-то греховным и заслуживающим осуждения либо регламентации. Религия будет заниматься вопросами исключительно духовными — не любовью, а Любовью; не любовниками, а Любящими.

Произойдет примирение между религиозностью и научным мировоззрением. Церковь наконец уяснит, что поиски пытливого ума ничем не угрожают Вере, а люди науки поймут, что атеизм вовсе необязательно является гарантией интеллектуальной свободы — постигать физические тайны Вселенной отлично можно и исходя из «концепции Бога».

Церковь откажется от всякого поощрения воинственности, перестанет благословлять армии и солдат, кропить святой водой новые пушки и броненосцы. Думаю, это станет первым шагом к отказу от войн как способа решения межгосударственных споров.

Заповедь «не убий», конечно же, распространится не только на человека, но и на всё живое. Церковь призвет людей отказаться от плотоядения, покончить с ужасной индустрией скотоводства и мясозаготовления, с охотой и рыбным промыслом. У Господа и природы достаточно способов пропитать нас и без убийства живых существ.

Еще я думаю, что сильная церковь, то есть церковь, регламентирующая человеческую жизнь

до мелочей, ведущая паству за руку посредством еженедельных проповедей и требующая периодического отчета священнику на исповеди — явление временное, обусловленное низким уровнем социального устройства. Чем сильнее будет развиваться общественная гармония, тем слабее будет становиться церковь.

Развитая и свободная личность, с детства наученная стремиться к духовному росту, вероятно, перестанет нуждаться в профессиональных посредниках между собой и Всевышним. Большинство людей станут коммуницировать с Богом самостоятельно, без помощи священника.

Значит ли это, что духовное сословие вообще исчезнет? Думаю, нет — но очень сократится численно. К священнику будут обращаться люди, нуждающиеся в духовной помощи — как сегодня больные и тревожащиеся за здоровье обращаются к врачу. Наверное, лиц духовного звания останется очень немного, но каждый из них будет обладать особым даром служения и, если так можно выразиться, высокой квалификацией.

Храмов тоже будет немного, потому что ходить в церковь постоянно станет незачем. Храм станет дворцом Веры, куда человек приходит в самые торжественные моменты жизни, каждый из которых запомнится навсегда. Я надеюсь, что в будущей счастливой России наконец осуществится давняя мечта великих христианских вероучителей: Храмом станет каждая человеческая душа.

Вот, пожалуй, всё, что я могу сказать на заданную тему.

В заключение же, вернувшись из волнующего мира мечтаний о церкви будущей, хочу поделиться с вами мыслями об испытаниях, которые переживает церковь сегодняшняя.

Наверное, это прозвучит жестоко и бессердечно, но мне кажется, что преследования, которым ныне подвергается православная церковь, пойдут ей только на пользу. За последние пятьсот лет она слишком срослась с Кесарем, слишком — как говорят раскольники — «озлаторизилась». Исторгнутая из властных чертогов, унижаемая и гонимая, она уходит из пышных храмов в катакомбы, возвращается от Каиафы к Христу. Для христианства и Христовой церкви сума и тюрьма — верный путь к истинному богатству и истинной свободе.

Я скорблю за новомучеников, число которых велико и продолжает увеличиваться, однако в то же время и радуюсь за них, радуюсь за Русь. Если есть идущие на крест — значит, жива Вера, горит негасимая свеча и, Бог даст, не погаснет, но разгорится чище и ярче.

Да, из-за репрессий, разрушения храмов и атеистической пропаганды в России останется немного верующих, но, временно потеряв в количестве, Вера лишь выиграет в качестве; не оскудеет, а обогатится. Отойдут те, кто верил не сильно и лениво, по привычке, либо же вовсе не верил, а только бездумно исполнял обряды. Останутся те, для кого жизнь без Веры невозможна. Ими и спасемся.

И новая церковь России, вернувшаяся из катакомб на свет, будет лучше и чище прежней. Иначе жертвы мучеников оказались бы напрасны, а у Бога так не бывает.

(ИЗ ФОТОАЛЬБОМА)

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ НА 1937 ГОД

ЯНВАРЬ						ФЕВРАЛЬ						МАРТ								
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12			
13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18			
19	20	21	22	23	24	19	20	21	22	23	24	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28		25	26	27	28	29	30	31		
АПРЕЛЬ						МАЙ						ИЮНЬ								
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12			
13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18			
19	20	21	22	23	24	19	20	21	22	23	24	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30		25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	
ИЮЛЬ						АВГУСТ						СЕНТЯБРЬ								
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12			
13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18			
19	20	21	22	23	24	19	20	21	22	23	24	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	
ОКТАБРЬ						НОЯБРЬ						ДЕКАБРЬ								
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12			
13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18			
19	20	21	22	23	24	19	20	21	22	23	24	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30		25	26	27	28	29	30	31

На работу Филипп прибыл в десять ноль-ноль, впервые нормально выпавшийся. Пяти минут не пробыл у себя — Шванц. Вошел, поручкался своей мягкой лапой.

— Успеваем к годовщине. Верти дырочку на китель. К награде тебя представляю. «Красную звезду» не гарантирую, но как минимум «Почетного чекиста» железно получишь. Ты ж у нас ветеран ЧК.

Один глаз у капитана был припухший и красный (Шванц-то не спал), но веселый, на втором уже не бинт, а черная повязка — чисто Кутузов.

— Уже нашли Илария? — удивился Бляхин. — Шустро.

Ему было ясно: начальник его вчера вечером, после доклада, домой отправил не по заботливости, а чтоб всю заслугу взять себе. Сам-то, поди, «Красное знамя» оторвет, или подымай выше — «Орден Ленина».

— Не только нашли, но и взяли, без проблем.

— Как это? Саров от Москвы неблизко.

— Там в монастыре теперь исправтрудколония. Я просто отtelefonировал ихнему начальнику оперотдела — и взяли раба божьего тепленьким. Он там особо и не прятался. В поселке угол снимал. Везут.

Шванц легко поднял стул, повернул, сел задом наперед, пристроив на спинку руки, а на руки свою круглую башку.

— За Илария я спокоен. Хорошо знаю этот типаж. Скажу ему: есть решение расстрелять только главара организации, а остальным дать срока. После этого он сам в главари полезет и всё, что велю, исполнит. Но надо еще доработать остальных. С писателем проблем нет. Тоже всё что надо подпишет. Сверчевский, конечно, побрыкается немного... Я его решил переквалифицировать из свидетелей в обвиняемые, а то в идеологическом штабе такой серьезной организации

получается маловато членов, — пояснил капитан. — А что? Сверчевский подходящего социального происхождения и по виду тоже годится. Можно через него перекинуть мостик в научную среду, для солидности. Человечков пять-шесть оттуда прибавится.

— А как думаете Сверчевского обрабатывать? Через «Кафельную»? Он же идейный.

— Не понадобится. Скажу: партии так надо, и что отправим работать в «научоград», по его же придумке и построенный, только с некоторой коррекцией.

Шванц хохотнул, но коротко.

— С Кроллем у нас только недоработка. Мне на это и Малютка указал, когда я ему ночью докладывал. Наш дипломат-переплетчик — пассажир тяжелый. Ты видел, как он Баха прикрывал — даже имени не хотел назвать. Не испортил бы он нам всю малину на суде. Хрен знает, чего от него ждать. Боюсь сюрприза.

— Этот может, — согласился Филипп, вспомнив, как Кроль ему в коридоре нашептывал тревожное.

— А поэтому, дорогой товарищ Бляхин, светлая голова, хочу я поручить Кролля тебе. Ты Рогачова одной фотографией сломал, Клобукова на голой психологии расколол. Расщелкай мне и этот орешек. Получишь тогда настоящую награду: не цацку на грудь, а огромное самостоятельное дело. На каких большую карьеру делают.

— Какое?

Ох, нехорошо глядел начальничек. Вроде ласково, по-дружески, а со злой искоркой. Она еще вчера зажглась, когда Филипп на блюдечке местонахождение Илария доставил, и сегодня стала только ярче.

— Дело козырное, тебе в общих чертах уже известное. Займешься самым народным комиссаром юстиции, пока еще товарищем Крыленкой. Во-первых, ты уже в курсе. Во-вторых, есть тебе от руководства, то бишь от меня, доверие. А в-третьих, твой кадр Клобуков как один из врачей Крыленки, входящий к нему в дом, может нам и здесь пригодиться. Получаешь и.о. старшего оперуполномоченного прямо сразу, а потом и вторую шпалу тебе прицепим, обещаю. Самое ценное — окажешься на прямом контакте с наркомом. Ну, а меня будешь подробно информировать о ходе. Ты ведь теперь мой человек, верно?

— На сто процентов, — понуро согласился Филипп.

Как там Кроль шепнул, тогда-то? «Знаете, что он с вами сделает? Побережет до случая, когда надо будет чужими руками жар загрести, а потом скомкает, как бумажку».

— Что так уныло отвечаешь? Я тебя в большие люди выведу.

В расход ты меня выведешь, а не в большие люди. С Крыленкой этим ого-го какие силы столкнутся. Кто-то у нас или в том же наркомате юстиции сейчас разрабатывает прокурора СССР товарища Вышинского. И неизвестно еще, который кого слопают: прокурор наркома или наоборот. Поэтому ты, гад, хочешь остаться в стороне и заслониться мной. Одолеет Вышинский — заберешь дело себе. Проиграет — сдашь меня с потрохами.

Господи, помоги унести ноги из секретно-политического отдела, мысленно взмолился Бляхин. Спаси!

Но бога нету, а Шванц есть. Закогтил — не выпустит. Еле-еле Филипп вчера из одной смертельной засады выбрался, чтобы немедля угодить в другую, еще худшую.

— Что думаешь, гений допроса? Как будем Кроля обрабатывать?

— Ума не приложу, — замямлил Филипп. — Переоцениваете вы меня, товарищ капитан госбезопасности. Рогачова с Клобуковым я сто лет знал, потому и получилось. А Кроль этот для меня вроде темного леса. Не пойму, как к нему и подступиться.

Начальник вздохнул.

— Тогда у стеночки посидишь, послушаешь. Может, по ходу допроса что в голову придет. Сейчас распоряжусь доставить его ко мне в кабинет. В одиннадцать будь у меня, как штык. Ясно?

— Так точно.

Кроль скучливо дернул плечом.

— ...Мне-то это зачем? Зачем вам — понятно. А мне? Это вы верно подметили, великий инквизитор, что брат Иларий — Христосик. А какую роль вы наметили для меня? Петра, трижды отрекшегося? Иуды Искарюта?

Нет, гражданин Мефистофель, Иудой умирать я не намерен. Ведите меня лучше в «Кафельную». Помордуете меня там маленько, я что надо подпишу, а на процессе скажу, что показания против брата Илария даны под пыткой и что настоящим руководителем «Счастливой России» был Квашнин, но вы его прощали, а партию вводите в заблуждение. Хотите так?

Давно они по кругу ходили, третий час. Шванц и по кабинету бегал, и за столом сидел, и снова бегал. Мартышек своих штук десять нарисовал. И всё вхолостую. Ни тпру, ни ну.

Товарищ Ежов дважды звонил. Последний раз минут пять назад.

— Объясняю же, — сдерживаясь, повторил капитан. — Имею полномочия сделать вам предложение. Если на процессе поведете себя правильно, высшую меру вам заменят лагерем. Я ведь только что при вас разговаривал с наркомом, вы слышали. Он гарантирует.

— Честным чекистским словом, что ли?

— Если хотите, гарантия будет письменная.

Подследственный отмахнулся:

— Во-первых, чего стоят гарантии вашего Малютки Скуратова — хоть устные, хоть письменные? А во-вторых, на кой она мне нужна, лагерная жизнь? Скажу откровенно, о Дзиль-аль шайтан, я совершенно не прочь удалиться из этой вселенной, глаза б мои ее больше не видели. И удерживает меня здесь только одна маленькая мечта, про которую вам знать не обязательно.

Возьми такого ферта за рупь за двадцать, думал Бляхин, тихо сидя в уголке. Ничего не боится, и ухватить не за что. Интересно, что за «маленькая мечта»? Вот до чего докапываться надо. Если у человека остается мечта, значит, ему от жизни еще чего-то нужно. За это его и подцепляй.

А Шванц, дурень, не скумекал, просвистел мимо.

— Еще и так можно, — заярился начальник. — Выколочу из тебя, тварь, нужные показания в «Кафельной», всё напишешь по полной форме, собственной рукой, а перед процессом накачаем тебя делириантом. Чтобы сидел молча, ни шиша не соображал, только бараньи

глаза тарасил. Наколотого что ни спреси — кивает и говорит «да». Это мы тоже умеем, делали. Гособвинителя предупредим, чтоб правильно вопросы формулировал. «Признаете себя виновным?» «Да». «Был Бах руководителем организации?» «Да». «Призывал в годовщину революции заложить мину под мавзолей товарища Ленина?» «Да». Для протокола сойдет.

На Кромя угроза никак не подействовала.

— Валяйте. — Равнодушно качнул головой. — Это буду уже не я, а продукт химической реакции. Какой с меня спрос? Баха вы, конечно, все равно расстреляете, но без моего содействия. Нет, Иудой я не стану.

Шванц шумно засопел. Про делириант известно, на спецсеминаре рассказывали, что препарат этот ненадежный и действует на всех по-разному. Некоторые начинают заговариваться, или бредить, или хихикать. То-то на суде конфузно выйдет.

Шепнуть, что ли, про мечту? Филипп заколебался, прикидывая, что для него лучше — если Кроль расколется или если нет?

Вдруг капитан, странно поведя носом и полуобернувшись к двери, начал подниматься из-за стола, а в следующее мгновение створка растворилась и стремительно вошел маленький человек в сверкающих сапогах — товарищ нарком. Филипп не слышал, как он подходит, а у Шванца то ли ухо чутче, то ли нюх. Он уже стоял навьтяжку, пока Бляхин еще глазами дохлопывал. Тоже подскочил, руки по швам, подбородок кверху — как положено.

— Ну что? — спросил товарищ Ежов у сократившегося ростом Шванца.

— Допрос пока ведет Бляхин. Я наблюдаю.

Вот сволочь! Врет и не краснеет!

Но нарком на Филиппа не взглянул. Он смотрел на Кроля. Тот тоже пялился на большого человека, с любопытством.

— Наблюдает он, — процедил нарком. — Психологи, вашу мать... Ладно, черти безрукие. Покажу вам, как допросы вести. Значит так, Шванц. Марш в «Кафельную». Приготовь там всё. Я с ним, сукой, сам поработаю.

— Слушаюсь!

За спиной у товарища Ежова, на полубегу, капитан сделал Филиппу гримасу — закатил глаз под лоб. Это значило: поработай, поработай, а мы поглядим.

Нарком стоял перед арестованным, слегка покачиваясь на каблуках, руки держал за спиной. Филипп увидел, как товарищ генеральный комиссар незаметно для Кролля натягивает на пальцы накулачник: такая стальная штука, вроде кастета, только без шипов, чтобы без лишнего членовредительства.

Понятно. Хочет ошеломить ударом с разворота.

Не сказать ли, пока Шванца нет, что подобным манером от Кролля ничего не добьешься? Нет, лучше не встречать. Не замечает нарком Бляхина — и хорошо.

— А что означает большая звезда у вас в петлице? — спросил Кролля. — Я не разбираюсь в нынешних знаках различия. Вы, должно быть, генерал?

— Щас познакомимся, — протянул товарищ Ежов. — Узнаешь, кто я такой.

Филипп сморщился, готовясь к тому, что сейчас последует. Куда влепит? В лоб? Или нос сломает? По зубам или в подбородок навряд ли — какие разговоры со сломанной челюстью?

— Погодите, погодите, а вы часом не Ежов? — воскликнул Кролля. — Ну точно! Я только ваши фотографии в газетах видел, но на них лицо толком не разглядишь. — И на том же дыхании, без остановки. — Вы и есть нарком Ежов, на кого из меня выбивает показания гражданин Шванц? Что я вас по эсэровской линии знаю с восемнадцатого года и поддерживал с вами секретные вредительские контакты?

С ума он сошел? Бляхин помертвел. Господи, зачем я здесь?!

— Не такой уж вы и карлик, — раздумчиво продолжил свихнувшийся арестант. — Зря он вас Малюткой обзывает. И на мартышку нисколько не похожи. Скажите ему, гражданин нарком, раз уж вы пришли: мы с вами никогда раньше не встречались. Ну какое мы с вами могли иметь отношение к выстрелу Каплан?

Не знаю, где в августе 1918 года находились вы, а я еще даже не переехал из Петрограда в Москву.

— Ты что брешешь, вражина? — изумленно сказал генеральный комиссар. — Не мог Шванц такого говорить.

— Да как же... Вы вот его спросите, при нем тоже было. — Кроль показав на Бляхина. — Буквально только что. Говорил мне следователь или нет: «Дашь показания на Карлика — проживешь еще. Пойдешь свидетелем по новому делу, это, считай, лишних полгода жизни». Гражданин Бляхин, говорил он это или нет?

Ежов обернулся на Филиппа, у которого лоб покрылся холодной влагой. А Кроль из-за ежовского локтя усиленно двигал бровями, беззвучно шевелил губами, чиркнул пальцем по горлу.

Так вот что у него за последняя мечта! Шванца за собой на тот свет уволочь... А заодно и его, Филиппа Бляхина. Скажешь: брешет он, товарищ нарком, — а у Ежова в голове сомнение засядет, и будешь с Шванцем сообщник.

Что говорить? Что?

Кроль всё подавал знаки. Мотнул головой на дверь, снова провел по горлу. Куда яснее: сожрет тебя Шванц, решайся.

Очень быстро, чтоб не было времени напугаться, Филипп сказал:

— Так это он... про вас, товарищ нарком? Я слышал, но не понял... Еще подумал, какой такой карлик, какая мартышка? Он еще мартышку нарисовал... Говорил, мартышку пора в клетку...

И пальцем, дрожащим, показал на стол. Там рисунок: мартышка в клетке, язык показывает.

Товарищ нарком подошел. Взял, посмотрел, скомкал.

— ...Извиняйте, товарищ генеральный комиссар, — трепетал голосом Филипп. Теперь пятиться было поздно. — Кабы я сообразил, что он такое про вас... Слышу, требует от арестованного, а сам в толк не возьму, что за малютка, что за мартышка? А спросить боюсь... В голову же не придет! Карликом называл, мартышкой,

еще крысенком... Я думал, это он про какого-то недо-битка эсэровского...

Молчал нарком. Лицом стал багров, глаза страшные, а ни слова не говорил. И по кому эта гроза сейчас вдарит молнией, было не угадать.

— И еще хочу доложить... Совесть меня мучает. Виноват я... Арестованная по делу «Счастливой России» Носик. Которую позавчера в приемном блоке Шванц того... Неправду он в рапорте написал, что будто бы оттолкнул ее, а она упала и череп себе проломила. Он ее нарочно сапогом в висок бил. Раз десять, чтоб убить наверняка. Свидетели есть: старший лейтенант Балан-дян и конвойные. Еще сержант-надзирательница, не знаю фамилию. Я подтвердил, потому что боюсь я его, Шванца. А теперь думаю: может, он нарочно ее убрал. Может, знала она про него что-то...

Лицо маленького человечка, который сейчас казался Филиппу огромным, потому что заслонял весь белый свет, пошло судорогой.

— Почему сразу не доложил? Рапорт рапортом, а ты был обязан доложить начальнику отдела!

— ...Я в органах человек новый... Что говорят, то и делаю...

Генеральный комиссар подошел вплотную и впился взглядом в Бляхина.

Сколько это длилось, Филипп не сказал бы. Может, десять секунд, а показалось — вечность. Звук был какой-то — мелкий, костяной. Не сразу и понял, что собственные зубы клацают.

Может быть, этот стук и спас.

— Не щелкай зубами. Идиот! — Товарищ Ежов брезгливо скривился. — Наприсылали помощничков. Укрепили органы...

Неужто пронесло, боялся выдохнуть Филипп. Идиот — это не враг.

А генеральный комиссар зло усмехнулся, глядя в сторону.

— Вон оно как оборачивается... Интересно.

Наморщил лоб. Шла в нем какая-то умственная работа, и Бляхин догадывался, какая. Если у подпольной

эсэровской организации в органах обнаружатся соучастники, под это дело можно много кого вычистить. Шванц, между прочим, не с товарищем Ежовым в органы пришел, он из старых, из ягодинских.

— А правда, что товарищ Шванц в Гражданскую левым эсэром был? — спросил Филипп. — Мне товарищ Мягков говорил, когда сюда направлял.

— В анкете не указывает. Проверим.

Он уже не выгядел шибко сердитым, нарком. Скорее задумчивым.

— Вот что, как тебя, Бляхин. — Рассеяннo кинул на кулачник поверх бумаг. — Работай дальше один. Шванц сюда не вернется. — Потряс пальцем. — Дам тебе шанс искупить вину. К пятнадцати ноль-ноль доложишь мне лично об исполнении. Или полетишь с ответработы.

Захрустел сапогами. Вышел.

Филипп вытер мокрый лоб ладонью, ладонь — о штанину.

— Красиво отыграли в четыре руки, экспромтом. Поздравим друг друга. — Кроль тихо засмеялся. — Смешно, да? Мсье Хвост сейчас готовит «Кафельную» и знать не знает, что старается для самого себя. Прелестный штришок к абсурдности бытия. Ну что ж. Я чрезвычайно доволен. Как сказал восточный мудрец: исполнивший свою мечту может спокойно умереть.

* * *

Шел к себе на Яузский пешком, неторопливо, и вечерний холод с мокрыми брызгами были нипочем.

Господи, живой, на свободе! Выбрался из самой из волчьей пасти, из огня — да не в полымя, а в хорошее, спокойное место.

Ну, влепили выговор. Так ведь не партийный же — служебный. Это, считай, ничего. Ну, вышибли из секретно-политического как «не справившегося с работой» — зато не как «не оправдавшего доверие». Тоже пережить можно. А что перевели в захолустный девятый отдел, наблюдающий за вредительством в торговле и легкомпроме, — это вообще счастье. Пускай орлы с коршунами летают высоко, а мы полетаем низехонько, с воробьями

и сороками. Подальше от мясорубки, пока она из тебя самого фарш не накрутила.

А все потому что умен и случая не упустил. Это одно и то же. Быть умным и значит не проморгать свой случай. Конечно, главное дело исполнил Кроль, но ведь и он, Филипп, не оплошал. Какого завалил волка! Какую удавку снял с горла!

Погордиться собой, конечно, следовало, но кроме хмельно-приятных мыслей приходили в голову и трезвые, далекого захода.

Менять надо жизнь. В корне. Как бытовал прежде — отставить. Раньше был уверен, что правильный путь — выбери крупного человека, настоящего хозяина и держись его, всё тебе будет. Потому что испокон веку на свете были люди-хозяева и люди при хозяине, а все прочие — дураки, труха и расходматериал. В царские времена человек на хорошем месте назывался чиновником для особых поручений, при большевиках — просто порученцем или тем же секретарем. У советского порученца возможностей и благ даже больше, потому что власть стала намного крепче.

Однако так было до недавней поры, теперь правила поменялись.

При сильном хозяине сейчас быть опасно. Большие люди горят, как спички, один за другим. Как в лесу во время сильной грозы: чем выше дерево, тем верней в него жажнет молния. А сгорело дерево, сгорел и прилепившийся к нему подлесок.

В такую эпоху торчать на виду не надо. Живи не под дубом и не под сосной, а где-нибудь в кусточках. Чуть что не так — шмыг в траву. Крупному хищнику за тобой, мелочью, гоняться лень и незачем. Низехонько, зорко, прытко, сторожко — вот как сейчас надо. Состоять не при великом человеке, а на хорошей должности. Девятый отдел — это очень даже неплохо. Тот же синий околыш, та же бордовая книжечка — от граждан тебе страх и уважение. Притом подконтрольный контингент — фабричные директора, завмаги, завсклады, потребкооператоры. Не Кроли с Бахами.

Думалось про новое, значительное. Буду сам по себе, сам своей жизни хозяин.

Это еще надо было осознать. Приобвыкнуть.

Потому и шел пешком, небыстро. Осознавал. И чем больше проникался, тем больше оно нравилось.

Набегался собачонкой на чужой свист — то у Рогачова, черта полоумного, то у Мягкова, ведьмака. А что получил, кроме приличной квартиры? Гастрит желудка и половое расстройство на нервной почве.

Пора начинать жить для себя, а не для дяди. Спокойно. Удобно. Счастливо.

И начинать надо с собственного дома.

Жена встретила Бляхина визгом. Заистерила прямо в прихожей. Десять раз-де ему звонила, на коммутаторе говорили — занят, а в последний раз сказали: «Товарищ Бляхин велел не соединять».

— Кого не соединять? Меня?! Совсем охамел, слезень? Перхоть ты рассыпная!

Филипп молча стоял. Снявши фуражку, водил расческой по волосам.

Потом так же спокойно, ни слова не произнося, прошел коридорчиком в залу — так Ева называла большую комнату.

Жена напирала сзади и всё заходилась криком. Уже до матюков дошла. Била, куда пообиднее — тряпкой обзывала, импотентом и прочее.

Он остановился посередине, где больше места. На руку потихоньку надел накулачник — наркомовский, прихваченный из кабинета.

— Ты что по паркету сапожищами топаешь? Кто за тобой подтирать будет?

Развернулся — хрясь по зубам. От души.

Бужнулась задом об пол, чуть не перекувырнулась. Задрались полы шелкового халата, один тапок слетел. Тут же, правда, села. Глаза выкатили — как две сливы. Разинутый рот щерится дырками, кровяща оттуда так и хлещет. А кричать не закричала. Обмерла.

Филипп для верности добавил. Носком по голенке, где кость. Примерившись, по щиколке. Затем и сапоги не переобул.

Тут уж она заорала. Перевернулась на четвереньки, стала уползать. А он по копчику, да по ребрам.

Ползай не ползай, деваться тебе некуда.

Ева это поняла. Съежилась на полу, закрыла голову руками. Уже не орала, а скулила.

Вот теперь, пожалуй, хватит.

— Значит, жить теперь будем так. — Он стоял над нею. Говорил тихо, но веско. — Сын у меня, в детдоме растет. Заберу домой. Хватит ему бедовать без отца. Чтоб была с ним сахарная. Ясно? Повернись, когда муж разговаривает!

Убрала от лица руки, повернулась. Глаза всё такие же выгаращенные, мокрые. Подбородок красный.

— Ясно, спрашиваю?

Кивнула. Трижды.

— Теперь второе. Станешь лахудрить — гляди у меня.

Замахнулся ногой — Ева зажмурилась, сжалась.

— В глаза гляди! Ябедничать тебе теперь некому. Поняла?

Кивает.

— Говори: «Я, Филипп Панкратович, лахудрой больше не буду».

Повторила. Получилось шепеляво. Дотронулась пальцем до сломанных зубов, зарыдала:

— Кому я теперь такая нужна...

Мне, пожалуй, сгодишься, подумал Филипп, сверху вниз глядя на ее заголившуюся под растерзанным халатом грудь, на полные ноги. Ох, давно он не ощущал такой мужской охоты. Улыбнулся. Ну, теперь я с тобой по-другому спать буду. Как мне нравится.

Нагнулся, взял жену за подбородок, задрал разбитую рожу кверху.

— Разинь рот.

Она глядела с ужасом, но послушаться побоялась.

— Ничего, — сказал Бляхин, изучив ущерб. — Губу зашьют — будет не видно. Зубы — только два верхних передних. Вставим золотые, выйдет краше прежнего. Всякий раз, когда порошком чистишь, будешь сегодняшней порцией вспоминать... Иди пока, умойся.

Сам отошел к стене, где под стеклом памятные фотоснимки. Афишку давешнюю, из кремлевской больницы, тоже туда повесил. А сейчас пришло в голову, что

надо и нынешнее число почтить. День, когда Филипп Бляхин стал хозяин собственной жизни.

Сделал просто: обвел на табель-календаре кружком 16 октября. Год закончится — быть календарю под стеклом, в вечном хранении.

Еще бы — такой день!

За дверью ванной плескалась водой и тихо, для себя, подвывала жена, а Филипп встал перед зеркалом. Стало интересно: не поменялось ли что в лице.

На первый взгляд — вроде нет. А посмотреть внимательно — лицо совсем другое. Живое. Будто проснувшееся. И блеск в глазах. А раньше не было.

Ничего. Всё перемелется, мука будет, и мы еще слепим из нее тесто. Бог даст, даже сдобное.

Жить на свете надо счастливо. А иначе зачем оно всё?

Акунин-Чхартишвили
СЧАСТЛИВАЯ РОССИЯ



Оформление обложки
Игорь Сакуров

Обработка иллюстраций
Тимофей Струков

Верстка
Валерий Кечкин

Выпускающий редактор
Вероника Рямова

Издатель Ирина Евг. Богат
Свидетельство о регистрации
77№006722212 от 12.10.2004

121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(рядом с Никитскими Воротами,
отдельный вход в арке)

Тел.: (495) 691-12-17, 697-12-35

Факс: (495) 691-12-17

Наш сайт: www.zakharov.ru

E-mail: info@zakharov.ru

[Facebook.com/lzdatelstvoZakharov](https://www.facebook.com/lzdatelstvoZakharov)

Подписано в печать 20.01.2017. Формат 84×108^{1/32}.

Бумага писчая. Усл. печ. л. 17,64.

Тираж 21 000 экз. Заказ № 58.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
www.uralprint.ru e-mail: book@uralprint.ru



www.ekmob.ru
00545377



567-00



ЗАХАРОВ



9 785815 914308



90

55

